

Лидия Чарская

Приютки



Лидия Алексеевна Чарская

Приютки

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=634845

Лидия Чарская. Собрание сочинений:

Аннотация

За окном крупными хлопьями валил снег...

Сад оголился... Деревья гнулись от ветра, распластав свои сухие мертвые руки-сучья. Жалобно каркая, с распластанными крыльями носились голодные вороны. Сумерки скрывали всю неприглядную картину глубокой осени. А в зале горели лампы, со стен приветливо улыбались знакомые портреты благодетелей...

Содержание

ЧАСТЬ I	5
Глава первая	5
Глава вторая	10
Глава третья	14
Глава четвертая	19
Глава пятая	27
Глава шестая	32
Глава седьмая	43
Глава восьмая	51
Глава девятая	61
Глава десятая	68
Глава одиннадцатая	76
Глава двенадцатая	85
Глава тринадцатая	95
Глава четырнадцатая	105
Глава пятнадцатая	115
Глава шестнадцатая	125
Глава семнадцатая	142
Глава восемнадцатая	151
Глава девятнадцатая	161
Глава двадцатая	172
Глава двадцать первая	187
Глава двадцать вторая	204

ЧАСТЬ II	218
Глава первая	218
Глава вторая	227
Глава третья	236
Глава четвертая	250
Глава пятая	262
Глава шестая	273
Глава седьмая	290
Глава восьмая	299
Глава девятая	314
Глава десятая	329
Глава одиннадцатая	341
Глава двенадцатая	348
ЧАСТЬ III	355
Глава первая	355
Глава вторая	369
Глава третья	377
Глава четвертая	388
Глава пятая	395
Глава шестая	402
Глава седьмая	413
Глава восьмая	431

Лидия Алексеевна Чарская Приютки ЧАСТЬ I

Глава первая

Первым сознательным воспоминанием Дуни было: невероятно теплый угол лежанки, крошечное оконце, выходящее на луг и на синеющие деревья леса, молчаливо-прекрасного и стройного там, вдалеке...

Когда выплывало солнце, белые зайчики бегали по стене избушки, а отец Дуни, чернобородый мужик с добрыми глазами, подходил к лежанке, подхватывал девочку своими огромными руками с мозолями на ладонях и, высоко подкидывая ее над головой, приговаривал весело:

– Вот мы как! Знай наших! Ай да Дунята, отцова дочка! Вот мы как! – И Дуняша смеялась невеселым, каким-то недетским смешком.

Так не смеются двухлетние... И глаза у нее были

недетские – большие, задумчивые, глубоко ушедшие в орбитах, голубые и ясные, как лесные ручьи.

Потом Дуня уже не прыгала на руках отца Порфирия Прохорова. Порфирий Прохоров уехал на завод в город. Недостатки были в деревне, и большая часть кормильцев отправилась на заработки в Петербург.

Осталась Дуняша в родной избе со старой бабушкой Маремьяной да с котом Игнашкой. Матери у нее уже не было в ту пору. Дунина мать умерла, произведя на свет девочку. Каждую Фомину неделю, в дни поминовения усопших, бабушка Маремьяна стряпала кутью, увязывала парочку яиц в платок и шла на могилку дочери вместе с Дуней, поминать покойницу. Погостив на могилке, бабушка клала на нее круто сваренные яйца и сыпала кутью на могильный холмик, предварительно часть которой съедала тут же, не забыв угостить ею и Дуню. Налетали птицы, подбирали сладкие крупинки риса, а бабушка, улыбаясь, говорила, что радуется в эти минуты душенька усопшей дочери. Дуня любила эти походы на кладбище. Из церкви несся переливчатый, серебряный звон, бурое, окрашенное луком, либо красное яичко заманчиво выделялось среди молоденькой весенней травки, а там, издали призывно шумел зеленым шумом лес и подкрававшаяся весна сулила немалые утехи девочке.

В три года Дуня бегала туда уже с ребятами по ягоды, ходила по грибы с бабушкой Маремьяной в лесную чащу. Любила Дуня лес, его темные своды и мягкий ковер травы, испестренный цветами. Любила гомон пташек и стрекот кузнечиков и пестрых бабочек, таких нарядных, похожих на цветы. Об ушедшем отце думала мало. Бабушка постоянно говорила внучке, что вернется тятка, лишь только сколотит деньгу пошибче, и гостинцев принесет своей Дуняше. «Непременно вернется годика через три-четыре». Покамест на их крестьянской полосе орудовал подряженный бабушкой сосед, и отсутствие отца только и сказывалось в часы полдника или ужина: в прежнее время, бывало, заполняла всю их крошечную избу его громоздкая фигура с большой головой, добрыми глазами и черной окладистой бородой. Да еще никто больше не подбрасывал Дуню; на сильных руках с веселым смехом, никто не ласкал ее сердечной, простою отцовской лаской.

Положим, теперь бы и отец не подбросил девочку – подросла Дуня. Бабушке в избе помогает, за водой ходит к колодцу, в лес бегает с ребятами. Печь умеет растопить, коровушке корм задать, полы вымыть...

Бабушка не по дням, а по часам стареет. Все лицо излучилось морщинами, ходит не иначе, как опираясь на палку, и все кряхтит.

– Ничего, до весны, даст господь, протянет, а там и хозяин с завода вернется, – толковали соседки, не стесняясь присутствием Дуни, поглядывая на старуху.

Теперь Дуня стала нетерпеливее поджидать отца. С возможностью скорой бабушкиной смерти она уже успела примириться и, поплакав тишком, стала больше думать о приходе тятки, о котором, кстати сказать, имела сейчас очень смутное воспоминание.

И вот неожиданно случилось то «страшное», что на всю жизнь осталось памятным девочке.

Из Питера, с завода, где работал Порфирий Прохоров, пришло нацарапанное каракулями письмо.

А извещалось в том письме, что божией волею случилось с Прохоровым несчастье. Попал он под колесо машины и умер мученической смертью, раздробленный ею на сотню мелких кусков.

Несмотря на свои восемь лет, Дуня плохо поняла, однако, весь ужасный смысл полученного известия.

Зато бабушка Маремьяна, как дослушала конец питерской цидулки, прочтенной ей ее крестником соседским сыном Ванюшей, так и опрокинулась на лавку, почернела как уголь и уже больше не поднялась.

А через три дня положили ее рядышком с Дуниной матерью, под деревянный крест на погосте, у которого сама она частенько молилась за упокой души покойницы-дочки. Соседи подобрали Дуню, скорее испуган-

ную неожиданностью, нежели убитую горем. Бабушку Маремьяну Дуняша больше побаивалась, нежели любила. Сурова была бабушка, взыскательна и требовательна не в меру. Чуть что, и за косичку и за ушенко оттреплет и без ужина отправит спать.

А все же жаль ее было девочке. И горько заплакала она, когда бабушку Маремьяну зарывали в землю.

Через неделю пришло письмо с завода с бумагою за печатью и с деньгами. В бумаге говорилось о том, что малолетняя Авдотья Прохорова, усердными хлопотами заводского начальства, принята в приют как круглая сирота и дочь погибшего при исполнении своих обязанностей рабочего, и прилагаемые деньги посылались Дуне на дорогу.

Глава вторая

В несколько часов собрали соседи девочку и отправили с попутчиком в Питер.

Попутчик, глуповатый парень Микешка, ехавший наниматься в извоз, всю дорогу прикладывался к стеклянной посудине, что хранилась за пазухой, закусывал овощами и добродушно угощал Дуню.

Но та отнекивалась и отупелыми, распухшими от слез глазами смотрела в окно. В окне бежали деревья, будки, дома, деревни, коровушки паслись на лугу... И опять деревья... будки...

Все виденное в окне напоминало только что покинутое, родное сердцу: вот мелькнула деревня – несколько домов по откосу, вспомнилась своя деревенька, из которой с растерзанным сердцем уезжала нынче Дуня... Вот кладбище – и выплывало перед полными слез глазами свое кладбище, родная могилка матери, пасхальные яички, сладкая кутья с изюмом, молитвы и причитания покойной бабушки. Коровушка на лугу – точь-в-точь своя Буренка, та самая Буренка, которую порешили продать «миром» и вырученные деньги положить в сберегательную кассу в городе на имя Дуни... Вон лес опять начался за окном вагона...

И выступили ярко воспоминания в детской головке Дуни... Походы по грибы и ягоды... Тенистая прохлада, зеленый шум, пение птах и звон кузнечиков в мягкой мураве...

Слезы душили горло... Все миновало и не вернется никогда. Везут ее, Дуню, в чужой город, в чужое место, к чужим людям. Ни леса там, ни поля, ни деревни родной. Ах, господи! За что прогневался ты, милостивец, на нее, сиротку? Чем досадила она тебе?

И мучительно, до боли захотелось девочке прежней вола той жизни: потянуло в душную бедную избу, захотелось услышать неизменную воркотню бабушки Маремьяны. Почувствовать (куда ни шло) ее крепкие костлявые пальцы на замершем от боли ухе, услышать сердитое, шипенье раздосадованного голоса:

– Опять в лесу, непутевая, слонялась? Ну, стой ты у меня! Дай срок! Уже будет тебе крапивой!

Все миновало... Поезд несется так быстро, точно гонится кто за ним. Навстречу бегут по-прежнему поля, коровушки, деревни... Лес... Милый лес, родненькие деревни! Не быть там больше Дуне... Никогда! Никогда!

Большое коричневое здание на перекрестке двух улиц. Вокруг дома сад, опоясанный чугунным поясом решетки. А кругом дома, огромные, чуть не до неба (таково было мнение Дуни) и рядом маленькие, слов-

но избы вперемежку поставленные с большими.

Ехали они сюда с Микешкой-попутчиком долго-долго... Так долго, что у Дуни от сиденья даже ноги затекли. Сначала на чугунке, потом вышли на вокзале и чуть не потерялись в окружившей их сразу толпе.

Однако дошли до электрички, забрались в вагон и опять поехали.

У Дуни от первой этой поездки в жизни по железной дороге и от всей этой суматохи, грохота, шума и тряски в ушах звенело и голова стала тяжелая, как капустный кочан.

Парень Микешка бывал уже не раз в городе и объяснял своей спутнице про попадавшие им навстречу чудеса в виде огромных домов, трамваев, карет, колясок и велосипедов.

За всю ночь, проведенную в тряском вагоне, Дуня не сомкнула глаз, раздавленная, разбитая массой новых впечатлений, и теперь все проносилось перед ней, как в тумане. Наконец, доехали до места. Сошли. Держа в одной руке узелок с ее убогим приданым и уцепившись другой за руку Микешки, Дуня вошла в подъезд коричневого дома, показавшегося ей дворцом.

Перед ними очутился сторож с медалями на груди и с сивыми очень внушительного вида отвислыми усами.

Микешка, у которого вчерашний хмель еще не вышел из головы, стал сбивчиво объяснять сторожу что-то, путая, о заводе, о погибшем под машинным колесом Порфирии Прохорове и вскользь упомянул о Дуныше, пугливо прижавшейся к его руке.

– Стало быть, новую воспитонку привез, толку от тебя не добьешься! Деревенщина! – презрительно бросил сторож, едва выслушав рассказчика и окинув Дуню уничтожающим взглядом.

– Ждите. Сейчас помощницу призову, – добавил он уже в дверях, бросив через плечо еще один небрежный взгляд по адресу вновь прибывших.

Микешка, умаявшись долгим путем, присел на лавку тут же, в прихожей, большой светлой комнате со скамейками вдоль стен и с вешалкой внушительных размеров в углу.

– Дунышка, сажайся, гостьей будешь! – усмехнулся он грубовато-ласково, проведя мозолистой рукой по белокурой головке девочки...

Та молча повиновалась.

И лишь только почувствовала себя на твердо стоявшей без колебания (не как в поезде и в электричке) скамейке, завела глаза и уснула сразу, точно провалилась в какую-то темную пропасть в тот же миг.

Глава третья

– Привез! Ну, и отлично! Бумаги с тобой? Прекрасно! Давай сюда. Восемь лет, говоришь? Маленькая! По росту меньше дать можно! Ну, вот и ладно. Можешь идти. Спасибо, что в сохранности довез. Ступай!..

Все это сквозь сон слышала Дуня: и незнакомый голос, и ответы Микешки. Потом что-то легко коснулось ее плеча.

– Проснись, девочка, проснись. Спать не время! – уже у самого своего уха услышала Дуня и сразу открыла глаза.

– Ах! – вскрикнула она, от неожиданности и испуга. Во сне это или наяву? Микешкин след давно простыл... Она сама сидит на скамейке в светлой прихожей. Тот же сторож с сивыми усами смотрит на нее внимательно и зорко, а перед нею... Господи Иисусе! Маленькое, кривобокое, с большим горбом за плечами существо близко-близко стоит около Дуни и держит исхудалую сухую руку у нее на плече. У горбуны длинное желтое лицо, полуседые-полутемные волосы, остриженные до плеч, с загибающимися кверху концами, подхваченные двумя гребенками у ушей, и темные глаза... Таких глаз еще отродясь не видыва-

ла Дуня. Большие, глубокие, серьезные, занимающие чуть ли не целую треть лица, они полны тепла, ласки и какого-то изнутри выливающегося света.

И глядя в эти темные, теплые, лучащиеся глаза, забывалось как-то общее впечатление, полученное от искаленной горбом фигуры и длинного желтого некрасивого лица.

Прочтя испуг и недоумение в обращенных на нее глазах Дуни, горбунья улыбнулась. И от этой улыбки еще больше и теплее засияли ее необыкновенные глаза.

– Здравствуй, девочка, здравствуй! – заговорила незнакомка. – Вот ты и у нас. Не бойся! Тебя никто не обидит. У нас добрые, милые девочки, а начальница у нас ласковая, сердечная, и тебе будет очень хорошо. Не боишься меня, а?

Девочка хотела сказать, что боится, но, взглянув в лучистые глаза, робко промолвила против собственной воли:

– Нет.

– Вот и хорошо! Вот и хорошо, – обрадовалась горбунья. – А теперь пойдем в лазаретную, там тебя вымоем, обстрижем, в казенное платье обрядим, и будешь ты у нас такая краля, что ни в сказке сказать, ни пером описать, – пошутила горбунья и, взяв Дуню за руку, повела куда-то.

По дороге она расспрашивала девочку, хорошо ли ей было ехать, не обидел ли ее кто в пути, и, похлопывая Дуню по плечу, все прибавляла, как бы ободряя ее после каждого ее односложного ответа:

– Ладно, ладно. Ты не бойся. У нас хорошо. И Екатерина Ивановна, и девочки все добрые, ласковые, любить будут. Только сама умницей будь. Слышишь? Будь умницей, Дуня!

Таким образом дошли они до какой-то двери.

Горбунья толкнула ее, и Дуня очутилась в большой светлой комнате с несколькими рядами кроватей. Навстречу им поднялась старушка в белом чистом халате, застегивающемся на спине.

– А-а... тетя Леля привела новенькую, – произнесла старушка, поправляя очки и улыбаясь большими, толстыми губами.

– Дуня Прохорова. Нынче из деревни только. Фаина Михайловна, уж вы потрудитесь, – произнесла горбунья, названная старушкой тетей Лелей.

– Садись, девочка, сюда. Прежде всего тебя остричь надо, – проговорила старушка и, выдвинув из промежутка между двумя кроватями деревянный табурет, посадила на него Дуню.

– Считай, сколько у тебя пальцев на руках, – засмеялась тетя Леля, – до десятого не дочесть, как уже все готово будет.

Действительно «все» было готово очень быстро. Машинка для стрижки с удивительной быстротой заработала вокруг Луниной головки, и из-под нее посыпались жиденькие косицы светлых и мягких, как лен, волос. Вскоре голова девочки, лишенная растительности, стала похожа на гладкий шарик, и еще рельефнее выступили теперь среди загорелого личика ребенка серьезные голубые, не по-детски задумчивые глаза.

– Ну, а теперь мыться! – скомандовала Фаина Михайловна.

В маленькой жарко натопленной конурке стояла ванна, наполненная водой. Ничего подобного не видела в своей жизни Дуня. В «черных» деревенских банях они с бабушкой Маремьяной шибко парились по субботам, но там не было ни намека на то, что она встретила здесь.

Крепко намылив мочалку, Фаина Михайловна (заведующая лазаретным отделением, она же и бельевая надсмотрщица частного ремесленного приюта) старательно вымыла ею все тело Дуни.

Потом подогретой у печки простыней тщательно вытерла девочку и велела ей одеваться.

Грубое холщовое белье, вязаные домодельные чулки, шлепанцы-туфли и серое ситцевое платье с розовым полосатым передником, все это показалось

воистину царским по роскоши одеянием для маленькой деревенской девочки, ходившей до сих пор в убогих лохмотьях. А когда обомлевшую от неожиданности Дуню Фаина Михайловна вывела за руку из душевой ванной в лазаретную комнату и подвела ее к висевшему между двух окон зеркалу, Дуня ахнула от неожиданности, увидя отраженную в его стекле аккуратную, маленькую фигурку в безупречно чистом скромном наряде, с круглой, как шарик, голой головой.

«Вот бы так-то пройтись обряженной по моей деревне, небось бы и не признал никто», – мелькнула быстро-быстро в стриженной детской головке наивная мысль.

– Ну, вот и готово. Говорила тебе, в кралю писаную тебя превратим, вот оно так и вышло, – пошутила горбатенькая тетя Леля и, быстро наклонившись к Дуне, неожиданно обняла и поцеловала ее в лоб.

– А теперь к Екатерине Ивановне, – добавила она бодрым, веселым тоном и, наскоро пожав руку лазаретной надзирательнице, почти бегом выбежала из комнаты, увлекаемая за собой Дуню.

Глава четвертая

– Вот и мы, Екатерина Ивановна, просим любить да жаловать!

Горбатенькая тетя Леля, все еще не выпуская Дуниной руки, стояла посреди светлой, уютно убранной гостиной, обставленной мягкой, темно-красной мебелью, с пестрым недорогим ковром на полу, с узким трюмо в простенке между двух окон, с массой портретов и небольших картин на стенах. У письменного стола, приютившегося у одного из окон, поставив ноги на коврик шкуры лисицы, сидела, низко склонившись с пером в руке, пожилая женщина в черном платье.

Дуне бросилась в лицо худенькая, почти детская фигурка, костлявые руки и маленькое сморщенное лицо с большими, близорукими, ежесекундно щурившимися глазами.

– Подойди сюда ближе, девочка! Покажись, – слышала она тихий голос.

Костлявая рука подняла за подбородок личико приблизившейся Дуни. Большие глаза, прищурившись, зорко заглянули в ее зрачки.

– Ну, девочка, будь умна, послушна, прилежна. Исполняй все, что от тебя требуется, и никто не обидит тебя. Ты сирота и с этих пор становишься воспитан-

ницей нашего ремесленного приюта. Тебя будут учить грамоте, Закону Божию, счету и ремеслу. Когда ты вырастешь, тебе найдут место, словом, мы всячески будем заботиться о тебе.

Худенькая женщина мотнула головой и, снова схватив перо, принялась за прерванное занятие.

Тетя Леля шепнула Дуне:

– Поцелуй ручку у Екатерины Ивановны. Поблагодари твою благодетельницу. Она вам, девочкам здешним, мать родную заменяет... Поняла?

Но Дуня не двигалась с места.

Худенькая женщина, которая, как узнала впоследствии Дуня, была начальницей N-ского приюта Екатериной Ивановной Наруковой, снова мотнула головой.

– Уведите ее, Елена Дмитриевна. Мне некогда. Надо свести счета за текущий месяц.

– У начальницы всегда надо ручку целовать при встрече, – учила горбунья Дуню, когда они, выйдя из квартиры заведующей приютом, поднимались по широкой лестнице в большой светлый коридор.

– Ну, да ладно, пока тебе все это внове, приобвыкнешь потом, – снисходительно прибавила Елена Дмитриевна и снова открыла какую-то дверь.

Дуня остолбенела...

Посреди огромной светлой комнаты стояло несколько столов, заваленных кусками полотна, ко-

ленкора, холста и ситца. Вокруг столов, на низких деревянных скамьях сидело больше сотни девочек, возрастом начиная с восьми лет и кончая совсем взрослыми восемнадцатилетними девицами. Стриженные головки младших воспитанниц были похожи на шары, недлинные волосы у подростков, заплетенные в косы или уложенные на затылке прически взрослых – вот в чем было существенное отличие между тремя отделениями N-ского приюта.

Девушки и дети, до сих пор прилежно занятые работой, тотчас же при появлении Елены Дмитриевны и Дуни, как по команде, повернули головы в их сторону, и тихий шепот пробежал по столам...

– Новенькая! Новенькая! Смотрите, новенькую привели, девицы!

– Тише! Молчать! Нашли время шептаться. За работу, сию же минуту, лентяйки вы такие! – услышался в ту же минуту громкий окрик неприятного, резкого голоса, от первого же звука которого дрогнуло невольно сердечко Дуни.

Она подняла испуганные глаза на говорившую. Это была высокая, плечистая женщина с румяным лицом, с длинным красивым носом, с черными усиками над малиновыми губами энергичного правильного рта и с круглыми, как у птицы, зоркими, ястребиными глазами.

Что-то неприятное было в этом своеобразно красивом лице и в круглых птичьих глазах, неприязненным взором вскинувшихся на вошедших.

И Дуня инстинктивно прижалась к ласковой горбунье, как бы ища у нее защиты от высокой женщины. Тетя Леля словно угадала настроение девочки и молча крепко пожала ее дрогнувшую ручонку.

– Павла Артемьевна, – произнесла она вслед за этим, – вот вам новенькую привела. Покажите ей на первых порах работу полегче.

Высокая женщина сдвинула свои темные брови, так что они сошлись на переносице, и оттого все лицо ее стало еще энергичнее и строже.

– Ты шить умеешь? – отрывисто и резко бросила она Дуне.

Та молчала, испуганными глазами глядя в лицо вопрошавшей.

– Тебя спрашивают! Или ты глухая? – снова точно оборвала Павла Артемьевна.

Дуня снова вздрогнула всем телом и все же молчала.

– Деревенщина! – не то насмешливо, не то снисходительно процедила сквозь зубы Павла Артемьевна. – На вот тебе пока... Сшивать полотнища умеешь?

Но Дуня и слова-то такого не знала, что означает «полотнища», и, только потупившись, глядела в пол.

Тогда горбунья с тихим ласковым смехом обняла ее за плечи и, подведя к концу стола, усадила на край скамейки, коротко приказав черненькой, как мушка, стриженной девочке:

– Подвинься, Дорушка, да покажи новенькой, как полотнища сшивать.

Девочка лет девяти, с живыми, бойкими карими глазами и вздернутым носиком поспешила исполнить приказание горбуньи. Она взяла со стола кусок белого коленкора, разорвала его на две ровные части и, приложив одну часть к другой, придвинула работу близко к лицу Дуни, показывая, как надо сшивать края.

Иголка быстро заскакала в ее искусных ручонках, и Дуня видела, как легко и живо подвигалась работа у Дорушки.

Когда Елена Дмитриевна отошла от стола, Дорушка передала работу Дуне, сняла с пальца наперсток и надела его на палец соседки.

– На вот... Шей. Поняла?

Дуня поняла мало, но побоялась сознаться и принялась кое-как за работу.

А вокруг нее носился чуть слышный шепот, точно жужжало сотни пчелок в июльский полдень. Девочки, не разжимая ртов и не поднимая голов, быстро делились впечатлениями по поводу новенькой:

– Маленькая еще... Вчера из деревни. Голубогла-

зая... Сиротка, видать. За обедом узнаем, как звать и все прочее... Тетя Леля намедни про нее сказывала... – жужжали двуногие пчелки.

– Опять шептаться! К печке захотелось? Спину погреть? К Оне Лихаревой в соседство? – снова прозвучал резкий голос Павлы Артемьевны на всю рабочую комнату, после чего смолк в одно мгновение и без того чуть слышный шепот. И точно ему на смену раздалось тихое всхлипывание из дальнего угла комнаты.

Дуня невольно подняла глаза и повела ими в ту сторону, откуда слышался плач.

Обернувшись лицом к присутствующим и прислонясь спиной к большой изразцовой печке, стояла девочка немногим старше самой Дуни.

Ее хорошенькое свежее личико было сморщено в жалкую гримасу; синие бойкие глаза – полны слез. Маленькие пальцы теребили конец передника. Она всхлипывала с каждой минутой все громче и громче, и слезы все обильнее лились из ее покрасневших глаз.

Елена Дмитриевна в первую минуту своего появления в зале не заметила наказанную. Но вот ее теплые лучистые глаза разглядели девочку у печки.

Вмиг доброе желтое лицо горбуньи вытянулось и приняло сердитое выражение. Брови нахмурились. Багровые пятна выступили на скулах.

– Павла Артемьевна, за что вы ее? – сдержанно и

сухо обратилась она к заведующей рабочим классом брюнетке.

– За дело, не беспокойтесь, милейшая. Зря не обидим никого. Эта негодница Лихарева работать не захотела. А когда я ее заставлять стала, палец себе наколола до крови нарочно, чтобы настоять на своем... Ну, вот я ее и послала к печке. Пусть постоит да поразмыслит на досуге, хорошо ли так поступать!

Павла Артемьевна говорила с плохо скрытым раздражением в голосе, причем птичьи глаза ее поминутно сердито скашивались в сторону наказанной девочки.

Та, услыша последние слова рукодельной наставницы, заплакала громче, уже в голос, на всю комнату.

– Перестань, Оня! Покажи мне лучше твой палец! – прозвучал над ее головою знакомый тихий голос горбуни.

Елена Дмитриевна бережно взяла маленькую ручонку, внимательно взглянула на уколотый палец и покачала головою.

Кровь из Ониного пальца сочилась непрерывно, а сам палец распух вдвое против своей обычной величины.

Горбунья даже в лице изменилась, увидя это.

– Послушайте, однако, Павла Артемьевна, – сурово сдвинув брови, обратилась она к заведующей ру-

кодельным классом, – так и до антонова огня девочку довести можно.

– Скажите до могилы лучше! – захохотала та, презрительно передернув плечами.

Горбунья вспыхнула.

Полным негодования взглядом окинула она брюнетку и, демонстративно повернув к ней спину, обняла стоявшую у печки Оню и проговорила серьезно:

– Что ты не хотела работать – это очень дурно, Оня, а что ты палец наколола умышленно, это еще хуже. Надо сейчас же идти в лазарет, попросить Фаину Михайловну перевязать руку и приложить какое-нибудь лекарство к больному месту. Слышишь? Извинись же перед Павлой Артемьевной и идем со мною.

Наказанная девочка пролепетала что-то вроде: «Простите, Павла Артемьевна», – и поспешила следом за Еленой Дмитриевной в лазарет.

Глава пятая

– Ну, что ты тут наковыряла? – слышался недовольный голос над головой Дуни.

Она со страхом подняла глазенки и встретила взглядом с круглыми птичьими глазами Павлы Артемьевны.

– Батюшки-святители! Вот напутала! Сам домовый не разберет!

Энергичные брови надзирательницы сжались на переносице, глаза сердито блеснули.

– Деревенщина, как есть деревенщина! Шва стачать простого не умеет! Неужто не приходилось тебе ничего зашивать? – и брезгливо поджимая губы, Павла Артемьевна выхватила из рук Дуни неумело стаченную по шву тряпочку и разорвала ее снова по шву.

Едва успела она продеть в иглу новую нитку, как сторож с медалями, встретивший нынче Дуню с Микешкой в передней, вышел в зал и сказал, обращаясь к Павле Артемьевне:

– Барышня, к вам братец с женой пожаловали. В комнате дожидаются. Просят на минутку.

– Ага! Сейчас приду! – сразу оживилась та и, вскочив с места с живостью девочки, зашагала к двери. На пороге она остановилась, погрозила пальцем по

адресу всех работниц, больших и маленьких, и произнесла своим резким, неприятным голосом:

– А вы – шить! Слышите? С места не вскакивать и работать до моего прихода. Кто-нибудь из старших присмотрит. Памфилова Женя, ты! С тебя взыщется, если опять шум будет. А я сейчас вернусь. – И скрылась за дверью рабочей комнаты. Вслед за тем произошло нечто совсем неожиданное для Дуни.

Лишь только представительная крупная фигура надзирательницы исчезла за порогом, поднялась необычайная суматоха и шум в рабочей комнате.

И взрослые девушки, и подростки, и маленькие «стрижки», как называли малышей в приюте за их наголо остриженные головенки, все это повскакало со своих мест и окружило Дуню.

Послышались неумолимые вопросы. Откуда она? Из какой губернии? Как зовут? Сирота ли? Есть ли родственники или знакомые в Питере? Платная она или казенка?

Девочка, испуганная, ошалевшая, недоумевающая, не успевала открыть рта, а вопросы все сыпались и сыпались на нее градом. Девушки и дети все теснее и теснее окружали ее.

Больше, впрочем, задавали вопросы стрижки и средние, два младших отделения приюта. Старшие же ограничивались лишь молчаливым разглядывани-

ем Дуни и только изредка перебрасывались замечаниями на ее счет.

– Некрасивая...

– Худящая очень...

– Это с голоденок...

– У них в деревне не больно-то густо насчет еды!

– А глаза – ничего себе.

– Ну, вот еще выдумала! Глаза как глаза...

– Обыкновенные...

– Деревенская она, увалень, видать по всему.

– Обломается еще!

– У горбуни не обломается. Ей бы в средние, к Пашке... Та оборудует живо.

– Что и говорить!

Но вот, растолкав ряды старших воспитанниц, откуда-то вынырнула миниатюрная фигурка стрижки.

– Новенькая! Ты в Москве не была? – задала она вопрос Дуне. И не успела та ответить ей ни да ни нет, как неожиданно чьи-то цепкие руки схватили Дуню за уши и потянули кверху.

– А крикун-волосок где у тебя? Знаешь? – И чья-то быстрая рука ущипнула за шею девочку.

– Ай, – вскрикнула от боли Дуня.

– Ай поехал в Китай. Остался его брат Пай. А брат Пай просил нас: не обижай! – скороговоркой протрещал чей-то задорный детский голосок.

– Полно тебе, Сидорова! Не тронь новенькую! – вступилась беленькая, как снежинка, подросток-девочка лет тринадцати с черными, как коринки, глазами.

– Новенькая! А ты гостинца деревенского с собой не привезла? – зазвенел другой голосок, по другую сторону Дуни. И опять она не успела ответить, потому что третий запищал ей в самое ухо:

– А знаешь ли ты, что ждет тебя здесь, новенькая? – И новый голос умышленно забасил в другое ухо Дуни: – Утром уборка, днем шитье, работа да мутовка, а вечером порка от восьми до девяти.

– Порка! Порка! – захохотали кругом стрижки.

– Да полно вам, полно! – удерживали их старшие. – Нечего зря пугать бедняжку!

Неожиданно прозвенел звонок за дверью и сразу наполнил своими звуками все уголки приюта.

– Динь, динь, динь, динь! – заливался колокольчик.

В ту же минуту большие стенные часы в рабочей отбили двенадцать ударов.

– Обедать, девицы. Обедать! Становитесь в пары. Я за Павлу Артемьевну нынче оставлена. Без разговоров! В столовую попарно. Марш!

И Женя Памфилова, некрасивая рыжеватая девушка, любимица Павлы Артемьевны, подражая надзирательнице, закопала в ладоши.

– Ишь ты, командир какой! – насмешливо кричали Жене старшие, но не решались послушаться ее, однако.

Спешно становились в пары приютки, занимая места. Взрослые впереди, маленькие сзади.

Одна Дуня оставалась стоять около своего стола, не зная, к кому подойти, растерянная и оглушенная всем этим непривычным для нее шумом и суетою.

– Послушай, новенькая! Становись со мною. У меня пары нет. А мы с тобою под рост.

Дуня подняла голову и увидела перед собою крошечную девочку, ростом лет на пять, на шесть, но со старообразным лицом, на котором резко выделялись красные пятна золотухи, а маленькие глазки смотрели как у запуганного зверька из-под белесоватых редких ресниц.

– Меня Олей звать, Оля Чуркова. А тебя? – осведомилась малютка.

– Дуня Прохорова, – ответила Дуня, но так тихо, что ее едва-едва можно было услышать.

В следующую же минуту они, взявшись за руки, встали позади всех паром и зашагали вниз по холодной лестнице, ведущей в столовую приюта.

Глава шестая

Большая, узкая, длинная, похожая на светлый коридор комната, находившаяся в нижнем этаже коричневого здания, выходила своими окнами в сад. Деревья, еще не обездоленные безжалостной рукой осени, стояли в их осеннем желтом и красном уборе, за окнами комнаты. Серое небо глядело в столовую.

– После обеда в сад пойдем! – успела шепнуть маленькая Чуркова Дуне, когда они входили сюда.

За длинными столами воспитанницы разместились по отделениям. На каждое отделение приходилось по четыре стола. Прежде нежели сесть за столы, все они хором пропели предобеденную молитву.

Дежурные по кухне приютки разнесли миски с горячей похлебкой. В похлебке плавали маленькие кусочки мяса, и Дуня, только разве по большим праздникам лакомившаяся мясными щами у себя в деревне, с жадностью набросилась на еду.

Впрочем, и ее товарки от нее не отставали. Девочек поднимали рано, в половине седьмого утра. В семь часов им давали по кружке горячего чая и по куску ситника. Немудрено поэтому, что к обеденному времени все они чувствовали волчий аппетит.

После первого горячего блюда следовало второе.

Жирно сдобренная маслом гречневая каша.

В то время как стрижки, подростки и средние на-
кидываюсь на кашу, старшие воспитанницы почти не
притрагивались к ней.

– В чем дело? В чем дело? – суетился, волнуясь,
толстенький, маленький человечек экономом Павел Се-
менович Жилинский, перебегая от стола к столу.

– А в том дело, что масло несвежее в каше! – рез-
ко ответила одна из более храбрых воспитанниц Та-
ня Шингарева, взглянув в лицо эконома злыми, недо-
вольными глазами.

– Воображение-с! Все одно воображение-с. Видно,
голодать не приходилось! – зашипел на нее малень-
кий человечек, кубарем откатываясь к соседнему сто-
лу.

– Принцессы какие! Королевны, скажите пожалуй-
ста! Масло им, видите ли, несвежее! Ха, ха!.. – ворчал
он, шариком катаясь по столовой. – Небось забыли,
что в подвалах-то в детстве не евши днями высижива-
ли. Привередницы! Барышни! Сделай милость! – все
больше и больше хорохорился толстяк.

– Вы это о чем? – неожиданно, как бы из-под земли
выросшая перед толстеньким человечком, произнес-
ла Павла Артемьевна, появляясь в столовой.

Жилинский так и вскинулся.

– Матушка моя, – завопил он, – что ж это такое, на

ваших барышень не угодишь. Вчера была, видите ли, картошка плохая, нынче масло... Не рябчиками же их кормить прикажете! Ах ты, господи!

– Это еще что за новости! Кому масло показалось плохо? Кто бунтует? – так и закипела в свою очередь Павла Артемьевна, в одну минуту очутившись у крайнего стола старшего отделения, где сидела недовольная Таня.

– Татьяна Шингарева? Ты? Опять ты? Вставай и за черный стол марш! – прокричала она над ухом испуганной девочки.

Отдаленный ропот пронесся по рядам старших.

– Не имеете права! Никакого права... У нас своя надзирательница есть. Пусть она и наказывает... Антонина Николаевна пускай разберет, – слышались глухие, сдержанные голоса старших.

– Ага! Бунтовать? Роптать?.. Что? Кто недоволен? Пусть выходит. К Екатерине Ивановне марш. Здесь шутки плохи! Сейчас за начальницей схожу и конец! – надрывалась и шумела Павла Артемьевна, сделавшаяся мгновенно красной, как рак. Ее птичьи глаза прыгали и сверкали. Губы брызгали слюной. Стремительно кинулась она из столовой и в дверях столкнулась с высокой, тоненькой девушкой лет двадцати шести.

Антонина Николаевна Куликова еще сама недав-

но только окончила педагогические курсы и поступила сюда прямо в старшее отделение приюта. С воспитанницами она обращалась скорее как с подругами, нежели с подчиненными, и, будучи немногим лишь старше их, со всею чуткостью и нежностью молодости блюла интересы приюток.

– В чем дело? – спокойно обратилась она к взволнованной донельзя надзирательнице среднего отделения.

– Полюбуйтесь на ваших сокровищ, милейшая! Хваленая ваша Танечка Шингарева рябчиков пожелала вместо каши с маслом. Вот и бунтуют другим на соблазн! – снова зашипела Павла Артемьевна.

– Сладить невозможно-с на барышень, помилуйте-с, не угодить! – вторил ей эконо́м.

– Масло несвежее? – спокойным тоном, подойдя к столу, за которым сидела Таня, спросила Антонина Николаевна. И, взяв тарелку с кашей у первой попавшейся воспитанницы, попробовала кушанье.

На миг ее некрасивое, умное лицо с маленькими зоркими глазами отразило гримасу отвращения.

– Каша действительно подправлена испорченным, горьким маслом. Дети совершенно правы, – проговорила она тем же спокойным тоном, – надо попросить Екатерину Ивановну дать им к чаю бутерброды с колбасою, а то они голодные останутся нынче.

– Совершенно верно! – подхватила незаметно подошедшая «тетя Леля», как называли маленькие приютки, а за ними и все остальные свою горбатенькую надзирательницу.

Жилинский побагровел. Павла Артемьевна зашла от злости и, ни слова не говоря, помчалась к своему среднему отделению, где состояла в качестве надзирательницы, сочетая эту должность с должностью заведующей рукодельным классом.

Горбатенькая тетя Леля обняла Антонину Николаевну и, что-то оживленно рассказывая ей, увлекла ее в угол столовой. Горбатенькая надзирательница очень любила свою молодую сослуживицу, и они постоянно были вместе, к крайней досаде Павлы Артемьевны, которая терпеть не могла ни той, ни другой.

Точно в каком-то полусне прошел весь остальной день для Дуни. После обеда воспитанницы снова пропели хором молитву и, наскоро встав в пары, вышли из столовой в «одевальную», небольшую комнату, примыкающую к передней, где висели их косынки и пальто. Тут же стояли и неуклюжие кожаные сапоги для гулянья.

Тетя Леля поманила к себе Дуню и помогла ей надеть чье-то чужое пальто.

– Это одной больной воспитанницы, завтра подберем тебе другое по росту, – проговорила она, ласково

глядя на девочку.

Большой по-осеннему убранный сад напомнил, хотя и очень отдаленно, любимый лес Дуне. Она пробралась подальше, за густо разросшиеся кусты сирени, теперь уже наполовину пожелтевшие и осыпавшиеся, и, присев на срубленный пень дерева, глубоко задумалась...

Нестерпимо потянуло ее назад, в деревню... Коричневый дом с его садом казались бедной девочке каким-то заколдованным местом, чужим и печальным, откуда нет и не будет возврата ей, Дуне. Мучительно забилося сердечко... Повлекло на волю... В бедную родную избенку, на кладбище к дорогим могилкам, в знакомый милый лес, к коту Игнатке, в ее уютный уголок, на теплую лежанку... Дуня и не заметила, как слезинки одна за другою скатывались по ее заолодевшему личику, как губы помимо воли девочки шептали что-то...

Вдруг неподалеку от себя она услышала заглушенный шепот, тихий смех и взволнованный говор трех-четырех голосов. Девочка чутко насторожилась. Голоса не умолкали. Кто-то восхищался, захлебываясь от удовольствия, кто-то шептал звонким восторженным детским шепотком:

– Какие они красивенькие! Гляньте-ка-с, девоньки! Вон этот мой, с черными крапинками... У ты мой хо-

ло-сый!

– А мой энтот вот! Душенька!

– Матушки мои!.. Ротик разинул! Ах, ты прелест-
ненький!

– А черненький-то, черненький! У-у, красоточки!

– Девоньки! Идет кто-то!

– Старшие никак!

– А вдруг Пашка?

– Помилуй бог! Спуску не даст!

– Тише ты, Канарейкина... Молчи!

Любопытство разобрало Дуню. Она тихонько при-
поднялась с пня, раздвинула кусты и просунула
сквозь них голову.

– Ах! – вырвалось из груди нескольких девочек,
окружавших большой, боком опрокинутый на траве
ящик.

Девочек было пятеро. Все они были приблизительно-
но Дуниных лет или чуть постарше. Их лица, обра-
щенные к Дуне, выражали самый неподдельный испуг
при виде появившейся новенькой.

Потом две из них, повыше ростом, встали перед
ящиком, заслоняя его от Дуни.

Взглянув на одну из девочек, Дуня сразу признала в
чей темноглазую миловидную Дорушку, помогавшую
ей в рабочей.

Но и Дорушка смотрела на нее теперь неуверенно,

подозрительно и с самым откровенным испугом. Дуня смутилась. Краска залила ее щеки. Она уже раскаялась в душе, что заглянула сюда. Хотела нырнуть за кусты обратно, но тут чья-то быстрая рука схватила ее за руку.

Дуня взглянула на костлявую девочку повыше и узнала в ней одну из тех, что смеялась над нею нынче.

– Слушай, новенькая, – заговорила костлявая, – ты нас нечаянно накрыла, так уж и не выдавай. Никому не проговори, что здесь видала, а не то мы тебя... знаешь как! – Девочка подняла кулачок и внушительно потрясла им перед лицом Дуни.

– Она не скажет, что ты! – вмешалась Дорушка, и ее карие глазки обласкали Дуню.

– А ты побожись. Побожись, что никому не скажешь. Мы за то дружитья с тобою будем.

– Не надо, чтоб божилась. Грешно это, Васса! – проговорила некрасивая смуглая девочка с лицом недетски серьезным и печальным.

– Ну уж ты, Соня, тоже выдумаешь, – рассердилась костлявая Васса. – А как выдаст?

– Я не выдам, – поняв, наконец, что от нее требовалось, проговорила Дуня. – Вот те Христос, не выдам! – И истово перекрестилась, глядя на серые осенние небеса.

– Ну, так гляди же. Рука отсохнет, ежели... – тут Вас-

са снова погрозила Дуне своим костлявым пальцем. Потом две девочки отошли от ящика, и Дуня увидела лежавших там в сене крошечных слепых котят.

Они были еще так малы, что даже не мяукали и казались спящими с их малюсенькими носишками, уткнувшимися в солому.

Дуня даже руками всплеснула от неожиданности и, опустившись на колени, умильно, почти с благоговением смотрела на забавных маленьких животных.

А на нее в свою очередь смотрели пять девочек, жадно лоя в лице новенькой получившиеся впечатления. Потом костлявая Васса с птичьим лицом и длинным носом проговорила:

– Это Маруськины дети. Маруська – наша, и дети наши. Мы их нашли вчера в чулане, сюда перенесли, сена в сторожке утащили. Надо бы ваты, да ваты нет. Не приведи господь, ежели Пашка узнает. Мы и от тети Лели скрыли. Не дай бог, найдет их кто, деток наших, в помойку выкинут, да и нам несдобровать. Вот только мы пятеро и знаем: я – Васса Сидорова, Соня Кузьменко, Дорушка Иванова, Люба Орешкина да Канарейкина Паша. А теперь и ты будешь знать. Побожись еще раз, что не скажешь.

Дуня опять побожилась и еще раз перекрестилась широким деревенским крестом.

– Ну, смотри же!

– Классы скоро начнутся, идтить надо! – проговорила хорошенькая, похожая на восковую куклу Люба Орешкина.

– И то, девоньки! Не хватились бы! – согласилась Дорушка.

– Доктор, доктор приехал! На осмотр, девицы! – прозвенели точно серебряные колокольчики по всему саду свежие молодые голоса.

Вмиг птичье лицо Вассы с длинным носом приняло лукавое выражение.

– Ну, девонька, – обратилась она, гримасничая, к Дуне, – и будет же тебе нынче баня!

– Б-а-ня! – испуганно протянула та.

– Ха-ха-ха! – захохотала Васса. – Спервоначалу доктор Миколай Миколаич тебе палец разрежет, чтобы кровь посмотреть, а окромя того...

– Кровь? – испуганно роняла Дуня.

– А потом оспу привьет! – с торжеством закончила Сидорова.

Дуня дрожала. Глаза ее забегали, как у испуганного зверька.

– Полно пугать, Васса! – вмешалась Дорушка. – Стыдно тебе! Ты всех нас старше, да глупее.

– От глупой слышу, – огрызнулась Васса.

Дорушка пожалала плечиками.

– Не бойся, новенькая, – ласково обратилась она к

Дуне. – Никто тебе пальца резать не будет. А что оспу, может быть, привьют, так это пустое. Ничуть не больно. Всем прививали. И мне, и Любе, и Орешкиной.

– Мне было больно, – повысила голосок девочка с кукольным лицом.

Дорушка презрительно на нее сощурилась.

– Ну, ты известная неженка. Баронессина любимка. Что и говорить!

– А тебя завидки берут? – нехорошо улыбнулась Люба.

– Я одну тетю Лелю люблю... А баронесса... – начала и не кончила Дорушка.

– К доктору, к Николаю Николаевичу! – где-то уже совсем близко зазвучали голоса.

– Бежим, девоньки! Не то набредут еще на котятков наших, – испуганно прошептала Соня Кузьменко, небольшая девятилетняя девочка с недетски серьезным, скуластым и смуглым личиком и крошечными, как мушки, глазами, та самая, что останавливала от божбы Дуню.

– И то, бежим. До завтра, котики, ребятки наши, – звонко прошептала Дорушка и, схватив за руку Дуню, первая выскочила из кустов...

Глава седьмая

– Аа, новенькая! Фаина Михайловна, давайте-ка нам ее сюда на расправу! – услышала Дуня веселый, сочный, басистый голос, наполнивший сразу все уголки комнаты, куда она вышла вместе с тетей Лелей и тремя-четырьмя девочками младшего отделения. Знакомая уже ей старушка, лазаретная надзирательница, взяла за руку девочку и подвела ее к небольшому столику. За столиком сидел огромный плечистый господин с окладистой бородою с широким русским лицом, румяный, бодрый, с легкой проседью в вьющихся черных волосах. Одет он был в такой же белый халат-передник, как и Фаина Михайловна. В руках у него был какой-то странный инструмент.

Дуня, испуганная одним уже видом этого огромного, басистого человека, заметя странный инструмент в его руке, неожиданно вырвала руку из руки надзирательницы, метнулась в сторону и, забившись в угол комнаты, закричала отчаянным, наполненным страха и животного ужаса криком:

– Батюшки!.. Светы!.. Угодники! Не дамся резаться! Ой, светики, родненькие, не дамся, ни за что!

– Что с ней? – недоумевая, произнес здоровяк доктор.

– Испугалась, видно. Вчера из деревни только. Бывает это!.. – отрывисто проговорила изволновавшаяся тетя Леля. – Вы уж, Николай Николаевич, поосторожнее с нею, – тихо и смущенно заключила горбунья.

– Да, что вы, матушка Елена Дмитриевна, да когда же это я живодером был?

И доктор Николай Николаевич Зарубов раскатился здоровым сочным басистым смехом, от которого заколыхалось во все стороны его огромное туловище.

– Дуня... Дуняша... Успокойся, девочка моя! – зашептала горбунья, обвивая обеими руками худенькие плечи голосившей девочки.

Богатырь доктор посмотрел на эту группу добродушно-насмешливым взором, потом прищурил один глаз, прищелкнул языком и, скроив уморительную гримасу, крикнул толпившимся перед его столиком девочкам:

– Ну, курносенькие, говори... Которая с какою немощью притащилась нынче?

– У меня палец болит. Наколола ненароком. – И румяная, мордастеньякая, не в пример прочим худым по большей части и изжелта-бледным приюткам, Оня Лихарева выдвинулась вперед.

Доктор ласково взглянул на девочку.

– У-у, бесстыдница, – притворно ворчливо затянул он. – Небось нарочно наколола, чтобы в рукодельном

классе не шить? А?

– Что вы, Миколай Миколаич! – вся вспыхнув, проговорила Оня. – Да ей-богу же...

– Ой, курносенькая, не божись! Язык врет, а глаза правду-матку режут. Не бери, курносенькая, на душу греха. Правду говори!

Большие руки доктора упали на плечи шалуньи. Серые навывкате глаза впились в нее зорким пронзительным взглядом.

– А ну-ка, отрежь мне правду, курносенькая! Ненароком, что ли, наколола? Говори!

Темные глазки Лихаревой забегали, как пойманные в мышеловку мышки. Ярче вспыхнули и без того румяные щеки девочки.

– Я... я... – залепетала чуть не плача шалунья, – я... я... нарочно наколола. Только «самой» не говорите, ради господа, Миколай Миколаевич, – тихо, чуть слышно прошептала она.

– Вот люблю Оню за правду! – загремел веселый, сочный бас доктора. – На тебе за это, получай! – И запустив руку в огромный карман своего фартука-халата, он извлек оттуда пару карамелек и подал их просившей девочке. Затем осмотрев палец, он приложил к нему, предварительно промыв уколотый сустав, какую-то примочку и, забинтовав руку, отпустил девочку.

Потом принялся за других больных воспитанниц.

Одни из них жаловались на головную боль, другие на живот, иные на кашель... Всех тщательно выслушал, выстукал внимательно осмотрел доктор и прописал каждой лекарство. В толпе подруг – воспитанниц среднего отделения стояла беленькая, четырнадцатилетняя Феня Клементьева, изящная и нежная, как барышня.

– Ты что? Что у тебя болит, курносенькая? – обратился к ней доктор. – Небось от урока удрала? Закона Божия у вас нынче, урок? – пошутил он.

Феня вспыхнула, опустила глазки и передернула худенькими плечиками.

– Напрасно вы это, Николай Николаевич, – протянула она с ужимочкой.

– А вот увидим, покажи-ка язык!

Феня покраснела пуще и, плотно закусила мелкими, как у мышонка, зубками верхнюю губу.

– Покажи же язык, курносенькая! – уже нетерпеливее приказал доктор.

Феня, пунцовая, потупилась и не решалась высушить языка.

– Федосья! Тебе говорят! – прикрикнула на нее Фаина Михайловна.

– Не могу! – простонала Феня. – Не могу я, хоть убейте! Не могу!

– Да отчего же? – живо заинтересовался здоровяк

доктор. Молчание было ему ответом.

– Феня?!

Новое молчание...

– Что с нею, кто знает? Курносенькие, говори!

Николай Николаевич удивленными глазами обвел толпившихся вокруг него девочек.

Подошла Елена Дмитриевна...

Ее лицо было строго. Глаза сурово обратились к Фене.

– Клементьева, не дури! Что за глупости! Нужно же Николаю Николаевичу узнать по языку о твоём здоровье...

– Ни за что... Не могу... Язык... Не могу... Хоть убейте меня, не покажу ни за что. – И слезы хлынули внезапно из хорошеньких глазок Фени. Быстрым движением закрыла она лицо передником и пулей вылетела из лазаретной.

– Ничего не понимаю, хоть зарежьте! – комически развел руками доктор.

– Глупая девочка! Истеричка какая-то! Все романы тишком читает, на днях ее поймала, – желчно заговорила горбунья, и длинное лицо ее и прекрасные лучистые глаза приняли сердитое, неприятное выражение.

– А все-таки неспроста это. Ее лечить надо. А чтобы лечить, надо причину знать, от чего лечить, – про-

изнес раздумчиво богатырь-доктор. – А ну-ка, курносенькие, кто мне возьмется разъяснить, что с ней? – совершенно иным тоном обратился он к смущенно поглядывавшим на него воспитанницам-подросткам.

– А я знаю! – краснея до ушей, выступила вперед рябая, некрасивая девочка лет четырнадцати.

– Шура Огурцова? Что же ты знаешь? Скажи.

– Знаю, что Феня вас обожает, что вы ейный предмет, Николай Николаевич. А язык предмету в жизнь свою показывать нельзя. Срам это! – бойко отрапортовала девочка.

– Что?

Доктор остолбенел. Елена Дмитриевна вспыхнула.

– О-о, глупые девочки! – не то сердито, не то жалостливо проговорила она, и болезненная судорога повела ее лицо с пылающими на нем сейчас пятнами взволнованного румянца.

И она, наскоро удалив воспитанниц, стала объяснять доктору про глупую, ни на чем не основанную манеру приюток «обожать» старших и сверстниц, начальство, учителей, надзирательниц, попечителей и, наконец, друг друга.

– Конечно, и обвинять их нельзя за это, бедных ребят, – проговорила она своим чистым, совсем молодым, нежным голосом, так дисгармонизировавшим с ее некрасивой, старообразной внешностью калеки, –

бедные дети, сироты, сами лишенные ласки с детства, имеют инстинктивную потребность перенести накопившуюся в них нежную привязанность к кому бы то ни было, до самозабвения. Но это стремление, эта потребность, благодаря неправильному доприютскому воспитанию, часто извратившему фантазию ребенка, принимает уродливую форму в выражении любви романтического характера, в обожании учителей, административного персонала, старших подруг, друг друга... Я борюсь с этим, как могу, борются и мои коллеги, но...

Елена Дмитриевна не закончила начатой фразы.

Прятавшаяся до сих пор в углу Дуня неожиданно чихнула и этим обратила внимание присутствующих на себя.

Николай Николаевич улыбнулся ей ласково и кивнул головой.

– А ну-ка, курносенькая, подойди! Видишь небось сама, что я не кусаюсь, подруг твоих, что были здесь, не обидел и тебя, даст господь, не съем...

И вынув из кармана карамельку, он издали протянул ее Дуне.

Ласковое лицо доктора, его добрый голос, а главное, леденец, протянутый ей, возымели свое действие, и Дуня робко вылезла из своего угла и подошла к врачу.

Тот тщательно выслушал ей грудь, сердце. Осмотрел горло, глаза, причем страшный предмет, испугавший на первых порах девочку и оказавшийся докторской трубкой для выслушивания, теперь уже не страшил ее. Покончив с освидетельствованием новенькой, Николай Николаевич сказал:

– Субъект здоровый на редкость. За эту ручаюсь. Ни истерии, ни «обожаний» у нее не будет. Крепкий продукт деревни. Дай-то нам бог побольше таких ребят.

И поцеловав смущенную малютку, он пожал руки обеим надзирательницам и уехал из приюта, пообещав быть завтра, сказав, что в прививке оспы пока что новенькая не нуждается.

Глава восьмая

Короткий осенний день клонится к вечеру.

В классных приюта зажжены лампы. В старшем отделении педагогичка-воспитательница Антонина Николаевна Куликова дает урок русского языка.

В среднем отделении приютский батюшка отец Модест, еще молодой, худощавый человек с лицом аскета и строгими пытливыми глазами, рассказывает историю выхода иудеев из Египта.

В младшем отделении горбатенькая надзирательница рисует на доске печатные буквы и заставляет девочек хором их называть.

– Это «а...», «а», а вот «б». Повторите.

И девочки хором повторяют нараспев:

– А... б...

Дуня с изумлением оглядывает непривычную ей обстановку.

В большой классной комнате до двадцати парт. Темные деревянные столики с покатыми крышками, к ним приделаны скамейки. На каждой скамье помещается по две девочки. Подле Дуни сидит Дорушка... Через небольшой промежуток (скамейки поставлены двумя рядами в классной, образуя посередине проход) – костлявая Васса, рядом с ней хорошенькая Лю-

бочка Орешкина. Направо виднеется золотушное личико Оли Чурковой.

Все здесь поражает несказанно Дуню. И черные доски, на которых можно писать кусочками мела, и покатые пюпитры, и чернильницы, вделанные, словно вросшие в них.

– В... Г... – выписывает тетя Леля.

– В... Г... – повторяют дружным хором малютки-стрижки.

Белые буквы рябят в глазах Дуни. Устало клонится наполненная самыми разнообразными впечатлениями головка ребенка...

Двенадцатичасовой переезд на «чугунке»... Новые лица... Тетя Леля... Доктор... Сад... Плачущая Феничка... Котята... И эти буквы, белые, как молоко, на черном поле доски...

– Не спи, не спи! Слышь?.. В четыре чай пить будем! – последней сознательной фразой звенит в ее ушах знакомый уже Дуне Дорушкин голосок, и, измученная вконец, она падает головой на пюпитр.

* * *

Снова столовая... После двух часов с десятью минутами перерыва занятий «научными предметами», то есть уроками Закона Божия, грамотой, и арифме-

тикой, воспитанниц ведут пить чай.

Та же мутная жидкость в кружках и куски полубелого хлеба расставлены и разложены на столах. Проголодавшаяся Дуня с жадностью уничтожает полученную порцию и аппетитный бутерброд с колбасой, исходатайствованный у начальницы Антониной Николаевной после неудачного масла за обедом.

После чая до пяти часов дети свободны. В пять урок пения.

Маленький, худенький, желчного вида человек с козлиной бородкой ждал их уже в зале, просторной, почти пустой комнате с деревянными скамейками вдоль стен, с портретом Государя Императора на стене и с целым рядом поясных фотографий учредителей и попечителей приюта. В одном углу залы стоит большой образ с теплющейся перед ним лампадой, изображение Христа Спасителя, благословляющего детей. В другом небольшое пианино.

Онуфрий Анисимович Богоявленский едва кивает головой на приветствие воспитанниц и бросается с такой стремительностью к инструменту, что старшие не выдерживают и фыркают от смеха.

Учитель пения из семинаристов, болезненный, раздражительный, из неудавшихся священников, предназначавший себя к духовной деятельности и вышедший из семинарии за какую-то провинность, зол за

свою исковерканную жизнь на весь мир. Приюток он считает за своих личных врагов, и нет дня, чтобы он жестоко не накричал на ту или другую из воспитанниц.

Главным образом, после шитья здесь в приюте требуется церковное пение. Каждый праздник и канун его, все посты, все службы воспитанницы N-ского приюта поют в соседней богаделенской церкви на обоих клиросах. За это они получают довольно щедрое вознаграждение. Деньги эти вместе с вырученными от продажи по белошвейной, вышивальной и метельной работам идут на поддержку и благосостояние приюта. Хотя общество благотворителей, основавших приют, и заботится всячески о его существовании, помогая постоянными взносами и пожертвованиями, но расходы сильно превышают доставляемые благотворителями суммы, и самим воспитанницам приюта приходится усиленным заработком, рукоделием и участием в церковном хоре вносить посильную лепту в содержание своего заведения. К тому же своекоштных воспитанниц здесь очень мало. Каких-нибудь полсотни, а то и меньше. Остальную часть приходится кормить и одевать из благотворительных и заработанных ими самими сумм.

Онуфрий Ефимович, или Фимочка, как его прозвали два старших отделения приюта, сразу заметил Дуню.

– Новенькая? – ткнув пальцем по направлению девочки, кратко осведомился он.

– Новенькая, Онуфрий Ефимович! – хором отвечали воспитанницы.

– Подойди сюда! – поманил он Дуню, усаживаясь на круглом табурете перед пианино.

Девочка нерешительно приблизилась.

– Тяни за мною!

Учитель ударил пальцем с размаху по клавише. Получился жалобный, протяжный звук.

Так же жалобно протянул голосом и Богоявленский.

– До-о-о-о...

Дуня испуганно вскинула на него глазами и, пятясь назад, молчала...

– Что же ты, пой! – раздраженно крикнул учитель.

Девочка еще испуганнее шарахнулась в сторону...

– Вот глупая! Чего боится! Никто тебя не тронет! – крикнул снова учитель. – Поди сюда!

Но, вся дрожа, Дуня не трогалась с места. Старшие громко перешептывались на ее счет, средние и младшие вытягивали любопытные рожицы и тарачили глаза на новенькую.

– Поди сюда! Поди сюда! – завопил внезапно обозлившийся учитель, срываясь с места.

Ужас обуял Дуню. Она метнулась в сторону, забежала за рояль и, испуганно выпучив голубые глазен-

ки, вся трясясь, как лист, усталилась оттуда на Богоявленского.

– Ага! Ты что же это? Шутить со мною вздумала! – приходя неожиданно в бешенство, закричал Фимочка и снова рванулся за девочкой.

Не помня себя, Дуня бросилась улепетывать от него, не чуя ног под собою. Красный как морковь, Фимочка метнулся за нею.

Они описали круг, другой, обежав рояль, Дуня впереди, Богоявленский сзади...

Старшие, уже не стесняясь, фыркали и хихикали, закрывая рот руками. Средние следовали их примеру. Младшие любопытными глазенками следили за учителем и новенькой, с ужасом поджидая, что будет.

– Да стой же! Тебе говорят стой! Вот-то глупая! – задыхаясь, кричал Богоявленский, преследуя Дуню.

К счастью, растворилась дверь залы и на пороге ее показалась горбунья.

– Что такое? Зачем вы пугаете девочку? – сдвинув брови и сверкнув глазами, накинулась на учителя Елена Дмитриевна.

Дуня со всего размаха уткнулась ей в колени и истеричным голосом зарыдала на весь зал.

– Тетенька, спаси! Тетенька! – высокими пронзительными нотами кричала она, обхватывая ручонками колени надзирательницы и продолжая трястись от

страха.

– Ну и голосок, – сделал гримасу Богоявленский, – нечего было и добиваться «ноты» у этой зарезанной курицы. Хорошенький голосок – нечего сказать!

– Вы бы лучше толком объяснили девочке, что от нее требуется, нежели так пугать, – укоризненно произнесла тетя Леля и, обняв Дуню, повела ее в рабочую.

Там сидело несколько «безголосых», то есть не имевших настолько голоса, чтобы петь в хоре, воспитанниц.

К своему удовольствию, Дуня увидела в их числе и Дорушку.

Девочка прилаживала платью из цветных лоскутков на тряпичной кукле, лицо которой было довольно-таки искусно разрисовано красками.

– Займи новенькую, Дорушка, – приказала тетя Леля девочке, а сама отправилась снова в залу.

Дорушка ласково обняла Дуню.

– Хочешь играть со мной? Я буду куклина мама, ты няня, а это (тут она любовно прижала к себе куклу) – маленькая Дорушка, моя дочка?

Та молча кивнула головой, и девочки увлеклись игрою. Из залы до них доносились мотивы церковного пения. Здесь в рабочей шумели маленькие и о чем-то с увлечением шушукались средние и старшие вос-

питанницы.

Но Дуня и Дорушка ничего не замечали, что происходило кругом.

Играя, Дорушка как бы от имени куклы-дочери спрашивала няню-Дуню о деревне.

Дуня, дичившаяся сначала, теперь разговорилась, увлекшись воспоминаниями: и про тятю-покойника, и про бабушку Маремьяну, и про лес, и про цветники в лесу. Особенно про лес...

Дорушка, раскрыв ротик, слушала ее с расширенными от удивления глазами.

Дорушка была кухаркина дочка. Пока она была маленькой, то жила за кухней в комнатке матери и с утра до ночи играла тряпичными куколками. А то выходила на двор погулять, порезвиться с дворовыми ребятами. На дворе ни деревца, ни садика, одни помойки да конюшня. А тут вдруг и лес, поле в Дуниных рассказах, и кладбище. Занятно!

Щечки разгорелись у обеих девочек. Глаза заблестели. Они и не заметили, как пробежало время до ужина.

Ровно в семь раздался звонок. Появилась тетя Леля. Засуетились девочки. Стали спешно строиться в пары. Распахнулась дверь из залы, и ватага «певчих» воспитанниц высыпала в рабочую.

– Ужинать! ужинать! – крикнула горбатенькая над-

зирательница.

В столовой глаза Дуни слипались, точно в них песком насыпало. Сквозь непреодолимую дремоту слышала девочка, как пропели хором вечерние молитвы, видела, как в тумане, беспокойно снующую фигуру эконома, перелетавшего как на крыльях с одного конца столовой на другой.

Кто-то невидимый наложил ей на тарелку горячей каши, сдобренной маслом... Она машинально ела, изнемогая от усталости, пока ложка не выпала у нее из рук, а стриженная головка не упала на стол, больно ударившись о его деревянную доску.

– С шишечкой честь имею поздравить! – засмеялась костлявая Васса, сидевшая поблизости Дуни.

– Молчи. Зачем смеяться? Нешто она виновата, что уморилась... – прозвенел ласковый голосок Дорушки, и стрижки прокричали хором:

– Тетя Леля! Тетя Леля! Новенькая уморилась. Походя спит!

Что было потом, Дуня помнит плохо.

Две худенькие жилистые руки горбуньи подхватили ее и повели куда-то.

Куда? Она сознавала мало...

Как в тумане мелькнула лестница... Не то коридорчик, не то комната с медным желобом, прикрепленным к стене, с такими же медными кранами над

ним, вделанными в стену... Дверь... И снова комната, длинная, с десятками четырьмя кроватей, поставленных изголовьем к изголовью, в два ряда.

Все кровати одинаково застланы жидкими нанковыми одеялами с крепкими подушками в головах, в грубых холщовых наволочках.

– Раздевайся скорее и ложись... Уж бог с тобою, мыться не надо. Глаза не смотрят, вижу, – произнесла Елена Дмитриевна и, собственноручно раздев сморившуюся Дуню, уложила девочку в постель.

Эта постель показалась чем-то сказочным для деревенского ребенка. У бабушки Маремьяны спала она на жесткой лавке, застланной каким-либо старым тряпьем, и прикрытая одежей. Здесь же был и матрац, и одеяло. Маленькое тельце с наслаждением вытянулось на кровати.

– Спи! Христос с тобой! – проговорила горбунья и, перекрестив Дуню, быстро нагнулась и поцеловала стриженую головку в лоб.

Но Дуня уже не слышала и не чувствовала ничего. Она крепко заснула в одну минуту.

Глава девятая

Ненастное осеннее утро... Снег падает большими мокрыми хлопьями и тает на лету, не достигая земли.

– Динь! Динь! Динь! Динь! – звенит заливаясь колокольчик.

Тоненькая фигурка дежурной по приюту воспитанницы мелькает по коридору, проскальзывает в дортуары, не переставая звонить убийственно нудным, нестерпимо резким звоном, заходит в спальни. Дежурит нынче Липа Сальникова, воспитанница среднего отделения.

У нее тупое, скуластое, некрасивое лицо, толстые вывороченные губы и заспанные сердитые глаза.

Разбудив старших, она перебегает в свою спальню, где ночуют средние, ее однокашницы.

– Вставать, девицы, вставать! – бойко покрикивает она, останавливаясь на пороге.

Потом спешит в «младший» дортуар, к стрижкам.

– Стрижки, вставать! – разносится ее голос по комнате. – Нечего-нечего лентяйничать, на уборку опоздаете, того и гляди. Живо у меня, не то водой окачу.

Маленькие, круглые, как шарики, головенки быстро отрываются от подушек... За ними и сами обладательницы «шариков» соскакивают с постелей.

Дети знают отлично, что с дежурными шутки плохи. Либо одеяло сдернет, либо еще хуже – обольет водою. А в дортуаре холодно и без того! Так выстудило за ночь...

Липа торопливой походкой устремляется на середину комнаты. Там, задернутая темным абажуром, чуть мерцает висячая лампа-ночник.

В одну минуту выдвинут табурет проворной рукой на середину комнаты. Липа вскакивает на него, прибавляет в лампе огня, повернув светильню, потом снимает абажур...

В дортуаре сразу становится светлее. Теперь ясно видно, кто из девчонок не встал и лежа прохлаждается в кроватях.

– Вставать! Вставать! – громким голосом кричит Липа и срывает мимоходом два-три одеяла с заспавшихся малышей.

– Ай! Ай! Оставь! Липочка! Родненькая! Миленькая! Золотенькая! – молит жалобный голосок. – Хо-о-лодно, Ли-и-па-а! – Но Сальникова в ответ торжествующе смеется.

– А холодно, так вставай! Чуркова! Ты это что же, дряннушка этакая! До молитвы лежать будешь? – и Липа, стремительно схватив с предпостельного столика кружку, бежит с нею в умывальную. Через минуту она возвращается, сияя той же торжествующей

недоброй улыбкой.

– Ты не слушаться? Так на же тебе! – и все содержимое в кружке целиком выливается на малютку Олю.

Липа неистово хохочет. Оля, мокрая, дрожащая в залитой сверху донизу рубашонке, вскакивает с постели, испуганными глазенками впивается в свою мучительницу.

Она хочет сказать что-то и не может. Заикается, путается и, лязгая зубами, дрожит.

– Ну двигайся! Что ровно истукан стоишь? На молитву опоздаешь! – резко прикрикивает Липа.

– А ты не смей Олю обижать. Она у нас слабенькая, того и гляди заболает! – выскакивая вперед, крикнула Дорушка.

– Не смей! Не смей! Что за командирша такая! – защищали и другие стрижки, окружая внезапно тесным кольцом Липу.

– Ах, вы, такие-сякие малыши! Грозить еще вздумали! – захорохорилась Липа.

– А ты не смей! – наседали на нее девочки.

– Ах, сделай милость, испугалась, сейчас заплачу! – насмешничала Липа.

– А вот и испугалась! Небось нас сорок, а ты одна! – крикнула внезапно словно из-под земли выросшая Васса. – Небось попадет тебе!

– Попадет! Попадет за Олю! – защищали стрижки.

– Цыц, молчать! Не то няньку Варвару крикну! – пригрозила Липа.

Няньке Варваре, спавшей обыкновенно в спальне малышей в углу, у печки, вменялось в обязанность присматривать за стрижками и помогать горбатенькой Елене Дмитриевне в уходе за малышами. Сейчас нянька как раз отсутствовала, на несчастье Липы. Окинув быстрым взором спальню, девочки убедились в этом.

Липа Сальникова растерялась немного... Прямо на нее лезла Васса, сжимая в кулачки свои костлявые ручонки десятилетки. Красная от гнева Оня Лихарева, обычная заступница болезненной Чурковой, грозила ей из-за плеч Вассы.

Любочка Орешникова кричала в уши:

– Злая Липа, злющая! Бесстыдница, ишь, что выдумала – маленьких обижать! Тете Леле скажем!

Липа Сальникова разом взвесила свое положение. Приходилось плохо. Надо было идти на мировую со всей этой мелюзгой. Быстро сунув руку в карман. Липа вынула оттуда залежавшийся пыльный кусок сахара и, протягивая его плачущей Оле, произнесла, смягчая свой резкий голос:

– Ну, ладно, ладно! Будет! Ладно уж, поревела и будет! На сахарцу. Эка невидаль, подумаешь! Душ заставили принять ненароком. Не зима еще... Не по-

мрешь. А вот, девоньки, послушайте меня, что я вам скажу-то! Цыганка у нас объявилась. Гадальщица. Слышите? Так твою судьбу тебе расскажет, что любо-дорого. Что с каким человеком через год будет, все увидишь. Приходите нынче вечером в наш средний дортуар. Гадалку вам покажем, – тараторила Липа, и глаза ее лукаво поблескивали на скуластом лице.

– Я боюсь! – пропищала Оля Чуркова с не выспавшимися еще глазами сосавшая сахар.

– А я приду! – смело крикнула Васса. – Кто со мной?

– Я! – отозвалась Оня Лихарева.

– И я! – взвизгнула Канарейкина.

– Уж и я, так и быть! – и девятилетняя Алексаша Кудрина вынырнула из-за подруг.

– А кто гадает-то? – с любопытством осведомилась Любочка Орешкина.

– Ишь ты, так тебе и скажи! – усмехнулась Липа. – Придешь – увидишь! Приходи только! Настоящая цыганка, говорят тебе!

– Липочка-душенька, скажи, скажи – кто? – пристали со всех сторон к подростку Сальниковой малыши-стрижки. – Гадалку позови, Липа!

– Ладно, подождете, скороспелки. Будете много знать, скоро состаритесь, – хохотала большая девочка и, не переставая смеяться, выбежала из дортуара.

– Я пойду уже вечером, погляжу на гадалку! – ре-

шительно заявила Оня, всегда прежде своих сверстниц отзывавшаяся на всякие шалости.

– И мы, и мы! – запищали другие.

– Нет уж, сидите дома. Мы с Вассой идем, с Любочкой, да Алексашу прихватим, кто постарше. А вы дома с нянькой Варварой останетесь, – с важностью говорила Оня.

В младшем отделении, как и в старшем, и в среднем, были дети разного возраста. Принимали сюда девочек от восьми до одиннадцати лет. С одиннадцати до пятнадцати воспитанницы составляли второе среднее отделение, и с пятнадцати до восемнадцати – старшее выпускное. Среди стрижек поэтому были совсем еще несмысленные малютки-восьмилетки и девятилетние и десятилетние девочки вроде Любочки Орешниковой, Дорушки Ивановой, Вассы, Они и Сони Кузьменко.

Долго спорили и препирались стрижки, кому идти к гадалке в «среднее» в гости, и сойдет ли «поход» благополучно, тайно от тети Лели, которая строго запретила сходитья своим малышам со средними и старшими воспитанницами.

Внезапно раздавшийся звонок к молитве прервал волнение малюток. Из соседней комнаты появилась знакомая горбатенькая фигура, и тетя Леля, хлопая в ладоши, стала сзывать свое маленькое стадо обыч-

НЫМ ПРИЗЫВОМ:

– В пары, дети, в пары!

Начинался однотонный, серый, уютный день.

Глава десятая

От восьми до девяти вся внутренность коричневого дома как бы выворачивалась наизнанку. Трудно узнать приют в этот утренний час.

Всюду моют, скребут, натирают, метут, снимают в углах паутину... Старшие и средние носят тяжелые ведра с водою, моют полы, двери, окна или тщательно оттирают медные заслонки у печей, дверные ручки и оконные задвижки.

Малыши помогают по мере сил и возможности средним и старшим.

В грязных, грубых, холщовых передниках, с раскрасневшимися лицами девушки и дети с одинаковым усердием работают на уборке.

Вон пробежала беленькая, хрупкая и изящная Феничка Клементьева с полным до краев ведром мыльной воды... Та самая Феничка, что часто, сидя в уголку, читает потихоньку чудом попавшие ей в руки романы и обожающая богатыря-доктора Николая Николаевича.

Сейчас Феничку узнать нельзя. Вместе с Шурой Огурцовой, своей подружкой, она льет воду на доски коридора и начинает энергично водить по полу шваброй, обвязанной тряпкой на конце.

– Маленькие! Стрижки! – кричат взапуски Феничка и Шура. – Тащите сюда мыла. Нянька Варвара даст... Дорушка и Дуня, находившиеся поблизости, устремляются по поручению средних. И через минуту несутся обратно, таща вдвоем большой кусок серого мыла, добытый у няньки.

Вот уже месяц, как живет в приюте Дуня.

Трудно поверить, что это та самая маленькая деревенская девочка, которую четыре недели тому назад доставил в приют Микешка.

Личико Дуни вытянулось, заострилось. Здоровый деревенский загар почти исчез с него. Глаза стали больше, острее. Осмысленнее, сосредоточеннее глядят они теперь на божий мир. Многому уже научилась в приюте Дуня.

Умеет она узнавать буквы русского алфавита; умеет выводить склады. И шов стачать умеет и сшить, что понадобится «вперед иголку», и песенкам кой-каким научилась, хотя и не участвует в церковном хоре, потому что сердитый Фимочка решительно заявил, что у новенькой не голос, а «козлетон».

Впрочем, в хоре стрижки участвовали лишь на «подтяжку». Серьезного пения от них не требовалось, для этого они были еще слишком малы.

Все меньше и меньше тоскует по деревне Дуня... Уходят от нее куда-то далеко и лес, и избушка, и клад-

бище с материнской могилкой... Другая жизнь, другие люди, другие настроения овладевают девочкой...

А тут еще Дорушка Иванова скрашивает ее жизнь, да тетя Леля, добрая горбунья, всячески ласкает сиротку.

Тетю Лелю Дуня любит, как родную. Бабушку Маремьяну она так не любила никогда. Разве отца, да лес, да лесные цветочки. От одного ласкового голоса тети Лели сладко вздрагивает и замирает сердечко Дуни... Не видит, не замечает она уродства Елены Дмитриевны, красавицей кажется ей надзирательница-калека.

И к Дорушке привязалась девочка за этот месяц, как к любимой сестричке.

Совсем особенная эта Дорушка, таких еще и не видала детей Дуня.

Всегда спокойная, ровная, одинаковая со всеми. А уж такая добрая, что и сказать нельзя... Чуть от кого-нибудь перепадет конфетка ли, пастилка или просто кусок сахару Дорушке, ни на минуту не задумываясь, разделит его на массу мелких кусочков девочка и раздаст подружкам, кто поближе стоит. А то и себя забудет, отдаст и свой кусочек.

И никто, кроме Дорушки, не сумеет примирить ссорящихся девочек, заступиться за обиженную, пристыдить обидчицу. Зато она – общая любимица. Даже завистливая Васса и задорная Оня Лихарева никогда не

«наскакивают» на Дорушку... И хитрая, лукавая, любящая сунуть во все свою лисью мордочку девятилетняя Паша Канарейкина и та, задевая других, не рискует затронуть Дорушку.

Под крылышком Дорушки Ивановой легче живется Дуне. За нее заступается Дорушка, не дает и в обиду.

Темно-карие веселые и приветливые глазки Дорушки ни на минуту не выпускают из виду Дуню.

И сейчас, участвуя в уборке, девочки находятся неотлучно одна подле другой.

Вытирая мокрой тряпкой пыль с перил лестницы, Дорушка – впереди, позади нее Дуня с сухой тряпкой; девочки спускаются по ступеням, переговариваясь между собой тихим шепотом.

Почти спустившись на нижнюю площадку лестницы, они увидели бегущую к ним рыженькую старшеотделенку Женю Памфилову, любимицу Пашки.

– Девоньки миленькие, стриженьки, голубоньки! – лепечет возбужденная и красная, как рак, Женя. – Мне к баронессину рождению подушку гладью кончать надо, спешить, каждый час дорог, а нынче особенно... Ведь завтра-то рождение – отсылать надо... А тут Павлы Артемьевнина комната не убрана. Дорушка Иванова, либо ты, Дуняша Прохорова, уберите кто-нибудь! Ради господ, за меня! – И голос обычно грубоватой, любившей покомандовать Жени зазвучал

непривычными ему мягкими нотами. Дорушка и Дуня испуганно переглянулись.

Сварливую, требовательную и необычайно строгую Павлу Артемьевну приютки большие и маленькие боялись пуще огня. Она не умела прощать. Малейшая детская провинность воспитанницы в глазах Павлы Артемьевны принимала размеры чуть ли не настоящего преступления. И виновную постигала строгая кара.

Имея в своем распоряжении среднее отделение приюта, Павла Артемьевна не ограничивалась, однако, своей воспитательной ролью среди вверенных ее наблюдению подростков. Пользуясь своими правами рукодельной наставницы, она то и дело вмешивалась в дела старшего и младшего отделения. Постоянные недоразумения на этой почве с доброй и мягкой тетей Лелей или сдержанной, вдумчивой Антониной Николаевной отнюдь не умеряли воспитательный пыл Павлы Артемьевны.

На все увещания обеих надзирательниц она неизменно отвечала одно и то же:

– Ах, оставьте меня действовать по собственному усмотрению! Ведь через два-три года ваши девчонки, Елена Дмитриевна, перейдут ко мне. Должна же я наблюдать за ними исподволь, чтобы ознакомиться с индивидуальностью каждой из них!

И Павла Артемьевна «знакомилась...». Своим ястребиным оком она следила неустанно за каждой «стрижкой», преследуя детей всюду, где только могла. Как это ни странно, но доставалось от Павлы Артемьевны больше всего или чересчур тихим, или не в меру бойким девочкам. Одобряла же она сонных, апатичных воспитанниц да хороших рукодельниц. Не любила живых и веселых вроде Они Лихаревой и Любы Орешкиной. Не выносила тихонькую Дуню и болезненную, слабенькую Олю Чуркову.

Дуню Павла Артемьевна невлюбила более всех. Клички: «деревенщина», «облом», «тюря», «мужичка сиволапая» обильно сыпались на девочку во время рукодельного класса.

К довершению несчастья Дуня шила из рук вон плохо, еще хуже вязала и совсем не умела вышивать.

Ее руки, непривычные к такой работе, делались как деревянные в тяжелый для девочки класс рукоделий.

Как могла, помогала своей подружке Дорушка, мастерица и рукодельница на все руки. Несмотря на свои девять лет, маленькая Иванова шила и вышивала гладью не хуже другой старшеотделенки, возбуждая восторг и зависть воспитанниц. За искусство Дорушки Павла Артемьевна прощала многое и Дуне, как ближайшей ее подруге. Но Дуня не могла не чувствовать глубоко затаенной к ее маленькой особе

неприятни со стороны ее врага.

И сейчас, услыша просьбу Жени Памфиловой, она вздрогнула от одной возможности убирать комнату «страшной» средней надзирательницы.

Рыжая Женя выжидательно глянула на обеих по-друг.

– Ну? – нетерпеливо проронили ее пухлые губы.

Дорушка и Дуня переглянулись снова.

– Чего глаза таращите, – вдруг сразу разошлась Женя, – или, дурочки, не знаете, что я вам честь делаю, предлагая убрать комнату самой Павлы Артемьевны? Чувствуйте!

Голос Жени зазвенел привычными ему «командирскими» нотами. Веснушчатое лицо приняло гневное выражение.

– Ну же, малыши! Будете вы слушаться или нет?

Бойкие карие глазки Дорушки испуганно вскинулись на грозную старшеотделенку.

– Мы... мы...

– Ну замычала, что твоя корова! – расхохоталась Женя. – Эх, дура я, дура, стала еще с вами канительиться! Попросту, без разговора, надо было приказать! Живо у меня брать ведро, тряпку и к Павле Артемьевне марш! Так-то лучше!

И с разом изменившимся лицом, без малейшего уже признака смеха. Женя Памфилова топнула ногой

и, сверкнув маленькими глазками, схватила за плечи сначала Дорушку, потом Дуню и с силой подтолкнула обеих...

– Ступайте-ступайте, нечего прохлаждаться зря! Скоро к рукодельным часам зазвонят, управляйтесь поживее, не то нагорит и от Павлы Артемьевны, и от меня получите на орехи! – крикнула она вдогонку подругам и, живо повернувшись, устремилась в рабочую, где ее ждала почти оконченная, гладью вышитая нарядная подушка, завтрашнее подношение попечительнице приюта.

Глава одиннадцатая

Какая красивая комната!

Обе девочки попали сюда впервые. По странному капризу Павлы Артемьевны ее «квартиру», как назывались крошечные помещения надзирательниц на языке приюток, убирала любимица Пашки Женя Памфилова. Стрижкам никогда не приходилось заглядывать сюда. Вот почему широко раскрытыми, блестящими любопытством и восхищением глазами Дорушка и Дуня впились в непривычную для них обстановку.

Зеленый пушистый ковер, похожий на травку весной, покрывал больше трети комнаты. Мягкая оливкового цвета мебель, широкое зеркало в простенке двух окон, скрытых под белыми тюлевыми занавесками, туалет из зеленого крепона с плюшем, за красиво расписанными по молочному фону ширмами кровать, похожая на большого сверкающего лебедя своей нежной белизной... Еще столик, и еще, в одном углу и в другом... А там, на подзеркальнике и этажерках, целая выставка красивых безделушек... Тут и гипсовые статуйки, и вазочки из фарфора, и изящные изделия из бронзы.

На стенах картины и портреты. Глаза у девочек разбегались во все стороны при виде всей этой непости-

жимой для них роскоши.

– Гляди! Гляди! – исступленно зашептала вдруг Дорушка и протянула вперед свой маленький указательный палец.

– Ах!

Дуня поднялась для чего-то на цыпочки и замерла от восторга. Прямо против нее на высокой тумбочке стояла прелестная, закинутая назад головка какой-то красавицы из зеленого, крашеного гипса. Прелестный точеный носик, полуоткрытые губки, сонной негой подернутые глаза, все это непонятно взволновало девочку своим красивым видом.

Зеленая статуэтка, казалось, улыбалась Дуне. Ее суженные глаза и запрокинутая назад головка влекли к себе девочку.

Долго бы простояла перед зеленой гипсовой красавицей Дуня, если бы Дорушка не окликнула свою маленькую подружку.

– Ну, что стала? Торопиться надо! Примемся за уборку. Не то на рукодельные часы опоздаем. Беда! – с деловитым, озабоченным видом зашептала Дорушка. – Давай-кась ведро скорееича. Я полы вымою, а ты пыль сотри, да, ради господа бога, осторожнее, Дунюшка! Не приведи господь, разобьем что. Со света сживет Пашка! Ну, начнем, Дуня!

И осторожно отогнув угол ковра, Дорушка схватила

швабру, обмотанную тряпкой, обмакнула ее в мыльное ведро и добросовестно углубилась в работу.

Вооружившись пыльной тряпкой, принялась за уборку и Дуня.

Почти с благоговением подходила она к столам и стульям и перетирала ручки и ножки хрупких вещей с трепетом и почти со страхом. К статуям, вазочкам и картинам она не решилась прикоснуться, помня строгий наказ рыжей Жени.

Осторожно подошла она к дивану, собираясь провести тряпкой по его резной с украшениями спинке, случайно подняла глаза на висевшую над ним картину и тихо ахнула, вся охваченная сладким восторгом.

– Деревня! Смотри, Дорушка, деревня! – восторженным шепотом произнесли дрогнувшие губки девочки.

На картине, висевшей на аршин выше головы Дуни, действительно была изображена деревня... Маленькая убогая деревенька приютилась на краю поля... А за нею синел густой непроходимой стеной лес... Любимый лес Дуни!

Крошечная колокольня бедной церковки с прилегающим к ней погостом довершали сходство с родной Дуниной деревушкой, заставляя маленькое сердчишко приютки биться удвоенным темпом восторга и неожиданной радости.

Чтобы хорошенько рассмотреть знакомую ей милую картину, не отдавая себе отчета, Дуня быстро сбросила с ног неуклюжие приютские шлепанцы и, оставшись в одних чулках, взобралась с ногами на диван и прильнула к картине.

Приют с его неприветливыми мрачными стенами, толпа больших и маленьких девочек, добрая ласковая тетя Леля и злая Пашка, даже любимая нежно подруга Дорушка, все было позабыто ею в этот миг.

Милый, милый лес, знакомые избушки, темный погост с крестами, высокая колоколенка – вот что захватило и поглотило сейчас все существо девочки Дуни.

Желая рассмотреть поближе, не их ли избенка нарисована там, с краю деревни, она придвинулась совсем близко к картине и горящим взором прикинула к ней.

– Она! Как есть она! – вихрем пронеслось в голове девочки. И радостная слезинка повисла на ее реснице. За ней другая, третья... Выступили и покатались крупные градины их по заалевшемуся от волнения личику. Слезы мешали смотреть... Застилали туманом от Дуни милое зрелище родной сердцу картины... Вот она подняла руку, чтобы смахнуть досадливые слезинки... и вдруг что-то задела локтем неловкая ручонка... Это «что-то» зашаталось, зашумело и с сухим треском поваленного дерева тяжело грохну-

лось на пол.

– Дзизинзин! – прозвучало тотчас вслед за этим в ушах Дуни, мгновенно приводя к действительности замечтавшуюся, словно заснувшую в своих грезах девочку.

Побледневшая от неожиданности и испуга, она отвела глаза от картины, опустила их на пол...

– Ай! – вырвалось полным отчаяния звуком из груди Дуни.

– Ай! – вторила ей как эхо не менее ее испуганная Дорушка.

На полу лежала поваленная тумба, а подле нее валялись зеленые черепки гипсовой красавицы, еще несколько минут тому назад пленявшей Дуню.

По бледному испуганному лицу Дорушки Дуня поняла, что случилось что-то ужасное, непоправимое, и от сознания этого непоправимого сердце точно остановилось в груди девочки, замерло и лишь тихими неслышными туками напоминало о себе.

Вдруг глаза Дорушки округлились от ужаса, лицо без тени румянца вытянулось и словно состарилось сразу, а побелевшие губы шепнули беззвучно:

– Павла Артемьевна идет! Пропали мы, Дуня! Господи Иисусе! Пропали совсем!

Действительно, тяжелые, энергичные, как бы мужские шаги «средней надзирательницы» зазвучали по-

близости в коридоре.

Павла Артемьевна порывисто распахнула дверь своей комнаты.

Высокая, красивая, крупная фигура ее остановилась как вкопанная на пороге. Одного быстрого взгляда всевидящих глаз надзирательницы было достаточно, чтобы заметить сразу и поваленную тумбу в углу, и гипсовые черепки разбитой головы!

Вмиг густой румянец залил и без того розовое лицо приютской наставницы. Грозно в одну сплошную черную черту свелись на переносице ее густые, тонкие брови.

– А-а?.. – протянула она неопределенно и убийственным взглядом оглянула Дорушку и Дуню.

Потом с легкой гримасой румяных губ, с теми же сердито вспыхивающими огоньками в глазах она шагнула к последней:

– Деревенщина! Косолапая! Вот ты как! – угрожающе прошипела Павла Артемьевна и протянула руку к уху бледной, как смерть, Дуни.

– Нет! Нет! – послышался в ту же минуту скорее стон, нежели голос бросившейся вперед Дорушки. – Нет! Нет! Ради бога! Не она это, не Дуня... Я... Павла Артемьевна, я... разбила куколку вашу... Я виновата... Меня накажите! Меня!

Теперь слова лились фонтаном изо рта поблед-

невшей не менее Дуни Дорушки. Девочка тряслась, как в лихорадке, стоя между надзирательницей и вко-нец уничтоженной маленькой подругой. Она молитвенно складывала ручонки, протягивая их к Павле Артемьевне, а большие, обычно живые карие глазки Дорушки без слов добавляли мольбу.

Что-то трогательное было во всей фигурке самоотверженной девочки, и это «трогательное» толкнулось в сердце черствой и обычно немилостивой надзирательницы.

Она положила руки на плечи Дорушки и произнесла, отчеканивая каждое слово и зорко, пытливо глядя ей прямо в зрачки:

– Это правда, Иванова, это сделала ты?

Карие глазки заметались, забегали между темными полосками Дорушкиных ресниц.

Бледные щеки девочки залило густым, алым румянцем.

– Тетенька, простите... Павла Артемьевна, голу-бинька, простите, виновата! – залепетала Дорушка.

Надзирательница ближе придвинула свое свежее розовое лицо к испуганному личику Дорушки.

– Это не ты сделала, а Дуня! Скажи... – прозвучал громко и отчетливо ее энергичный голос.

Зеленая комната ходуном заходила в глазах Дорушки... Волнение девочки было ей не под силу.

Дорушка зашаталась, голова у нее закружилась, наполнилась туманом Ноги подкашивались. Непривычка лгать, отвращение ко всему лживому, к малейшей фальши глубоко претила честной натуре Дорушки, и в то же время страх за Дуню, ее любимую глупенькую еще малютку-подружку заставляли покривить душой благородную чуткую Дорушку.

Быстро мелькнула в сознании девочки молния-мысль:

«Если скажу, что я, мне попадет меньше... Я – рукодельница, Павла Артемьевна меня скорее простит... А Дуню она не любит и накажет строже. Ах, Дуня! Бедная Дуня!»

И обливаясь потом, с опущенными в землю глазами Дорушка прошептала чуть слышно:

– Я разбила... Меня накажите... Я виновата, Павла Артемьевна!

Что было потом, Дорушка и Дуня помнили смутно. Как они вышли от надзирательницы, как сменили рабочие передники на обычные, «дневные», как долго стояли, крепко обнявшись и тихо всхлипывая в уголку коридора, прежде чем войти в рукодельную, – все это промелькнуло смутным сном в маленьких головках обеих девочек. Ясно представлялось только одно: счастье помогло избежать наказания Дорушке, да явилось сознание у Дуни, что с этого дня маленькая

великодушная Дорушка стала ей дороже и ближе родной сестры.

Глава двенадцатая

– И сказал господь Каину: – Каин, где брат твой Авель? – И отвечал Каин: – Господи! Я не слуга брату моему. – Тогда...

Голос отца Модеста звучит глуховато, резко, без тех теплых модуляций и переливов, свойственных священнику. Затаив дыхание, слушают рассказ стрижки. Глазенки их, горящие вниманием, жадно прикованы к устам законоучителя. Заалевшиеся личики пылают...

Простым, доступным детскому пониманию языком излагает отец Модест своим малюткам-слушательницам историю Каина и Авеля. Внимательно слушают его рассказ стрижки.

Притихла бойкая Оня Лихарева... Потупила живые лукавые глазки. На задорном, своенравном лице Вассы Сидоровой застыло странное недетское выражение угрюмой вдумчивости... Беленькая, нежная, хорошенькая Люба Орешкина, кажется, забыла о том, что она Любочка – приютская «красоточка», попечительницына любимица, и вся ушла с головою в занимательный, поучительный и страшный своим трагизмом рассказ. Востроносенькая Паша Канарейкина едва дышит от захватившего ее волнения. Маленькая Чуркова полными слез глазенками впивается в ба-

тюшку... А Дуня... Шибко бьется-колотится в детской груди маленькое Дунино сердце. Так жаль ей бедненького убитого братом Авеля! Так негодует она, так возмущается всей душою против его убийцы-брата!

И думает, быстро соображая, восьмилетней душой.

«Вот бы нас туда... С Дорушкой... Дорушка бы не попустила. Дорушка бы не струсила. Заступилась бы за Авеля... Не позволила бы убить брата... Дорушка храбрая! Она самой Пашки не испугалась. Она бы Каина не побоялась бы... Милая, родненькая Дорушка!»

И быстро набегают теплая нежная волна в душу Дуни... Волна безграничного влечения к ее маленькой подружке. Незаметно поворачивает голову Дуня и, под партой протянув ручонку, трогает худенькие пальчики Дорушки.

– Чего ты? – удивленно, не разжимая губ, сквозь зубы роняет Дорушка, чтобы не быть услышанной законоучителем.

– Дорушка... Родненькая... Вспомнилось мне, как ты давеча... у Пашки в горнице... Ах, Дору...

– Не разговаривать! – мгновенно обрывает Дунин шепот голос отца Модеста.

– Кто там шепчется? Нельзя на уроке говорить. Дуня Прохорова! Стыдно! Лучше бы урок хорошенько слушала! – стыдит ее батюшка.

Вся малиновая, как вишня, Дуня сконфуженно ер-

зает на скамье.

Батюшка хмурится. Не выносит отец Модест невнимания в классной.

– А ну-ка, умела развлекаться, умей и ответ держать, – говорит он еще строже, окидывая внимательным зорким оком тщедушную фигурку Дуни. – Расскажи-ка, что слышала здесь о Каине, убившем Авеля? А?

Еще пуще краснеет Дуня. Слышала она многое: и как жертву приносили оба брата богу, и как взвился голубоватый дымок к небу от Авелевой жертвы, и как стлался по земле Каинова приношения дым. И как озлобился Каин на брата, как завистью наполнилось его сердце, как заманил он Авеля и убил.

Все это прочно запало в детскую головку, все это отлично запомнила Дуня. А рассказать не сможет, не сумеет... Не связать ей двух слов.

– Ну, как звали одного брата? – помогает ей вопросом бабушка.

Молчит Дуня.

– Ну, другого помнишь, может?

Тоже молчит.

– Кто помнит? – обращается к сорока девочкам бабушка. – Подними руку!

Два десятка ручонки маленьких, худеньких и красных с неизбежными пятнами чернил (стрижки пишут

уже буквы и склады у Елены Дмитриевны на ее уроках грамоты) поднимаются над головами.

– Ну ты, Соня Кузьменко, скажи! – обратился батюшка к худенькой желтолицей скуластой девочке лет десяти, самой толковой и восприимчивой на научные предметы, особенно на Закон Божий.

Соня Кузьменко встала и высоким пискливым голосом отчетливо, ясно и толково рассказала историю Каина и Авеля.

– Хорошо, – похвалил ее батюшка, – умница! Садись! – и он кивнул головой Соне.

Отметок приюткам не ставили, экзаменов в конце года здесь не было, как в городских школах. N-ский приют считался ремесленным заведением, и на научные предметы здесь не обращали такого внимания, как на ремесла.

Правда, с некоторыми девочками, отличавшимися особой толковостью и способностями к ученью, занимались усиленнее, нежели с остальными, и по окончании воспитания в приюте их переводили в школу учительниц. Но таковых было немного. Способность к рукоделиям наблюдалась больше среди питомиц ремесленного приюта, нежели влечение к научным предметам.

А потому и требовалось от них немного. История Ветхого и Нового Завета, символ веры, заповеди,

молитвы, тропари к двенадцатым праздникам. Из арифметики четыре правила, именованные числа и дроби. Из русского языка грамота, грамматика, чтение наизусть стихов, переклад рассказов и басен и несложная диктовка.

Начало географии и краткая отечественная история, преподаваемые теми же надзирательницами, проходились вместе с грамматикой и переложениями рассказов из хрестоматии в двух старших отделениях приюта.

С малышей спрашивалось немного, вроде счета и задач на четыре правила до ста и чтения, начала каллиграфии да заучивания стихов. И еще краткие рассказы Ветхого Завета.

Из малышей-стрижек особенно отличалась Соня Кузьменко.

Батюшка очень благоволил к развитой, умненькой не по годам девочке.

Нравилось отцу Модесту и то, что десятилетняя Соня с особенным рвением молилась в церкви и пела на клиросе со старшими. Ее писклявый детский дискант врезывался тонкой струной в грудные голоса старше- и среднеотделенок.

– Примерная отроковица! – часто говорил отец Модест, глядя по головке девочку и подчеркивал перед администрацией приюта рвение Сони.

И теперь, выслушав с удовольствием свою любимицу, он долго улыбался еще, вспоминая ее прекрасные ответы.

Потом, обводя классную глазами, батюшка остановил их на маленькой, толстенькой и совершенно белой, без кровинки в лице девочке, с тупыми и вялыми движениями и отсутствием мысли на сонном лице.

– Ну-ка, Маша Рыжова, расскажи теперь то же самое и ты, – приказал батюшка.

Задавание уроков к следующему дню не практиковалось в приюте. На выучивание их не хватало времени, так как уборка, стирка, глажение, а больше всего рукодельные работы занимали все время воспитанниц. Заучивалось все с «голоса» преподавателя, тут же в классной. Молитвы, стихи, грамматические правила, название, имена, года – все это выписывалось на доске наставницами и законоучителем и хором затверживалось старшими девочками.

С малышами приходилось несколько иначе: их учили по слуху, то есть наставники повторяли урок до тех пор, пока он усваивался детьми крепко и прочно. Батюшка знал прекрасно, на кого надо было обратить большее внимание.

Маша Рыжова, сонная и вялая девятилетняя воспитанница, являлась исключительным среди приюток типом непонятливости и бестолковой, почти животной

тупости. Сколько ни бились с нею тетя Леля и отец Модест, сколько ни старались они над развитием девочки, оно не поддавалось ни на йоту. Глупая, апатичная, мечтающая только о том, как бы хорошо поесть и сладко поспать. Маша оставалась вполне равнодушной ко всему остальному. На уроках она дремала, в часы рукоделий вяло ковыряла иглою, приводя этим в неистовство Павлу Артемьевну; даже в часы отдыха, в свободное время приюток, когда девочки большие и маленькие резвились в зале, старшие танцуя, малыши взапуски гоняясь друг за другом или устраивая шумные игры, под руководством той же тети Лели, Машу ничто не занимало. Она забивалась куда-нибудь в угол и целыми часами просиживала неподвижно, глядя бессмысленными глазами куда-то вдаль и неустанно жуя что-то.

Это «что-то» было или оставшиеся от обеда и ужина корки хлеба, которые Маша подбирала с жадностью маньячки на столах, или перепадавшие изредка на долю приюток лакомства в виде пряников, пастилок и леденцов, жертвуемых попечительницею для не избалованных гостинцами воспитанниц.

Сейчас вызванная из своего тупого оцепенения Маша нехотя поднялась со своего места.

– Отчего Каин убил своего брата Авеля? – обратился батюшка к толстой рыхлой не по годам девочке.

Осовелые глаза приютки бессмысленно уставились в лицо отца Модеста.

– Надо было, – угрюмо буркнула Рыжова.

– Почему надо? – поднял брови батюшка. Паша Канарейкина подтолкнула локтем свою соседку Глашу Ярову, и обе фыркнули, прикрыв рты руками.

– Потому что от костра чадно стало. По земле чадно. Вот из-за чада этого... От поленниц, значит, – затянула деревянным голосом Маша.

– Садись! Садись! – замахал на нее руками батюшка и, краснея от досады, кинул классу: – Да растолкуйте вы этому неучу, дети, кто хорошо понял историю! Оживите вы ее. Ведь этак она и совсем заснет! – кивнул он на Рыжову. – Кто понял?

Почти сорок рученок с запятнанными чернилами пальцами потянулись над шарообразными головешками.

– Я!

– Я!

– Я, батюшка! – слышались детские голоса.

– Ай! – взвизгнул на всю классную кто-то.

– Это еще что? – строго осведомился батюшка. Маша Рыжова, багрово красная, стояла на конце комнаты и усиленно терла руку.

– Ци-п-ле-т-ся! – протянула она забавно, трубочкой вытягивая губы.

– Кто щиплется? – совсем уже сердито осведомился батюшка.

– О-онь-ка-а Ли-ха-ре-ва! – протянула Маша.

– Оня Лихарева! Ступай к доске! – раздался суровый голос отца Модеста. – Бесстыдница! – присовокупил он, когда красная, как вареный рак, девочка заняла указанное ей в наказание место.

– Стыдно обижать Машу. Она – глупенькая! Ее пожалеть надо, а вы вместо этого так-то! Нехорошо!

Батюшка хотел прибавить еще что-то, но внезапно раздавшийся звонок возвестил окончание урока, и он поднялся со стула.

– Дорушка! Читай молитву! – приказал он дежурной.

– Благодарим Тебе Создателю, яко сподобил еси нас, – зазвенел на всю классную звонкий голосок Дорушки, после чего отец Модест благословил девочек и вышел из классной. Проходя мимо доски и стоявшей подле нее Лихаревой, батюшка строго взглянул на Оню и погрозил ей пальцем.

Лишь только высокая, чуть сутуловатая фигура законоучителя скрылась за дверью, Оня соорудила лукавую рожицу и крикнула подругам:

– Вот и не потрафила. Сам же батя «живить» просил... А теперь не ладно! Ах, ты Маша, Маша кислая простокваша, и когда ты поумнеешь только? – уда-

рив по плечу проходившую мимо Рыжову, засмеялась Оня.

Та тупо глянула на нее и, лениво поведя плечами, произнесла:

– Надоела... Отстань... Тете Леле пожалуюсь... – И утицей проплыла мимо.

Глава тринадцатая

– Нынче ужю, к гадалке! – шепотом, замирая от восторга, напомнила Васса подругам, столпившимся у окна.

За окном крупными хлопьями валил снег... Сад оголился... Деревья гнулись от ветра, распластав свои сухие мертвые сучья-руки. Жалобно каркая, с распластанными крыльями носились голодные вороны. Сумерки скрывали всю неприглядную картину глубокой осени. А в зале горели лампы, со стен приветливо улыбались знакомые портреты благодетелей.

Стрижки носились по залу, догоняя друг друга с веселым смехом и взвизгиванием.

Старшие и средние танцевали под звуки пианино, за которым сидела Елена Дмитриевна. Худенькие руки горбуны искусно и быстро бегали по клавишам, и, глядя на эти искусно бегающие пальцы, с разинутым ртом и выпученными глазами жалась Дуня к стоявшей тут же подле нее Дорушке.

Ни такого «играющего» инструмента, ни такой музыкантши не встречала еще за всю свою коротенькую жизнь Дуня Ежедневно с половины восьмого до девяти часов вечера, время между ужином и вечерней молитвой, когда воспитанницам приюта разрешалось

играть, плясать и резвиться в зале, и единственная музыкантша приюта, «тетя Леля», садилась за рояль, с той самой минуты действительность переставала существовать для маленькой деревенской девочки. В немудреных, несложных мотивах польки, вальса, венгерки и кадрили (тетя Леля никогда не училась музыке и наигрывала танцы по слуху) Дуне чудилось что-то захватывающе прекрасное, что-то неземное. И, часто поднимая глаза на Дуню, горбатенькая надзирательница ловила ее взор, мечтательный и недетский, полный грусти и безотчетной, печальной радости, тонувший в пространстве.

В такие минуты обрывала игру Елена Дмитриевна и, лаская белобрысую головенку стрижки, старалась спугнуть это недетское, нездоровое, как ей казалось, настроение Дуни.

– А ну-ка, Дуняша, сколько у тебя всего пальцев на руках и на ногах? – шутливо говорила она Дуне.

– Двадцать! – слышался робкий ответ.

– А ежели я четыре зажму, сколько останется на свободе?

– Шестнадцать! – подумав с минуту, решила Дуня.

– Ну, а ежели пять своих ко всем твоим прибавлю, сколько всего?

– Двадцать пять!

– Молодец, Дуня! – радостно восклицала тетя Леля

и целовала свою ученицу.

От двух до четырех с десятиминутным перерывом она ежедневно поучала своих стрижек и несказанно радовалась успехам малюток. И Дуня, деревенская девочка Дуня, ничуть не отставала от своих сверстниц. Она за короткое время успела выучиться складам и делать простенькие устные задачи по арифметике, несказанно радуя этим горбатенькую тетю Лелю. Последняя с первого же дня поступления в приют Дуни особенно нежно полюбила девочку. Нравилась горбунье непосредственная, здоровая душа девочки, тихая мечтательность и безответная кротость малютки. Часто ласкала тетя Леля новенькую и разговаривала подолгу с Дуней, расспрашивая ее о деревне, о былом житье дома, о покойном отце и бабушке Маремьяне. И когда прочие стрижки с шумом и визгом гонялись по зале или водили бесконечные хороводы, с пением «хороня золото», или бегая в «кошки-мышки» и «гуси-лебеди», Дуня с неизменной Дорушкой присосеживались к сидевшей за пианино Елене Дмитриевне и с мечтательно устремленными вдаль глазами слушали ее игру.

* * *

– Дунятка... Дорушка... К нам подите! – слышал-

ся по другую сторону пианино прерывистый шепот Они Лихаревой, и толстененькая, румяная мордочка шалуньи выглянула из-за спинки инструмента.

– Ступайте к нам, игратья будем! – шептала Оня, и ее живые бойкие глазки поблескивали лукавыми огоньками над тонкими дугами бровей.

– А вы во что? В «кошки-мышки» или в «золотые ворота»? – осведомилась Дорушка деловым тоном.

– Там поглядим, к окну ступайте, Васса Сидорова зовет. Считаться будем.

Васса Сидорова действительно звала, делая им какие-то знаки.

– Идем! – решительно сказала Дорушка и, взяв за руку Дуню, зашагала с нею к окну, около которого собралась небольшая кучка стрижек, в центре которой стояла высоконькая костлявая Васса с темной головенкой-шаром, сидевшей на необычайно тонкой шее.

С обычным сосредоточенным своим видом и внимательным зорким взглядом карих глазенок Дорушка первая подошла к группе.

– Наконец-то! А мы звали вас, манили по-всячески, – затараторила шепотом Васса, – ты, Дорушка, и ты, Дуня, пойдём нынче к среднеотделенкам в спальню. Гадалку посмотрим, а? – лукаво сощурясь, предложила она.

– Не для чего! – отрезала Дорушка. – Маленькие

мы еще, на что нам гадать-то!

– Вот дуручка, – засмеялась Васса, – чего там маленькая! Слыхала, что Липа нынче говорила, утресь? Гадалка у них заправская, все может рассказать, что с нами будет через день, через два... занятно... Я бы про Мурку знать хотела.

– Я бы про Хвостика!

– И я про Хвостика! – заволновались девочки.

Мурка и Хвостик были двое оставшихся в живых котят, живших в уголку сада в опрокинутом большом ящике. Стрижкам удалось-таки скрыть присутствие их и от сторожа Михайлы и от администрации приюта. Неизвестно, что случилось с двумя другими котятками, но серый Мурка и черненький с белыми пятнами Хвостик жили и благоденствовали вот уже второй месяц на иждивении малюток стрижек.

Девочки, храня абсолютную тайну, ежедневно, во время прогулок бегали навещать своих любимцев. Они кормили котят, вынося из столовой кусочки вареного мяса, предназначенную им обычную порцию в супе. Недоедая сами, маленькие приютки старались накормить досыта своих четвероногих друзей.

И мясо, и хлеб, и жирная каша – все это незаметно укладывалось в крошечные фунтики и столь же незаметно для начальнического ока распределялось по карманам воспитанниц.

С нетерпением ожидали девочки часов прогулки. Их любимцы, еще издали заслыша приближение своих маленьких благодетельниц, принимались тихо и радостно мяукать, а завидя девочек, наклонившихся над их «домиком», опрокинутым огромным ящиком с сеном, махали хвостами и забавно облизывались, чуя вкусный запах съестного.

Сама судьба, казалось, оберегала котятшек. Их жилище находилось в самом отдаленном углу большого приютского сада, и никому в голову не приходило забираться туда сквозь густые колючие кусты шиповника. А сам ящик с необходимыми для воздуха отверстиями был плотно приставлен к забору, чтобы не было никакой возможности убежать из него котяткам.

Маленьких узников выпускали из ящика только в часы прогулок. За это время они могли бегать и резвиться вволю. Девочки караулили «своих «деток», как они называли котят, чтобы последние не попались на глаза надзирательницам или, еще того хуже, «самой» (начальнице приюта), так как присутствие домашних животных, как переносителей заразы, всевозможных болезней (так было написано в приютском уставе), строго воспрещалось здесь.

Исчезновение двух других котиков представляло из себя сплошную тайну, так как никто, кроме девочек-стрижек, не знал о присутствии в большом ящике

котят.

Эта тайна исчезновения и смущала, и глухо волновала стрижек. Ведь, чего доброго, таким же таинственным способом могли исчезнуть и серый Мурка, и черный Хвостик, последние любимцы детей. И от одной этой мысли не одно маленькое сердечко в детской груди било тревогу.

– Вот бы спросить гадалку, где Чернуша и Бурятка! – мечтательно предложила Васса.

– А она на картах гадать будет, что ли? – осведомилась Паша Канарейкина.

– Ну, там увидим... Пойдем и увидим, а занятно, девоньки! – хитро улыбнулась Оня.

– Нет, ничего занятного, – резко проговорила Дорушка, сердито взглянув на шалунью, – тетя Леля не велит ходить к старшим, не велит дружить с ними... И я не пойду и Дуне не велю ходить. Ей не о чем гадать, она маленькая!

– Хи-хи-хи! Эвона командирша-то! – засмеялась Васса. – Небось нос тебе не откусит тетя Леля. Ишь ты, сама не идет и Дуню не пускает! Куды, как ладно! Дунюшка, – смягчая до нежности свой резкий голос, обратилась к девочке Васса, – пойдешь с нами, я тебе сахарцу дам? – и она заискивающе глянула в глаза Дуне. Голубые глазки не то испуганно, не то недоверчиво поднялись на Вассу.

– Я с Дорушкой! – проговорила тихо девочка и, краснея, потупилась.

– Вот умница! – проговорила ее старшая подружка и, обняв за плечи Дуню, отвела ее от окна.

– Тихоня! Глупая! Примерница! Ну, ладно, погоди! – крикнула ей вслед рассерженная Васса, – ин будет по-моему, чего захочу, все будет, – торжественно заявила она подругам и стала быстро-быстро шептать окружавшим ее девочкам: – Беспременно Дуню взять надо... и Любоньку Орешкину... Одна тети Лелина любимица, другая баронессина. Ежели попадемся да поймают нас по дороге, не так строго взыщется, потому много «любимиц» ругать не будут... Беспременно Дуню прихвачу!

И решив это своим десятилетним умом, лукавая девчонка присоединилась к играющим, наскоро условившись со своим кружком собираться в умывальной, как только захрапит нянька Варвара.

В этот вечер особенно шумно и весело игралось в зале.

Старшие скоро побросали танцы и присоединились к стрижкам.

Приняли участие в играх и тетя Леля, и серьезная, всегда спокойная педагогичка Антонина Николаевна. Играли в «гуси-лебеди», в «золотые ворота» и в «краски»...

– Гуси-лебеди домой, серый волк под горой! – пронзительно, громким голосом выкрикивала Любочка Орешкина и бежала впереди толпы девочек с одного края залы на другой, изображая лебединую матку.

И из-за пианино выскакивала рыжая старшеотделенка Женя Памфилова и с криком: «Самого жирного, самого вкусного гусенка съем, съем!» – бросалась на Любочкино «стадо». Отчаянный визг, писк, шум, хохот, суета и снова визг стоном стояли в большой уютской зале.

Кричали и визжали стрижки, шумели, суетились средние, хохотали и не меньше детей забавлялись старшие. Все безнаказанно могли шуметь, кричать и возиться в указанное для игры время. Доктор Николай Николаевич отвоевал это право детям.

– Ничто так не развивает легкие, как смех, здоровый хохот и крики, – уверял он Екатерину Ивановну Наукову приходившую в ужас от всей этой кутерьмы.

И уюток оставляли в покое шуметь и веселиться после ужина, вплоть до вечерней молитвы.

В девять часов дрогнул первый звук колокольчика на пороге залы, и вмиг затихла веселая, нестройная толпа девушек и ребятишек.

– На молитву, дети, на молитву! – слышались громкие голоса надзирательниц.

И через пять минут длинные ряды уюток уже вы-

строились перед образом Спасителя. Дежурная выступила вперед и стала читать молитву.

Глава четырнадцатая

Вечер в приюте – лучшее время для больших и маленьких воспитанниц. Старшие и средние приютки, пользуясь свободным часом перед отходом ко сну, каждые в своем дортуаре, проводят время по своему усмотрению.

Но большей частью, собираясь у кого-нибудь на кровати, оживленно беседуют на тему о будущем... В это время зарождаются в юных головках самые светлые мечты, самые радужные надежды.

Строятся самые упоительные, но – увы! – мало осуществимые планы о том, что ожидает их «после приюта». По большей части все мечты сводятся к одному общему желанию: открыть собственную белошвейную мастерскую и стать «хозяйкой». Иные не прочь помечтать о месте экономки или «чистой горничной», без уборки комнат в богатом графском или княжеском доме. Иные робко мечтают о замужестве. Но «он», неясный еще образ будущего мужа, представляется совсем туманно... Обыкновенно на этой роли старшие определяют типы вычитанных в романах героев... Но романы, кроме классических произведений, читаемых самими надзирательницами, строго воспрещены в приютских стенах. Однако кое-кто из

страстных любительниц бульварной литературы, переводной дешевой стряпни или необычайных похождений Ната Пинкертон умудряется под величайшим секретом раздобыть ту или другую запретную книжку. В то время как старшие и среднеотделенки оживленно шепчутся, обмениваясь впечатлениями о прочитанном или строя планы один другого невероятнее на недалекое таинственно-заманчивое будущее, в дортуаре стрижек время проводится совсем иначе.

Нянька Варвара, огромная, плотная веснушчатая особа с огненно-рыжими волосами и вздернутым носом, с голыми до локтей (по форме) руками, тоже сплошь усеянными темным бисером веснушек, сидит в центре спальни, на одной из детских кроваток.

А вокруг нее, тут же на постели, по бокам и за спиной няньки, у ее ног, часто на ее коленях, на полу и табуретах ютятся малыши.

Няня Варварушка, как ее называют дети, рассказывает... Ее обычно грубоватый голос делается растянуто-певучим во время таких повествований. Оттягивая конец каждого слова на последнем слоге, она умышленно делает его таковым.

И мастерица же рассказывать Варварушка! Каких только сказок она не знает! И про Илью Муромца и Соловья Разбойника, и про Бову-Королевича, и про Принца, обороченного медведем; про красавицу Зо-

лушку, мачехину падчерицу, словом, про все то, что так жадно глотается разгоревшимися ушками малюток-стрижек.

И лишь только смолкает, желая передохнуть немного, Варварушка, четыре десятка пар сияющих любопытством и восторгом глазенок поднимаются на нее с плохо скрытым разочарованием и мольбою..

– Няня! Нянечка! Нянюша! А еще? А дальше? – несказанно волнуется заинтересованная детвора.

– Ну, будет с вас, спать пора, полунощницы, – грубоватым, сразу потерявшим все свои певучие модуляции голосом говорит Варвара и решительно встает.

– Ня-неч-ка! – лепечут чьи-нибудь плаксиво растянувшиеся губенки.

– Еще чего? Поревы у меня! Вот ужo придет тетя Леля, так я!..

Еще грубее звучит голос, а веснушчатая рука вольным или невольным движением грубовато-ласково гладит стриженую головенку. Варварушка, несмотря на свой мужиковатый тон и резкий голос, ангел во плоти по своей отзывчивости и доброте. Для каждой из стрижек у нее наготове приветливость и ласка. И заботится она о своих малютках, как не заботится, пожалуй, другая мать. На дне объемистого Варварушкиного кармана вместе с неизбежными наперстком, катушкой ниток и носовым платком имеется всегда за-

пас квадратиков сахара или горсточка подсолнухов, покупаемая ею из собственных скудных средств для ее «ребяток».

Зато все младшее отделение, начиная от большой десятилетней Вассы Сидоровой и кончая малютками Олей Чурковой и Дуней Прохоровой, все они обожают Варварушку. Каждая из девочек видит в ней что-то свое, родственное, простое, и, несмотря на то что нянька иногда и ругнет и даже пихнет под сердитую руку, она более близка их сердцу, более доступна их пониманию, нежели сама воплощенная кротость тетя Леля.

Тетя Леля все же «барышня», и между нею и ее девочками целая пропасть, несмотря на всю нежность, доброту и заботливость горбатенькой воспитательницы.

А Варварушка «своя». Такое же дитя подвалов, видевшее и пережившее в своем детстве все то же, что пережила большая часть воспитанниц.

* * *

– Спать, спать, ребятки!

Быстрыми, ловкими руками прикручен фитиль на лампе. Зеленый абажур затянул и без того маленький свет. Приятная полутьма наполнила комнату. Вар-

варушка, тяжело переступая огромными ногами, прошла в свой угол.

Вот она долго стоит на коленях и прилежно отбивает земные поклоны, прежде чем улечься в постель.

Вот заскрипела жалобно кровать под ее здоровым, грузным телом, вот она протяжно зевнула, вздохнула и затихла в своем углу.

Затих вместе с нею и весь длинный дортуар младшеотделенок. Ночная тишина воцарилась над сорока узенькими детскими кроватками. Кое-где уже слышалось мерное дыхание спящих. И легкое всхрапывание Варварушки очень скоро присоединилось к нему.

Дуня лежала с широко раскрытыми глазами на своей жесткой постельке.

Девочке не спалось. Это случалось каждый раз после Варварушкиных сказок.

Ничего подобного этим увлекательным, интересным сказкам она не слыхала у себя в деревне. Горячее воображение ребенка рисовало ей картины только что слышанного. Вот видится Дуне Иван-Царевич, скачущий на сером волке. Вот въезжают они на поляну, посередке которой высится замок Кощея Бессмертного. Страшное чудовище сторожит замок, за стеной которого томится в плену Краса Царевна. Нужно Ивану-Царевичу освободить из неволи красавицу...

Бросается он к воротам, вздымает кверху тяжелый, булатный меч и вдруг отступает невольно...

Худая костлявая фигура Кащея выходит из замка... Идет прямо на витязя-удальца. Но не струсил Иванушка. Гикнул, свистнул в ухо серому волку, обратился волк серым коршуном, Иванушку же пичужкой малой сделал... И исчез коршун с пичужкой, ровно братец старший с младшим, в поднебесье. А Кащей не исчез... Идет долго по поляне... Идет теперь прямо на Дуню, прямо на нее...

Сердце замерло в груди девочки... Похолодели конечности. Ужас сковал все существо.

Мечты перестали казаться мечтами и перешли в действительность... Кащей идет худой и белый в сорочке до пят с горящими взорами... Только по мере своего приближения он все меньше и меньше делается... Вот ростом немногим больше Дуни стался, а все же приближается, все надвигается прямо на нее.

– Господи! Господи! – едва шевелясь, шепчут побледневшие губенки Дуни. – Что ж это? Богородица Дева, радуйся... – смятенно лепечет она, скованная страхом.

– Ай!

Белый Кащей совсем придвинулся к узенькой, детской кроватке и наклонился над Дуней.

– Ну, что кричишь! Не признала? – говорит страш-

ный Кащей голосом Вассы Сидоровой. – Няньку разбудить, что ли, хочешь? А я за тобою! К гадалке, к среднеотделенкам пойдем! Страсть занятно. Оня, Паша, все идем, ты будешь четвертая! Ну!

Голос Вассы звучит обычно присущими ему властными нотками, и робкой, пугливой Дуне и в голову не приходит послушаться ее.

Она так рада к тому же своему исчезнувшему страху, так счастлива видеть девочку Вассу вместо страшного чудовища из Варварушкиной сказки, что и рассуждать больше незначем.

Мгновенно вихрем проносится в голове короткая мысль:

«А Дорушка-то! Ведь она ходить не велела».

– А Дорушка? – смущенно прорывается вслух у Дуни.

– Эвона! Кого хватилась! – бесшумно расхохоталась Васса. – Спит твоя Дорушка и, почитай, четвертый сон видит, да и что она тебе за указчица? Скажи на милость, няньку какую себе выискала! Дорушка сама по себе, ты сама по себе. И нечего много разговаривать, идем!

Васса вошла в свою роль как нельзя лучше и командовала теперь отрывистым, коротким шепотом.

– Сапоги не надо... В одних чулках пойдем, чтобы не услышали. Сама знаешь, по головке не больно по-

глядят, коли встретит кто. Нас и днем-то в чужие отделения не пускают, а сейчас поймают – беда! Юбку накинь... так... ну ладно. Ступай за мною.

И осторожно крадучись, на цыпочках Васса пошла вперед. За нею, затаив дыхание, проскользнула сквозь дверь умывальной Дуня...

За другой коридорной дверью, щелкая зубами от холода и перепрыгивая с ноги на ногу, их ждали Оня Лихарева и востроносенькая Паша Канарейкина, две величайшие в младшем отделении шалуни.

– Прежде чем идти, надо сговориться, девоньки, – шепотом оживленно затараторила Васса. – Пашки нет, она со двора ушедши, так это хорошо, а все же зевать не след... Надо тут же сейчас решить, о чем гадать будем.

– Я про Хвостика и Мурку спросить хочу, – решила Паша Канарейкина, – не найдут их у нас, не отнимут ли?!

– Ладно. А ты, Оня?

– Я-то? – Оня задумалась на минуту. Потом глаза ее лукаво блеснули.

– Попаду ли в это лето на дачу! Вот о чем хочу спросить!

– Ну, а я насчет Фенички... – смущенно призналась Васса.

Феничка Клементьева, знакомая уже читателям

увлекающаяся фантазерка – Феничка, в свою очередь, была предметом самого пылкого обожания со стороны Вассы.

Но Феничка пренебрежительно относилась к поклонению некрасивой, костлявой стрижки.

Феничка любила все красивое, изящное и, будучи избалована со стороны сверстниц и подруг, милостиво разрешала любить себя «малышам», очень мало заботясь о возбуждаемом ею восторженном чувстве последних.

Вассу она игнорировала вполне и не называла иначе как Костяшкой за чрезмерную худобу девочки.

Но Васса мечтала постоянно о дружбе с хорошенькой беленькой, «словно барышня», среднеотделенки...

Тяжелая, крикливая, властная и капризная Васса в кругу своих однокашниц-стрижек делалась совершенно неузнаваема в обществе Фенички. Тихая, робкая и застенчивая, она едва решалась отвечать односложными «да-с» и «нет-с» на вопросы своего кумира. Разумеется, и для «гаданья» Васса не могла найти более подходящего для нее вопроса: полюбит ли ее когда-нибудь Феничка и подарит ли своей дружбой или же этого не случится никогда?

И уже заранее волновалась услышать ответ на интересующую ей тему.

– А ты, Дуня, о чем гадать будешь? – неожиданно огорошила Оня Лихарева девочку.

– Ха-ха, гадать! Куда уж гадать такой малышке! – снова беззвучно рассмеялась Васса. – Пускай только идет с нами. Попадемся – она выручит. Тетя Леля и бранить не станет. Она Дунятку любит. А через нее, смотришь, спустит и нам вину... Ну, айда, девоньки, вперед! – И костлявая Васса засемила полуобутыми, в одних чулках, ногами по холодным доскам коридора, держа крепко за руку Дуню. Оня и Паша поспешили за ней.

Глава пятнадцатая

– Смотрите, девицы, стрижки пожаловали!

– Стрижки к нам пришли! Стрижки! – зазвенели по дортуару среднеотделенок веселые, возбужденно приподнятые голоса.

Четыре девочки робко и смущенно остановились у порога, боясь и не решаясь войти.

– Ну, что же вы, – послышался насмешливый и звонкий голосок Фенички, и вся она, тоненькая, стройная, вынырнула откуда-то из темноты.

– Что ж ты, Васса! Входи! Ведь ты не из робких! – взяв за руку смущенную и сиявшую от счастья девочку, говорила она не то радушным, не то насмешливым тоном.

– Оня тоже явилась. Девицы, «сорвиголова – Оня Лихарева» тоже пришла! – смеясь, кричала Шура Огурцова и легонько подтолкнула вперед нимало не робевшую среди «чужих» Оню.

Высокая полная девочка лет четырнадцати подошла к Дуне.

– А ты зачем пожаловала, малышка? – наклонясь к самому лицу маленькой стрижки, спросила она.

Дуня увидела перед собою приятное, свежее личико и серьезные темные глаза.

– Это Гутя Рамкина! «Примерница», – наскоро шепнула ей Паша Канарейкина, зная все тайное и явное, происходившее в стенах приюта.

Гутя Рамкина сразу понравилась Дуне, и она доверчиво протянула ей ручонку.

– Ну, к кому же вы пришли, малыши?

Хорошенькое личико Фенички складывалось каждый раз, как она обращалась к стрижкам, в чуть презрительную усмешечку.

Задыхаясь от счастья находиться так близко к своему кумиру, Васса, багровая и сияющая, заявила:

– Нас Липочка Сальникова погадать пригласила...
Говорит, гадалка объявилась у вас.

Веселый взрыв смеха вспыхнул и тотчас же погас в дортуаре...

– Шшш! – усиленно зашикали на хохочущих «примерницы», то есть лучшие по успехам и поведению воспитанницы. – Огалтели вы, что ли? Тес, непутевые! Нашли время смеяться тоже! Как раз Пашка придет! – слышались несмелые голоса в разных концах спальни.

– Пашки нет! Пашка со двора ушла! – давясь от приступов смеха, возражали шалуны.

– А Антонина Николаевна? Небось забыли? Она вместо Пашки оставлена. Как раз нагрянет!

– Придет лампу тушить в половине одиннадцатого,

а к тому времени тихо будет небось.

Средние и старшие ложились спать на час позднее стрижек, и этим объяснялось то обстоятельство, что во время абсолютного покоя в спальне малышей в двух «старших» дортуарах еще и не думали укладываться в постели.

– Так это они к гадалке притащились! Ну, ладно, будет вам и гадалка! – вытирая выступившие от смеха в ее крошечных свиных глазах слезы, говорила Липа Сальникова, задорно улыбаясь детям.

– Паланя, – обратилась она затем к высокой, вертлявой, похожей на цыганку девочке с бойко поглядывающими на всех цыганскими же глазами. – Паланя! Ты им погадаешь? А?

– Понятно, погадаю! – лукаво усмехнувшись, симпатичным звонким голосом отозвалась «цыганка», как прозвали подруги Паланю Заведееву, первую шалунью и заправилу всех проказ в среднем отделении приюта.

– Гадать, так гадать! – рассмеялась Феничка, и черные глазки ее шаловливо блеснули.

– А хныкать не будете? – сурово обратилась к стрижкам рябая Липа.

– Не будем, – робко за всех отвечала Васса.

– Подумаешь – хныкать, как страшно тоже! – расхрабрившись, крикнула Оня, упирая руки в боки и за-

дирая кверху свою и без того задорную рожицу.

– Ну, смотри! Кто заревет если, того вовеки вечные в наш дортуар не пустим, – пригрозила цыганка.

– А теперь глаза закрыть! Все четверо закройте сразу и носом в стену!.. Раз! Два! Три!

Едва успела произнести последнее слово Паланя, как все три стрижки зажмурились крепко и одним поворотом обернулись спинами к теснившимся к ним среднеотделенкам.

– Когда велю смотреть, можете открыть глаза снова! – командовала «цыганка».

– Ну, а ты что же? – наклонилась к Дуне хорошенькая Феничка. – Делай же все то, что другие...

– Она еще мала! Я лучше ей у себя на постели книжку покажу с картинками, – заступилась за малютку серьезная Гутя.

– Какие нежности – при нашей бедности! – расхоталась Феничка. – Кто ее звал, а раз пришла с артелью, от артели ни на шаг! Так-то, милые вы мои!

И хорошенькая Клементьева бесцеремонно повернула Дуню лицом к стенке.

Тут между средними поднялось какое-то веселое, чуть внятное шушуканье, какая-то подозрительная беготня... Шорох... легкий звон... потом с шумом был придвинут табурет под лампу, и кто-то легко и ловко вспрыгнул на него... Минутная пауза, и та же быстрая

рука уменьшила свет в дортуаре.

Теперь в нем царила полутьма. С трудом можно было разглядеть лица.

– Готово! – громким голосом заявила Липа Сальникова. – Можете повернуться, малыши!

Четыре девочки не заставили повторять приглашения и любопытными глазенками окинули дортуар.

Четверо из средних, Липа, Феничка, Шура Огурцова и маленькая, худенькая Шнурова, держали за четыре конца большой теплый платок на полтора аршина от пола. Под платком на опрокинутом набок табурете сидела «гадалка» Паланя. В темноте под платком черные глаза «цыганки» горели яркими огоньками, а из-за малиновых губ сверкали две ослепительно белые полосы зубов.

«И впрямь цыганка-гадалка!» – мелькнуло в голове Дуни, и она пугливо шарахнулась в угол.

– Кто не боится, кто не страшится, – загудел умышленно грубый глухой голос из-под платка, – пусть войдет в мою палатку и узнает всю правду-матку и про то, что было, и что есть, и что будет, и гаданья моего вовек не забудет. Входи!

– Входи! – эхом откликнулись стоявшие по четырем углам платка девочки.

– Я не пойду. Хоть убейте, не пойду! – испуганно зашептала Паша Канарейкина. – Я с Дуняткой лучше

останусь.

– Трусихи! – презрительно фыркнула на них Васса. – А я не боюсь... Смотрите! Иду!

– И я тоже! – крикнула Оня.

– Я первая! – тоном, не допускающим возражений, проговорила Васса и шагнула вперед, бросив на Феничку взгляд, без слов выражавший: «Вот видишь, какая я храбрая! А ты и знать меня не хочешь».

Несколькими секундами позднее она уже стояла под платком перед тоненькой фигуркой Палани.

– Я хочу знать... – начала Васса и тотчас же смолкла.

Худенькая ручка Палани протягивала ей в полутьме какой-то холодный круглый предмет. Такой же точно предмет держала в руке и сама «гадалка».

– Молчи и делай все то, что я буду делать! – произнесла заглушенным до шепота голосом Заведеева и, подняв кверху указательный палец правой руки, опустила его под дно небольшого предмета, оказавшегося самым обыкновенным чайным блюдечком. Такое же точно блюдечко имелось и в руках Вассы.

– Повторяй всякое мое движенье! – еще раз приказала цыганка.

Тут Васса тоже опустила палец под свое блюдечко и долго водила им там, стараясь подражать Палане.

Последняя величавым торжественным жестом пе-

ренесла палец от дна блюда к своему лицу и стала производить движения у себя по лбу, по щекам, по носу, по обе стороны носа, вокруг глаз и подбородка. И в то же время не переставала ронять слова глухим, деланным голосом.

– Не спрашивай, ничего не спрашивай... Гадалка все видит, все знает и без вопросов... Насквозь тебя глядит. Все примечай за мною и делай то же, и все твои заветные желания исполнятся не позже конца недели...

И опять тоненький палец Палани заскользил сначала по дну блюда и затем, быстро перенесенный к лицу, с удивительной ловкостью забегал по носу, лбу, щекам и подбородку девочки.

Затаив дыхание, вся охваченная волнением, Васса проделывала со своим блюдом и лицом то же самое. То есть сначала водила своим детским пальчиком под дном блюда, затем поднимала костлявую ручонку и на своем собственном птичьем лице производила такие же движения, что и Паланя.

Так длилось минут пять, может быть, немного больше. Внезапно тот же глуховатый бас произнес из-под края палатки:

– Кончено. Можно припустить свету. Уберите платок. С тем же непонятным для малышей-стрижек хихиканьем среднеотделенки отбросили на чью-то по-

стель самодельную палатку. Затем Липа Сальникова вприпрыжку кинулась к лампе, вскочила на табурет и прибавила света.

– Ах!

Это «ах» вылетело из нескольких десятков грудей сразу. И в тот же миг гомерический хохот громкой, без удержу стремительной волной раскатился по дортуару...

И было чему смеяться...

Посреди спальни стояла костлявая фигурка Вассы с на диво размалеванным сажей лицом.

Индеец не мог бы придумать для себя лучшей тауировки. Глаза Вассы, замкнутые в черных кольцах, были точно в очках... На конце носа сидела комическая клякса из сажи... Над бровями были выведены другие брови... Вокруг рта, на лбу, на щеках целая географическая карта рек с притоками морей и озер... Сажа, образовавшаяся от копоти над дном блюдечка, сделала свое дело!

Не подозревавшая о проделке над нею Васса, смущенная общим смехом, поворачивалась с глупым, недоумевающим видом вправо и влево, и всюду, куда бы ни обращала это пестрое, как у зебры, черное с белым лицо, всюду вспыхивал с удвоенной силой тот же гомерический хохот.

Наконец, Оня Лихарева, хохотавшая вместе с Па-

шей Канарейкиной и робко хихикавшей Дуней, схватила с ближайшего ночного шкапика кем-то забытое здесь зеркало и поднесла его к лицу Вассы.

– Ай! – вырвалось с отчаянием и испугом из горла последней.

Мгновенно смущение захватило девочку... И тотчас же перешло в самое жгучее бешенство.

Она вся затряслась от злобы... Затопала ногами и внезапно, прежде, нежели кто мог остановить ее, залилась целым потоком слез, и закрыв лицо руками, кинулась вон из спальни среднеотделенок. За нею бросились бежать Оня, Паша и Дуня, все еще не перестававшие смеяться. А за ними летел тот же оглушительный смех и звучали насмешливые голоса:

– Что же вы? Куда же вы? Стрижки! Вернитесь! Не хочет ли кто-нибудь распознать судьбу?.. Не погадать ли кому еще? А? Да вернитесь же! Ха! Ха! Ха! Вот так погадали! Небось долго не забудете! Ха-ха-ха-ха!

Действительно, долго не могли забыть девочки своего «похода» к гадалке. Даже маленькая Дуня от души смеялась, вспоминая потешную птичью физиономию Вассы, мастерски размалеванную «гадалкой».

Одна только Васса не разделяла общего веселья. В оскорбленной, недоброй душе девочки глубоко-глубоко затаилась обида. Простая шутка получила в глазах Вассы какую-то неприятную окраску.

– Ужо отплачу, будете помнить, как надо мною издевки делать! – мысленно грозила она своим обидчицам. За этой обидой погасло и самое ее чувство у хорошенькой Феничке, и она возненавидела ее почти так же, как и смуглую цыганку-Паланю, один вид которой поднимал теперь в десятилетней Вассе далеко не детскую глухую злобу и гнев.

Глава шестнадцатая

Однажды, за две недели до Рождества, когда все три отделения приюта при свете висячих ламп (день выдался особенно тусклый, темный) и под неустанное покрякивание всем и всегда недовольной Павлы Артемьевны прилежно работали, заготавливая рождественские подарки для попечителей и начальства, широко распахнулась дверь рабочей комнаты, и приютский сторож торжественно возвестил во весь голос:

– Ее превосходительство баронесса Софья Петровна пожаловали!..

И все сразу засуетились и заволновались при этой вести... В рабочей поднялась неопишуемая суета. Девушки и девочки стремительно повскакали со своих мест и спешно стали приводить в порядок свои платья и волосы.

– Баронесса пожаловала! Баронесса! – перелетало с одного края комнаты на другой.

Наказанные – а таковых набиралось немало за время рукодельных часов Павлы Артемьевны, – не решаясь отойти от печки, где стояли «на часах», по выражению воспитанниц, робко напомнили о себе жалобными, полными мольбы голосами:

– Баронесса приехала! Простите, ради бога, Павла

Артемовна!

– Ради Софьи Петровны только! – буркнула им в ответ Пашка, и «часовые» получили желанное прощение.

Баронесса Софья Петровна Фукс, главная попечительница и благодетельница N-ского ремесленного приюта, была всегда Желанной гостьей в этих скучных казенных стенах. Желанной и редкой. Баронесса Фукс, богатая, независимая вдова генерала, большую часть своей жизни проводила за границей со своей единственной дочерью, маленькой Нан, переименованной так по желанию матери из более обыкновенного имени Анастасии.

И теперь баронесса Софья Петровна пожаловала сюда после пятимесячного отсутствия из Петербурга. Баронессу буквально боготворило все население N-ского приюта.

Ее приезды были чудесным праздником в уютских стенах. Не говоря уже о ласковом, нежном обращении с воспитанницами, не говоря о бесчисленных коробах с лакомствами, жертвуемых баронессой «своим девочкам», как она называла приюток, сама личность Софьи Петровны была окружена каким-то исключительным обаянием, так сильно действующим на впечатлительные натуры детей.

Веселая, жизнерадостная, моложавая, она обла-

дала драгоценной способностью, умением покорять людские сердца вообще, а детские в частности.

Баронесса вошла как раз в ту минуту, когда отрывистым, строгим шепотом Павла Артемьевна приказала лучшим рукодельницам разложить на видном месте их работы.

Эти лучшие рукодельницы были Васса и Дорушка, с редким для таких маленьких девочек искусством вышившие подушку для дивана; среднеотделенки Феничка Клементьева и Катя Шорникова сделали удивительные метки на батистовые платки, а старшие, заготавливавшие тончайшее белье на продажу, все вышитое гладью с удивительными строчками и швами, похожими легкостью и воздушностью своей на мечту.

Но лучшей рукодельницей во всем приюте считалась Паланя, «цыганка»... Перед нею в пальцах была растянута великолепно исполненная полоса английского шитья, наложенного на клеенку. Хитрый, замечательно искусно выполненный рисунок белым шелком по французскому батисту не мог не восхищать «понимающую» публику, знатоков дела. Паланя сама великолепно сознавала цену подобной работе и очень гордилась ею. Она с особенной тщательностью разгладила пальцами прошивку и загоревшимися глазами любовалась ею.

– Вот уж посмотрит Софья Петровна, похвалит

небось, – мелькало в черноволосой головке «цыганки».

Точно солнце бесчисленными своими лучами прорезало ненастье декабрьского утра и заиграло в большой рабочей комнате N-ского приюта... Чем-то свежим, радостным и счастливым пахнуло с порога.

В дверях залы подле близоруко щурившейся начальницы стояла стройная, тоненькая, изящная, как французская статуэтка, нарядно, почти роскошно одетая дама в синем шелковом платье и в огромной шляпе со страусовыми перьями на голове. Из-под широких полей шляпы весело улыбалось, сияя бесчисленными ямочками, красивое, совсем еще молодое лицо. Огромные бриллианты в ушах, золотые часы на массивной цепочке, масса драгоценных браслетов и колец – все это еще более подчеркивало изысканность и роскошь туалета вновь прибывшей. Подле нее находилась другая фигурка, гораздо менее изящная, некрасивая и неуклюжая в одно и то же время.

Дочь баронессы Нан являлась полной противоположностью ее матери. Худая, тонкая, высокая, почти одного роста с матерью, несмотря на свои одиннадцать лет, юная баронесса походила на покойного своего отца-барона. У нее были такие же белобрысые волосы, худое, тонкое, некрасивое лицо с длинным птичьим носом, тонкими губами и умным, черес-

чур пронизательным для ребенка взглядом маленьких с беловатыми ресницами глаз.

За Нан и ее мать, казавшуюся скорее сестрой своей дочери, теснились надзирательницы, нянька Варвара и неожиданно вызванный начальницей по случаю торжественного приезда попечительницы Онуфрий Ефимович Богоявленский.

– Здравствуйте, милушки, здравствуйте, крошки мои! Душечки! Клопики! Пичужечки! Рыбоньки! Здравствуйте, мои пыжички, канареички, пташечки мои холосые! – зазвучал, переливаясь на десяток нежнейших интонаций, и без того нежный и звонкий, как серебряный колокольчик, голос баронессы. И она протягивала вперед свои так и сверкающие драгоценными камнями руки.

– Здравствуйте, Софья Петровна! – хором радостных веселых голосов крикнули в ответ дети.

Баронесса раз и навсегда приказала называть себя по имени-отчеству, без всяких прибавлений титула и наименований «благодетельницы», так распространенных в приюте.

– Как поживаете, рыбки мои? Где моя Любаша? Феничка где? – быстро обегая ряды заалевшихся от радости воспитанниц глазами, спрашивала баронесса.

Ее «любимицы» выступили вперед. Хорошенькая Любочка Орешкина по-детски бросилась в раскрытые

объятия Софьи Петровны и, прижавшись к ней, стала ласкаться, как котенок, к нарядной красивой попечительнице.

Степенным шагом, как взрослая, улыбающаяся милостивая Феничка приблизилась к Софье Петровне и, быстро нагнувшись, прильнула к ее руке.

Это послужило как бы сигналом для других.

Вся толпа больших и маленьких девочек ринулась вперед и окружила баронессу. Та едва успела опуститься на первый попавшийся стул, как все вокруг нее уже запестрело серыми платьями и розовыми полосатыми передниками. Сидели на скамейках около, стояли сзади, спереди, на коленях, на корточках у ног всеобщей любимицы. Несколько бритых шариков-головенок прильнуло к коленям Софьи Петровны. Тонкие унизанные кольцами пальцы попечительницы, ее выхоленные, розовые ладони ласкали эти круглые головенки, а нежный, почти детский голосок звенел на всю рабочую комнату, не переставая:

– Ну, птички, ну, рыбки мои! Ну, пичужечки милые, что поделывали без меня? Феничка, плутишка моя! Сколько книжек проглотила, пока я пять месяцев за границей была? А ты, Любаша, как в рукоделиях преуспеваешь? Маруся Крымцева! Кра-са-ви-ца по-прежнему? Все цветешь, как роза, прелесть моя! А Паланя? Цыганочка черноокая! Все в рукоделии преуспе-

ваешь? Оня Лихарева, башибузук ты этакий! Толстееет все и свежееет, шалунишка этакая! А Дорушка, где наша умница-разумница? Не вижу Дорушки!

– Тут я, Софья Петровна! – И маленькая фигурка стрижки с трудом протискалась вперед.

– А у нас новенькая, Софья Петровна! «Деревенскую» привезли, Дуней Прохоровой звать! Ма-а-ленькая! С августа уж! – запищали со всех сторон младшеотделенки.

– Как же, как же, знаю! Мне Екатерина Ивановна, милая наша, писала о ней. А где она – новенькая эта? Дуняшей зовут, говорите? Где ты, Дуняша? – зазвучал еще нежнее, еще мелодичнее голосок попечительницы.

– Дуня! Дуняша! Дунятка! Прохорова! К Софье Петровне ступай! Софья Петровна Дуню Прохорову требует! – заливались кругом детские голоса.

Разделилась толпа воспитанниц, и голубоглазая, белокурая девочка, смущенная и испуганная, очутилась перед лицом нарядной барыни в огромной шляпе.

– Ах, душеноч какой! Ах, ты прелесть моя! Пташечка! Букашечка! Червячок ты мой тоненький! – восторгалась баронесса и душистой рукою потрепала по щечке взволнованную Дуню.

– Она уже привыкла немного, не такой дичок, как

раньше! А вначале беда с ней была, – докладывала начальница попечительнице. – Теперь и басни знает! Елена Дмитриевна, заставьте их прочесть басни в лицах!

Красная и не менее детей взволнованная, горбатенькая надзирательница вынырнула из-за спин взрослых приюток.

– Сейчас! Сейчас! – засуетилась она и, пристально оглядев свое маленькое стадо, крикнула веселым, приподнятым голосом: – Дорушка Иванова, Соня Кузьменко и ты, Дуняша. Ну-ка, дети, басню «Ворона и Лисица». Ты, Дора, за лисицу, Дуняша за ворону, а Соня самую басню. Начинайте, ребятки, позабавьте Софью Петровну! Она вас любит и лелеет! Отплатите ей посильно, порадуйте ее!

Три маленькие стрижки выстроились чинно в ряд. И сложив ручонки «коробочками» поверх пестрых фартуков, впились глазенками в баронессу.

– Вороне где-то бог послал кусочек сыру, – начала, отчеканивая каждое слово. Соня Кузьменко. Плавно, без малейшей запинки потекло содержание басни... Заговорила с неподражаемым комизмом лисица-Дорушка, и это послужило сигналом к смеху. Что-то забавное было в манере передавать слова хитрой лисы у Дорушки, и нельзя было не хохотать, слушая девочку. Когда же молчавшая до сих пор Дуня не ожи-

данно взмахнула руками, как крыльями, и «каркнула во все воронье горло», баронесса, начальство и девочки громко расхохотались во весь голос. Крепко расцеловав исполнительниц, Софья Петровна пожелала послушать еще декламацию приюток.

Ее любимица Любочка с Вассой Сидоровой и с малюткой Чурковой прочли «Лесного царя», причем болезненная, слабенькая Оля Чуркова для своих восьми лет прекрасно изобразила волнение и страх большого мальчика, сына путника. Баронесса расцеловала, одоблив и это трио. Потом благодарила сияющую тетю Лелю за ее плодотворные занятия с малютками.

На смену явилось пение. Фимочка протискался вперед, поднял неразлучный с ним камертон и дал ноту.

– Был у Христа-Младенца сад... – запели соединенным хором старшие, средние и маленькие прелестную наивно-трогательную легенду Чайковского.

И много роз взрастил Он в нем...

Он трижды в день их поливал,

Чтоб сплесть венки себе потом.

Когда же розы расцвели,

Детей еврейских созвал Он.

Они сорвали по цветку,

И сад был весь опустошен.

Красиво, звучно и мелодично звучали низкие грудные голоса старших, высоко звенели еще не установившиеся средних, и колокольчиками заливались малыши. Если кому-нибудь приходилось сфальшивить, Фимочка бросал искрометный взор на преступницу и шипел как змей, дирижируя камертоном. Кончили тихим, обворожительным пиано, исполненным благоговения.

– Как ты сплетишь себе венок?
В твоём саду нет больше роз!
– Вы позабыли, что шипы
Остались мне, – сказал Христос.
И из шипов они сплели
Венок колючий для Него,
И капли крови вместо роз
Чело украсили Его.

Совсем-совсем чуть слышно растаяла мелодия. И воцарилась минутная тишина.

– Но они поют, как ангелы! Маленькие волшебницы! Что они сделали со мной! Я плачу! плачу! – восторженным замирающим голосом говорила баронесса и прикладывала батистовый платок к своим влажным глазам.

На некрасивом умном личике Нан тоже примечалось волнение... Белые брови сдвинулись, длинные

большие зубы прикусили нижнюю губу. Она смотрела в окно и, казалось, была Далека от окружающей ее обстановки.

– Ангелы! Ангелы! – шепнула Софья Петровна – И подумать только, что многие из них принуждены будут принять места домашней прислуги, жить в грязи, исполнять черную работу. О! – совсем тихо заключила она.

– Ваше превосходительство, – польщенный похвалю попечительницы, высунулся вперед Фимочка, – новую Херувимскую не желаете ли прослушать?

– О, пойте! Пойте! – восторженно произнесла баронесса. – Я как на небесах!

Фимочка задал тон, ударив камертоном о левую руку, и хор запел Херувимскую... За Херувимской проследовал еще целый ряд других песен, духовных и светских, и все закончилось «славой», посвященной желанной, дорогой гостье.

Баронесса улыбалась, счастливая, удовлетворенная... У Нан по-прежнему были сдвинуты брови. Начальница щурилась добрыми близорукими глазами и в такт пению все время отбивала ногой.

Пылающие румянцем волнения за своих питомниц воспитательницы сияли и улыбались, улыбались и сияли без конца.

После пения Павла Артемьевна выступила вперед:

– Софья Петровна, не откажите взглянуть на работы воспитанниц.

Розовые щеки удивительно моложавой попечительницы порозовели еще больше. Она до безумия любила всю эту смесь тончайшего батиста и прошивок, рисунки гладью, тонкие строчки на нежном, как паутинка, белье. Быстро приложив к глазам черепаховую лорнетку, она устремилась к рабочим столам, увлекая за собою Нан.

Вот перед нею работы малышей-стрижек. Косыночки, фартуки, юбочки, сшитые еще неискусными детскими ручонками, все это малозанятные для блестящей светской барыни вещицы... Дальше! Дальше...

Но что это? Глаза баронессы широко раскрылись от удовольствия... Пред нею чудесная атласная подушка с вышитой на ней по зеленому фону, изображающему воду, белой водяной лилией. Подбор красок и теней шелка изумителен. Лилия как живая.

– Какая прелесть! Неужели это сделали мои крошечки! – и Софья Петровна окинула недоверчивым взглядом теснившихся к ней стрижек.

– Но кто же? Кто же? – допытывалась она.

Пунцовая от счастья, выступила вперед костлявая Васса.

– Лилию я вышивала, Софья Петровна, а воду Дорушка.

– Рыбки мои! – Одним широким движением баронесса обвила головки Вассы и выглянувшей следом за ней Дорушки и обеих прижала к груди...

– Пташеньки! Пичуженьки! Рыбки мои золотые! – приговаривала она, лаская девочек. – Такие крошки и так могли, так сумели исполнить работу, дивно, бесподобно, прелестно!

И она гладила без конца две черненькие головки, прильнувшие к ее душистому платью, и целовала то один, то другой эти гладенькие живые шары.

Дорушка довольно спокойно принимала эти ласки, в то время как Васса вся таяла от чувства удовлетворенного тщеславия. «Моя работа лучше всех! Я моложе всех других хороших работниц!» – пело и ликовало в глубине души Вассы, и она готова была вместе с душистыми ручками баронессы расцеловать и свою прелестную лилию.

И вдруг...

Что это?

Перед баронессой стоит смуглая Паланя и двумя пальцами, как самую хрупкую вещь, держит свою драгоценную вышивку, вынутую из пялец.

Лорнет снова у глаз Софьи Петровны. Она с удвоенным вниманием впивается в работу. Как тонкий знаток, баронесса Может понять и оценить всю искусную сложность и умопомрачительную трудность такой ра-

боты.

– Паланя! Душка моя! Да неужели это ты сама? – допытывается у девочки Софья Петровна.

– Сама! – с тихой гордостью проронила цыганка.

– Но ведь этому цены нет! Ведь это такая роскошь! Ведь это лучшее, что я видела до сих пор в этой комнате. Паланя, птичка моя, ты волшебница! Ничего подобного не ожидала! – восторгалась Софья Петровна и, совершенно забыв про Дору и Вассу, обняла и расцеловала несколько раз подряд смуглую Паланю. Потом она вынула из кожаной изящной сумочки миниатюрное портмоне, достала из него новенький золотой пятирублевик и вложила его в смуглую ладонь Палани. – Вот тебе за твою работу, умница. В четырнадцать лет с небольшим быть такой мастерицей – да это чудо, настоящее чудо, милка моя! Господь с тобою, – совсем растроганным голосом проговорила она.

– Ну, а теперь дети мои, в столовую, ваша Софья Петровна хочет знать, чем вас кормят, – веселым тоном обращаясь уже ко всем приюткам, крикнула баронесса.

– Ну, детки, кто скорее добежит туда? А? – добавила она шаловливо и, подобрав юбки, шурша шелками и перебирая изящными ножками в лакированных туфлях и ажурных чулках, Софья Петровна с легко-

стью молоденькой девушки кинулась из рабочей.

Огромная толпа больших и маленьких девочек со смехом и взвизгиванием бросилась за нею. Начальство поспешило тоже в столовую. За ним надзирательницы, няньки. Комната опустела.

Одна только небольшая фигурка, незаметно шмыгнув за столы, осталась в рабочей.

Бледная, как смерть, Васса Сидорова смотрела вслед уходившим.

Крепко стиснув зубы, нахмутив брови и блестя загоревшимися глазами, девочка с ненавистью перевела глаза на небрежно брошенную вышивку Палани, и самый образ Палани, насмешливый и торжествующий, как живой встал в ее воображении. С того самого вечера, когда лукавая шалунья-«цыганка» так ловко провела Вассу и высмеяла ее перед всем отделением, уязвленная в своем самолюбии, Васса не имела покоя... Она возненавидела «цыганку» за проделанную с нею, Вассой, там в среднеотделенском дортуаре шутку. Но до сих пор эту ненависть десятилетняя девочка умела затаить в себе. Сегодня же новый прилив злобы против ненавистной Пашки сжег дотла завистливую и ожесточенную душу Вассы.

И золотой, подаренный баронессой ее счастливой сопернице, и ласки, щедро расточаемые мастерице Палане попечительницей, и всеобщий восторг,

вызванный действительно искусной работой «цыганки», – все это озлобляло Вассу, населяло ее сердце непримиримой завистью и враждой. А тут еще, как назло, белоснежная полоска, хитро вышитая гладью английского вышиванья, Паланина работа дразнила ее взор...

Какой-то глухой внутренний голос нашептывал в оба уха девочке:

– Если бы не она, не эта Паланька большеглазая, ты бы, несмотря на малые годы, стала бы первой в рукодельной!

И умолкая на мгновение, голос зашептал снова:

– Сейчас это еще можно исправить. Уничтожь, брось, спрячь куда-нибудь Паланину «полоску», и твоя подушка будет на первом месте.

Васса вздрогнула с головы до ног от одной этой мысли. Побледнела еще больше, потом снова вся залилась ярким, багровым румянцем. Сердце ее забило, как пойманная птичка в клетке... Глаза вспыхнули, ярче, острее...

Капельки пота выступили на лбу. Она колебалась минуту, другую... И вдруг, неожиданно для самой себя, схватила со стола вышивку Палани, вместе с нею метнулась к топившейся печи в дальний угол комнаты. Открыть дверцу и бросить в огонь ненавистную работу своего врага было для Вассы делом одной ми-

нуты.

Когда злополучная вышивка Палани вспыхнула и занялась с обоих концов, на худом птичьем личике Вассы мелькнуло злорадно-удовлетворенное выражение. Черные глаза девочки заискрились злым огоньком.

– Вот и ладно... Вот и у праздника! Ну-ка, гадалка Паланя! Небось не нагадала для своей работы судьбы! – и быстро захлопнув печную заслонку, Васса бесшумно на цыпочках выскочила в коридор.

Глава семнадцатая

В столовую Васса попала как раз вовремя, когда воспитанницы садились за стол. Тетя Леля встретила ее у двери.

– Где ты была, Васюта? – обратилась она к девочке, глядя на нее своими добрыми лучистыми глазами. На мгновенье дух захватило в груди Вассы.

– Под краном руки мыла, чернила с пальцев оттирала! – храбро солгала она и, не выдержав взгляда лучистых глаз горбуны, багрово покраснела. Горбатенькая надзирательница внимательно и зорко взглянула на воспитанницу, однако не сказала ни слова. Васса поспешила к своему месту. Она издали еще заметила, что попечительница сидит за одним из столов старшеотделенок, а худая белобрысая чопорная Нан у них – младших.

Васса подросла в то время, когда дежурная воспитанница разносила жидкий перловый суп с кусочками плавающего в нем мяса.

– Неужели вы будете есть эту бурду, мои пташечки? – прозвучал в эту минуту по всей столовой звонкий голосок баронессы.

– Что делать, Софья Петровна, на лучшую пищу нет средств у приюта! – отвечала спокойным и кротким го-

лосом Екатерина Ивановна, и ее близорукие глаза сощурились еще больше, а по лицу разлился чуть приметный румянец.

– Но это ужасно! – волнуясь, подхватила Софья Петровна.

– Ничего-с, помилуйте, ваше превосходительство, – произнес невесть откуда вынырнувший Павел Семенович Жилинский, и его шарообразная фигурка скорчилась в три погибели в самом подобострастном поклоне, – помилуйте, не барышень же мы растим здесь, а будущую прислугу и бедных ремесленниц... – продолжал он, нервно потирая руки.

– Но это ужас, то, что вы говорите, monsieur, monsieur... – волновалась баронесса.

– Жилинский! – предупредительно подхватил толстенный эконо́м.

– Monsieur Жилинский, это невозможно! Тем более невозможно, что этим бедным крошкам предстоит нелегкая будущность труда и, может быть, лишений... Надо, чтобы они были сыты хоть в детстве, чтобы в более зрелом возрасте...

– У нас нет средств! – послышался короткий ответ Науковой, и глубокий вздох, полный затаенной печали, всколыхнул грудь этой старой женщины.

– А на второе что дадут детям? – спросила баронесса, хмуря свои тонкие брови.

– Кашу с маслом.

– Но она по крайней мере питательна и здорова! – успокоившись немного, проронила Софья Петровна.

– Если не с прогорклым маслом, как давали осенью, – прозвучал резко чей-то молодой демонстративный голосок.

Мгновенная тишина воцарилась за столом попечительницы. Багрово покраснела начальница. Бледнее своей белой манишки стал эконом.

– Кто сказал это? – прозвучал затем спокойно и громко голос Екатерины Ивановны.

– Я! – И высокая фигура Тани Шингаревой поднялась со скамьи.

– Танечка Шингарева – известная бунтовщица! – промямлил Жилинский, нервно подергивая кончики усов.

Бледная не менее его самого старшеотделенка Таня взглянула пристально и серьезно в самые глаза баронессы.

– Это правда, – проговорила она, – все же помнят, что и осенью два раза, и зимою, еще недавно, в начале декабря, было худое масло в каше и мы жаловались Екатерине Ивановне... Она нам из своих денег колбасы покупала. А я не бунтовщица, а люблю правду... Софья Петровна, поверьте мне... Вон и Антонина Николаевна и тетя Леля не раз заступались... – и

взволнованная Таня махнула рукой и, опустившись на свое место, неожиданно громко заплакала.

– Нервы-с! Как у барышни, подумайте-с! – чуть слышно прошипел Жилинский.

– Павел Семенович, а ведь это правда... То есть правду Татьяна сказала, – вмешалась Екатерина Ивановна, и ее обычно прищуренные, плохо видящие глаза теперь раскрылись широко, как у ребенка, – масло было дурное... Ну, да дело прошлое, былого не исправишь никак! Вот мы с Софьей Петровной попросим вас поставщика сменить; может быть, другой молочный торговец будет лучше и станет поставлять продукты свежее, – и, кивнув головой растерявшемуся Жилинскому, начальница заговорила с попечительницей, присаживаясь тут же за стол рядом со старшими приютскими на их скамейке.

Получив должную мзду по заслугам, шарообразный эконоом куда-то исчез, словно сквозь землю провалился.

– Ужасно, ужасно все это! Бедные дети! Милые мои рыбки! Кто мог знать, что они голодали за время моего отсутствия. Ах, боже мой! Боже мой! – искренне сокрушалась Софья Петровна.

В то же самое время за столом младшеотделенок шла непрерывная беседа другого характера.

Белобрысая Нан, восседая на почетном месте,

уступленным ей тетей Лелей, говорила:

– Мы давно не виделись. Ты, Дорушка, подросла, Соня Кузьменко тоже... И Васса... А вот новенькая у вас – крошка! Новенькая, тебе не скучно больше в приюте? Домой не хочешь?

Маленькие серые глаза Нан обратились к Дуне. Та как раз в эту минуту вылавливала кусочки мяса из супа и укладывала их в бумажку.

Зорким взглядом Нан заметила, чем занималась новенькая, и глазки ее зажглись любопытством.

– Что это? Для кого это? Зачем ты прячешь мясо в карман?

Ах, как растерялась Дуня! Она стала вся красная, как кумач, и голубые глазенки ее испуганно замигали.

Растерянно, молча смотрела она на белобрысую «барышню», не смея произнести ни слова.

– Что же ты молчишь? Ты – немая? Дорушка, скажи мне, она не немая, нет?

Дорушка тихо подтолкнула под локоть свою подружку.

– Что ж ты, Дунюшка, отвечай. Нан – добрая барышня, она не обидит.

Но Дуня не знала, что ответить. Сказать, что мясо пряталось для Хвостика и Мурки, было нельзя. Разве можно выдать «секрет» отделения? Разве эта белобрысенькая Нан не скажет о нем баронессе-матери,

а та в свою очередь Екатерине Ивановне, и Хвостик с Муркой будут изгнаны из приютского сада...

Но тут Дорушка снова подтолкнула Дуню.

– Ничего, Дуняша, я скажу сама. Нан можно сказать, она не выдаст. Нан, ты никому не скажешь? Перекрестись! – живо обернулась она к маленькой аристократке.

Белобрысая Нан с самым серьезным видом перекрестилась, глядя на образ.

– Ну, вот. Страшно, что вы мне не верите. Разве я когда-нибудь выдавала вас?

Действительно, белобрысая Нан не выдавала сверстниц своих – приюток.

Она часто во время прошлой зимы навещала воспитанниц и, привезенная сюда с утра в эти коричневые стены, оставалась здесь до самого вечера, присутствуя на уроках приюток, играя с ними до ужина в большой зале. Перед ужином за ней присылалась худая, прямая, как палка, англичанка мисс Топ, и Нан уезжала, обещая приехать через неделю.

Дорушку, Вассу, Любочку и прочих приюток она знала по прошлым двум годам, а с Дуней, поступившей за ее отсутствие, еще не успела познакомиться. Но Дуня сразу понравилась своей кротостью чопорной и холодной по внешности Нан. Дуня же со страхом и смущением поглядывала на «барышню», обладав-

шую такими сдержанными манерами, каждое движение у которой было рассчитано, точно у взрослой.

Тут Любочка Орешкина наклонилась к плечу Нан и стала ей оживленно шептать что-то. Любочка лучше других знала маленькую баронессу, так как ее, Феню Клементьеву и еще кой-кого из «любимиц» Софья Петровна часто брала на воскресенья и праздники к себе для развлечения Нан, казавшейся слишком старообразной и недетски серьезной без подходящего общества для своих лет. Эти побывки считались огромным праздником для детей приюта. Избранницам завидовали все, так как мечтою каждой девочки, не только стрижки, но и «старшей», было провести хоть часик в роскошной квартире баронессы, где было столько сказочно-прекрасных вещей, где целый день звучал рояль и подавались на обед такие царски-изысканные блюда!

Хорошенькое личико Любочки почти вплотную прикикло к некрасивому большому уху маленькой баронессы. Слышны были только изредка срывающиеся, слишком звонко сказанные ответные слова...

– Мурка... Хвостик... в саду... Носили кушать ежедневно... Живут в огромном ящике... Мы придвинули к забору, чтобы не ушли... В ящике отверстие есть, чтоб не задохлись... Огромный он, тот ящик... Им не скучно... Мы на два часа их выпускаем... гулять...

Хочешь, покажем? Оставайся до вечера!

Любочка хотела еще прибавить что-то, но тут приятский сторож внес огромную корзину с лакомствами, купленными баронессою для «ее рыбок и пташечек». И детские головки закружились от предстоящей радости «пиршества».

После обеда надзирательницы разобрали гостинцы и по очереди вызывали приюток к столу с разложенными на нем ровными горками леденцов, пряников и мармеладок и оделяли ими всех поровну.

Нан в это время, стоя подле стула Софьи Петровны, просила мать:

– Маман, будьте так добры, оставьте меня здесь до вечера. Мисс Топ приедет за мною... Можно, да?

Софья Петровна мельком оглянула всю нескладную фигуру дочери... И опять, как и в миллионный раз со дня рождения дочери, подумала бегло:

«Бедная Нан! Как она некрасива! Немного радости даст жизнь этой девочке. И потом, этот характер! Ни приласкаться, ни поговорить не может! Холодная, черствая, замкнутая натура! Странно, что у меня, такой жизнерадостной и откровенно-ласковой со всеми, такая дочь?»

Но она принудила себя улыбнуться девочке и потрепала ее по бледной, анемичной щечке.

Та неловко чмокнула на лету душистую ручку мате-

ри и ровным, неторопливым шагом отошла к стрижкам, сиявшим от щедрых приношений попечительницы.

Софья Петровна уехала тотчас же после раздачи лакомств, наскоро перецеловав теснившихся к ней ближайших девочек, указав Екатерине Ивановне, кого к ней прислать в ближайшее воскресенье и пообещав начальнице изыскать новые средства для улучшения стола приюток.

Маленькая Нан осталась среди детей.

Глава восемнадцатая

– Скорее! Скорее в сад! На прогулку, девицы! – слышался послеобеденный призыв, и обычная сума-тоха поднялась снова в коричневых стенах приюта.

Вслед за тем девушки и дети высыпали шумной гурьбой в побелевший от инея красиво разубранный морозом обширный приютский сад. Среди безобразных бурых салопов и теплых приютских капоров выделялась резким пятном франтоватая котиковая шубка Нан, ее щегольской берет и огромная, чуть ли не с рост девочки, пушистая муфта.

– В задний угол, направо, Нан, знаешь, там, где кусты лиловой сирени цвели прошлой весной.

Дорушка шепчет эти слова чуть слышно, не разжимая губ и быстро-быстро впереди Любочки, Вассы, Они Лихаревой и Дуни спешит на заднюю дорожку. За нею сверкает своим шелковистым отливом щегольская шубка Нан.

Сегодня, как нарочно, дежурная по «саду», то есть по ежедневной прогулке приюток, Пашка... Тетя Леля сводит обычные в конце недели (нынче суббота) счета с начальницей, Антонина Николаевна помогает старшеотделенкам сдавать белье кастелянше. Пашка же своим ястребиным взглядом видит не только то,

что происходит в саду, но и «на том свете», по меткому выражению кого-то из старшеотделенок.

– Дети! На заднюю дорожку не смейте ходить. Там намело снегу, ноги промочите, – слышен далеко по всему саду знакомый резкий энергичный голос руководельной начальницы.

– Как бы не так! – замирая от предстоящей опасности и соединенного с ней понятного разве одним только детям восторга, смеется Оня Лихарева. – Как бы не так! Держи карман ширше! Так и послушались. По-твоему, Мурке с Хвостиком поститься из-за того, что снег велик на задней дорожке! Небось!

Оня Лихарева делает рукою довольно-таки недвусмысленный знак, что-то вроде длинного носа, по направлению исчезающей вдали фигуры Пашки, повернувшейся к ней спиной, и мчится в запрещенное место.

За нею мчится Васса... За ними остальные, увлекая за собою и Нан.

На душе Вассы камнем лежит мертвящая тяжесть... Происшествие в «рабочей» нет-нет да и дает себя знать. Не то толчком в сердце, не то палящей вереницей мыслей ежеминутно напоминает оно о себе. За обедом едва-едва принудила себя Васса проглотить несколько глотков супа...

Все ей мерещится, что все окружающие поняли, от-

куда она пришла и какой проступок совершила там, в пустой рабочей комнате у горячей печи.

Не раз встречая на себе за столом во время обеда большие, прекрасные, черные глаза тети Лели, Васса замирала от ужаса и холодела от мысли о том, что ее тайна может быть открыта.

Но сильнее всего допекало опасение, как бы, убирая после обеда работы, дежурная воспитанница не хватилась вышивки Палани и не донесла о ее пропаже!

Сердце Вассы то билось тяжелым молотом в груди, то трепетало, как крылья раненой птички... О, эти ужасные минуты!

Чтобы заглушить как-нибудь все громче и громче поднимавшийся со дна души голос совести, Васса старалась быть как можно веселее и развязнее. Первая, ныряя зайцем в снег, она добежала до заветного уголка сада и кинулась к ящику.

– Васса, погоди! Погоди, Васса! Павла Артемьевна свернула на ближнюю дорожку, – шептали усиленным шепотом несколько заглушенных голосов ей в спину.

Но было уже поздно... Подбежавшая первой к ящику Васса живо отбросила тяжелую махину.

– Вот они, Нан, смотри! – крикнула она преувеличенно весело и задорно.

Фыркая и отряхиваясь, выскочили из их времен-

ной тюрмы Мурка и Хвостик, один черненький, точно вымазанный дегтем, с блестящей, гладкой шерстью, сверкающей своим глянцем. Другой – серый, пушистый, с прелестной розовой мордочкой; оба грациозные, как игрушки, прелестные существа. Травинки се-на, предохранявшего их от стужи, обильно снабжающего ящик, запутались кое-где в их нежной шерсти. Котята выросли за три месяца и стали почти взрослыми молоденькими котами.

– Какие души! – прошептала с благоговением Любочка, в то время как Дуня и Оня Лихарева, усевшись на корточки подле ящика, кормили жадно накинувшихся на еду затворников.

Нан сдержанно ласкала котиков своей тонкой детской рукой.

– Какие они холодные! Бедные котятки! Как они должны зябнуть здесь! Ведь осень пришла! Почти зима. Сегодня так холодно на дворе! – говорила она своим обычно спокойным, без тени волнения или чувства голосом, в то время как в маленьких глазках под всем почти белыми ресницами зажигались и гасли какие-то теплые огоньки.

– Пашка! – вдруг неожиданно пронесся по задней дорожке сада испуганный, полный ужаса шепот.

– Пашка идет! Сажайте котят! Задвигайте ящик!

Что-то неопишное произошло в ту же минуту...

Оня и Васса, схватив за шиворот Мурку с Хвостиком, стали вталкивать их в отверстие ящика, огромного, как собачья будка. Но возмущенные таким неожиданным насилием котяшки, привыкшие пользоваться в эти короткие два часа полной свободой и прогулкой под наблюдением своих юных воспитательниц, всячески воспротивились подобному произволу. Они фыркали, выгибали спину и урчали самым энергичным образом.

Наконец черненький Хвостик изогнулся дугою, выпрыгнул из рук державшей его Они Лихаревой и метнулся в угол. Через минуту грациозное животное уже карабкалось по стволу большой сучковатой липы... Оттуда перепрыгнуло на запушенную снегом ветку и, обдав недоумевавших испуганных и смущенных девочек целой тучей снежной пудры, очутилось на заборе, отделяющем от улицы приютский сад.

– Ай! – вырвалось горестно из груди девочек. – Убежал! Хвостик убежал! Держите его, держите! – Маленькая Чуркова метнулась вперед, с мольбой простирая руки.

Хвостик был любимцем девочки. Оля считалась Хвостиковой мамой... Слезы градом посыпались из ее глаз... Простирая покрасневшие от холода пальчики по направлению к забору, Оля опустилась на колени прямо на низенький сугроб наметенного снега и за-

лепетала:

– Хвостинька, любименький... хорошенький, пригоженький, вернись! Вернись, Хвостинька, я тебе мясца дам и сахарцу! Душенька! Милушка! Послушай меня, вернись!

Оля стояла на коленях в молитвенной позе. Остальные шесть девочек с широко раскрытыми ртами следили за Хвостиком. А виновник переполоха как ни в чем не бывало преважно восседал на заборе, тщательно умываясь и охорашиваясь при помощи своего розового язычка, и сладко мурлыкал.

– Что это, дети? Кошка! Откуда взялась кошка, отвечайте, откуда она у вас?

Гром небесный не мог бы оглушить более, нежели эта произнесенная суровым голосом невесть откуда появившейся Павлы Артемьевны фраза, и сама надзирательница в своей суконной с меховой опушкой шубке и в круглой мужской шапочке, выросла перед девочками точно из-под земли.

Испуганные насмерть стрижки не знали, что отвечать.

– Оля Чуркова! – загремела Пашка, и глаза ее за сверкали, обдавая маленькую Олю целым фонтаном негодования и гнева, – что с тобою? Ты, кажется, молишься на кошку? Встать! Сейчас встать, скверная девчонка! Как ты смеешь сидеть на снегу? В лазарет

захотела, что ли?

Уничтоженная Оля сконфуженно поднялась с колен. Кстати сказать, оставаться в прежнем положении уже не являлось никакой необходимостью, так как коварный Хвостик как раз в эту минуту снова выгнул спину, махнул пушистым хвостом, приятно мяукнул и... скрылся за забором.

– А... Еще кошка! – внезапно приметив на руках Вассы Сидоровой черненького Мурку, вскричала уже вне себя от гнева надзирательница – И как вы смеее бегать сюда! Ведь я запретила. Все будут наказаны... Все... А кошку подай сейчас, Сидорова, я ее вышвырну за калитку! Сию же минуту! Ну?

Дрожащими руками Васса подняла Мурку, но вместо того чтобы вручить своего любимца Павле Артемьевне, слегка подбросила его и кинула на сугроб.

Получив свободу, котик, счастливый и резвый, бойко, как заяц, запрыгал по снегу, поминутно отряхиваясь и фыркая от удовольствия.

По сердитому лицу надзирательницы медленно пополз багровый румянец.

– Ага так-то не слушаться! Ну, хорошо же! Хорошо! Не помня себя, она ринулась за котенком...

– Я проучу вас... Я проучу... Будете знать, как не слушаться. А кошку вон, вон отсюда, чтобы духу ее здесь не было! – кричала, волнуясь и задыхаясь, Паш-

ка, прыгая не хуже самого Мурки по сугробам.

Ярко-красная, со сдвинутыми бровями и свирепым лицом, она носилась, размахивая муфтой, по снежной поляне.

Стрижки с испуганными взволнованными личиками следили за «охотой»... Подоспевшие средние и старшие тихо между собой хихикали, переговариваясь шепотом.

– Поймает...

– Нет. Куда уж! У кошки четыре лапы.

– Что ж, и Пашка на четвереньки встанет.

– Куда ни шло, ведь она волчица!

– Змея она!

– Девоньки, кто побиться об заклад хочет, я за кошку. Кошка убежит от Пашки? Булку мою утреннюю ставлю! А?

– А я на четыре перышка пари держу, догонит Пашка!

– Смотрите! Смотрите, девицы!

Котик все дальше и дальше убежал по поляне... Теперь выбившаяся из сил надзирательница едва попевала за ним. Вот она повернула влево, гонясь за Муркой... Вот подняла огромный сук, лежавший на снегу, и замахнулась на кошку.

– Не смейте бить! Не смейте! – вдруг неожиданно раздался громкий голос, и черная щегольская шубка

Нан замелькала следом за Павлой Артемьевной.

Это было так неожиданно, что надзирательница остановилась как вкопанная по щиколотку в снегу.

– Кис! Кис! Кис! – тихо поманила Нан Мурку и протянула к котику руку, обтянутую щегольской перчаткой.

То, что случилось вслед за этим, произошло так быстро что никто не успел опомниться.

Нан быстро и легко настигла Мурку, доверчиво поджидавшего ее приближения, подняла его на руки и сунула в свою огромную муфту.

– Не беспокойтесь о нем. Я его беру себе... Буду холить и баловать его... Увезу к себе домой сейчас же... – говорила она приюткам. – А вы, m-lle, – обратилась она к Павле Артемьевне, остолбеневшей от неожиданности, – распорядитесь отправить меня домой с кем-нибудь, я раздумала оставаться здесь до вечера, – и, кивнув головкой всем теснившимся в стороне и пораженным изумлением приюткам, удалилась своей спокойной походкой взрослой маленькой девушки, унося высовывающего из муфты мордочку Мурку с собой.

– Невоспитанная, взбалмошная девчонка! – зашипела ей вслед надзирательница. – Бедная баронесса-мать! Хорошенький характер у ее доченьки! А вы все будете строго наказаны, – внезапно разразилась она по адресу жавшихся друг к другу младшеотделе-

нок, – все за ужином стоять будете за непослушание и возню с кошками, а теперь марш домой!

И едва переводя дух от усталости, она зашагала по направлению крыльца. Смущенные девочки поплелись за нею.

Глава девятнадцатая

Это случилось на другой же день, в воскресенье...

С утра не было заметно никаких особенных признаков предстоящей катастрофы в обычно мирном гнездышке посреди коричневых стен.

Утром воспитанницы по раз установленному обычаю праздничных дней поднялись в семь с половиной часов и вместо будничной уборки после чая с воскресными калачами отправились на спевку.

В десять они были уже в церкви. Богаделенская церковь находилась в десяти минутах ходьбы от здания приюта. Певчие под предводительством Фимочки и второго регента красавицы старшеотделенки Маруси Крымцевой прошли на клиросы... Непевчих, преимущественно стрижек, тетя Леля провела на хоры, где вдали от приходящей публики уже стояли старушки богаделенки... Под непрерывный шепот молитв, оханья и кряхтенья этих старушек Дуня Прохорова, стоя подле Дорушки, истово крестилась и клала земные поклоны по-крестьянски, как ее учила с детства бабушка Маремьяна.

Рядом молилась Дорушка... Без размашистых жестов и глубоких поклонов, девочка была вся – олицетворенная молитва. Она, казалось, не следила за

ходом службы. И когда отец Модест, настоятель богаделенской церкви, он же законоучитель и духовник приюта, удивительно красивый в своей блестящей ризе, выходил на амвон с обращением к молящимся, Дорушка, казалось, ничего не видела и не слыхала, погруженная в свой молитвенный экстаз. Она молилась сама по себе, без молитв и вздохов, истово и горячо, по-детски, с какой-то отчаянной силой.

И зараженная ее примером Дуня тоже стала молиться «по-своему»... Прочтя «Отче наш» и «Богородицу», прочтя «Верую» и сказав про себя несколько раз недавно выученный тропарь Благовещения, девочка тихонько подтолкнула локтем соседку.

– Дорушка, о чем еще молиться?

Та точно проснулась. Перевела на нее невидящие глаза и зашептала:

– Молись, молись, Дунюшка! За всех молись, за начальницу-благодетельницу, за тетю Лелю – ангельчика нашего, за Павлу Артемьевну.

– За Пашку не надо, она злая, – шепнула Дуня.

– Надо! Надо! Что ты? Очнись! – зашептала с каким-то мистическим ужасом Дорушка. – За злых молиться еще больше надо. Помнишь боженьку-Христа? Он за врагов молился на кресте... Батюшка в проповеди сказывал.

И опять отвернувшись от Дуни, поднимала влаж-

ные глаза к иконостасу и шептала что-то детскими губками.

После службы батюшка отец Модест говорил проповедь.

«Все тайное да будет явно» – вот что легло основной мыслью в эту проповедь.

– Все, что ни делается тайного, злого, нечистого в мире, – говорил между прочим батюшка, – все будет явно, все узнается, выплывет рано или поздно наружу. Остерегайтесь же зла, сторонитесь дурных поступков, знайте, что все дурное идет от дьявола, этого прелестника рода человеческого... Он злой гений всего живущего, он сеет разруху, ненависть, гнев, зависть, преступление. Берегитесь этого врага. Велика сила его...

На правом клиросе в «дискантах» стоит Васса и глаз не сводит со священника... А сердечко девочки стучит да стучит... Перед мысленным взором Вассы всплывает снова вчерашняя картина... Горящая печь и в пламени ее извивающаяся змеею Паланина вышивка.

«Все тайное да будет явно! Неужто так! Неужто не страшает батюшка?»

Глаза девочки растерянно скользят по иконостасу... Сурово глядят с него изможденные лики святых. При трепетном мигании лампад в их неверном свете

кажется Вассе, что сдвигаются, хмурятся брови угодников.

– Все тайное да будет явно! – выстукивает взволнованное сердце. – Все злое от дьявола! – И снова замирает от боли испуганная детская душа.

Из церкви усталые воспитанницы ходко спешат домой.

Сегодня обед в три блюда с праздничной кулебякой с рисом.

А после обеда кое-кого из счастливиц, у кого есть родные и родственники, придут навестить давножданные, дорогие посетители. Этот час в неделе приютские девочки любят больше всего.

В коридоре по стенам расставлены деревянные скамейки. На них с узелками и коробочками в руках сидят отцы, матери, тетки, старшие сестры приюток; дряхлые бабушки и дедушки подчас; подчас младшие братишки и сестренки, такие же, по всей вероятности, будущие питомицы приюта в самом недалеком будущем.

В тюричках и в платочках у посетителей припрятаны дешевые лакомства вроде рожков, маковников, медовых пряников, паточных карамелек, орехов, подсолнышков. Еще чаще приносятся булки и сладкие сухарики, иной раз кусочки колбасы на хлебе, иногда остатки кушаний от барского стола. Последнее в том

случае, если мать, тетка или старшая сестра либо бабушка служат у господ в доме.

Мать Дорушки Ивановой, рыхлая добродушная толстушка лет сорока, принесла несколько сладких пирожков, спеченных ею на барской кухне.

Пирожки вместе с леденцами и пряниками тотчас же исчезли в глубоком кармане Дорушки.

– Что ж ты, ягодка, кушай со Христом... Чего прячешь! – певучим голосом уговаривала Аксинья дочку.

– Маменька, голубушка, погожу я... Одной-то скушать не больно сладко. С Дунюшкой, с подружками поделюсь... – зазвучал ей в ответ милый голосок девочки.

– Ну, господь с тобою, как знаешь, как знаешь! – любовно глядя на свою любимицу и лаская прильнувшую к ней стриженую головку, роняла Аксинья. Знала она привычку дочурки делиться каждым кусочком с подругами, и сжимается сердце Аксиньи за ее милую Дорушку.

– Трудно будет ей прожить свой век такой добренькой да хорошей! – раздумывает кухарка. – Не дай господь, помру я рано; что будет с Дорушкой? Спасибо еще в приют определили господу, все лучше. Мастерству выучится, не помрет без куска хлеба! – И пуще ласкает Аксинья любовно прильнувшую к ее полной груди милую Дорушку.

А на соседней скамейке бойкая Оня Лихарева рассказывает что-то, размахивая руками, своему отцу, сторожу при казенных дровяных складах Илье Лихареву.

– Вот уморушка-то, тятя, кабы ты видел только! Он от нее – она за ним... Он ровно заяц, она-то волчицей... Гоп-ля, гоп-ля – чуть не по колено-то снегу! Знатно выкупалась! Что и говорить! – И Оня сдержанно смеется, прикрывая рот одной рукой и запихивая в него в то же время другой кусок медового пряника.

– Ах, баловные! Ах, баловные! Вот бы, кажись, срезал я хорошую прутину, да прutiной-то вас, баловные! Узнали бы, как над благодетельницами смеяться! – шевеля сивыми усами и улыбаясь помимо воли, шепчет Илья Ильич, смягчая свой грубый голос.

– Да какая же она благодетельница, тятя, что ты! Она – Пашка! – громче смеется Оня.

– Тес! Что ты! Молчи, непутевая! Еще услышит кто! – испуганно машет рукой на свою любимицу отец.

– Это они про котят давешних! – соображает Дуня, подхватив чутким детским слухом Онин рассказ.

Дуня принадлежит к числу тех приюток, которых никто не навещает.

С непонятной ей самой завистью смотрит девочка на тех счастливиц, которые хотя бы однажды в неделю могут видеть своих близких и кровных, поверять

им свои маленькие приютские радости, горести и дела. Вот скромно в уголку у печки сидит более чем бедно одетая бабушка Оли Чурковой. Про нее говорят, что она нищая, побирается Христовым именем, а все же видно сразу, что дорога она своей внучке Оле. Малютка Оля прильнула к иссохшей груди бабушки, не замечает ее ветхих лохмотьев, ее убогого вида и ласкает и милует ее.

Дуня так задумалась, глядя на чужую радость, что не расслышала, как Дорушка, сидевшая совсем близко от ее уголка, оживленно заговорила, прижимаясь к матери.

– Вот она, мамочка... Видишь? Дунятка моя! Тихонькая она! Грустненькая! Скучает по деревне... Позови ее, мамочка! Приласкай. У нее ни тяти, ни мамы... Тятю под машиной смололо. Бабушка померла. Можно ее к нам подозвать, мамочка?

– Зови, Дорушка, зови! Надоть пригреть сиротку! – очень охотно согласилась Аксинья.

И уже через минуту после этого Дуня совсем неожиданно для себя очутилась подле рыхлой, толстенькой женщины, между нею и Дорушкой.

Аксинья гладила Дунину головку, прижимала девочку к себе и говорила своим теплым певучим голосом:

– Сиротинушка ты моя болезная! Ишь ты злосчастненькая! Ну, господь с тобой. С Дорушкой дружи – вот

тебе и сестричка... А я, так и быть, по праздникам и тебя в нашу компанию приглашать стану. Все ж не так горько-то будет, не одна, ладно ль так-то? Будешь приходить, Дунюшка?

– Буду! – робко и смущенно прозвучал в ответ тихий Дунин голосок. И как-то легче и радостнее становилось на сердце одинокой девочки.

После свиданья с родными и дневного чая приютки шли в залу, бегать и резвиться вплоть до самого ужина, по обыкновению праздничных дней.

Тетя Леля устраивала для них бесконечные игры с пением, хороводами, привлекая к участию старших и средних воспитанниц.

Особенно любили девочки веселые, шумные игры вроде «гусей-лебедей», «коршуна», «кошки и мышки» и «золотых воротец».

– В коршуна! Тетя Леля! В коршуна! – кричали малыши на разные голоса.

– Васса Сидорова! Коршуном хочешь быть? – предложила надзирательница.

– Хочу! Хочу! – с готовностью отзывалась Васса.

– А я наседкой! – заявляла толстененькая и подвижная, как ртуть, Лихарева.

– Будь по-твоему! Ну-с, детки-цыплятки, живо становитесь за наседкой-маменькой! – командовала тетя Леля.

А у самой, как у ребенка, разгорались глаза и на худых желтых скулах проступал румянец удовольствия. Добрая горбунья заранее наслаждалась мыслью потешить своих ребяток.

– Ну же, скорее, дети!

Васса со всего размаху «плюхнулась» на паркет среди залы и, взяв карандаш, имевшийся всегда у тети Лели, стала делать вид, что копает в полу ямку.

Оня Лихарева, растопырив руки наподобие крыльев наседки, встала во главе целого отделения малышей, державшихся за концы передников одна за другою, длинной узкой шеренгой.

– Коршун, коршун, что ты делаешь? – звонким голосом вопрошала Вассу Оня.

– Ямочку копаю! – слышался ответ последней.

– На что тебе ямочка?

– Иголочку ищу!

– На что тебе иголочка?

– Мешочек сшить!

– На что тебе мешочек?

– Твоих деток сажать!

С этими словами Васса вскочила и метнулась на вереницу «цыплят»...

– Ай! – дружным визгом огласилась зала.

Оня ловко завернула в сторону и загородила путь Вассе к «ее детям», держа растопыренными руки.

– Ай! – снова завизжали «цыплята» неистовым визгом.

– Оня! Не зевай! – поощряла с пылающими щеками и счастливо возбужденным лицом девочку тетя Леля.

Завязалась веселая возня... Васса металась по зале, кидалась то в одну, то в другую сторону и старалась во что бы то ни стало выхватить из длинной вереницы «наседки» хотя бы одного «цыпленка». Но ловкая, быстрая, раздумяившаяся, как персик, Оня не зевала. Тщательно охраняя своих «деток», она тоже кидалась вправо и влево, предупреждая каждое движение «коршуна».

Визг, хохот и крики «цыплят» доходили до неистовства.

Вдруг неожиданно изловчилась Васса; «нырнув» под руку Оня, она рванулась с неопикуемой быстротой и схватила находившегося в самом конце вереницы самого маленького цыпленка – Олю Чуркову.

– А-а-а-а! – не своим голосом на высокой пронзительной ноте закричала Оля.

– А-а-а-а! – глухо вторил ей с порога чей-то отчаянный, полный трагизма крик.

Головы играющих детей и всех находившихся в зале повернулись в ту сторону, откуда несся этот вопль.

На пороге залы стояла с помертвевшим, белым, как снег, лицом и расширенными от ужаса глазами Пала-

ня Заведеева.

Глава двадцатая

– Паланя! Что ты?

Тетя Леля опомнилась первой и бросилась к девочке.

Паланя была вне себя. Ее худенькое стройное тельце пятнадцатилетнего подростка дрожало как в лихорадке. Как в ознобе колотились зубы между полосками посиневших, трясущихся губ.

С минуту «цыганка» не могла выговорить ни слова... Наконец подняла обе руки, схватилась ими за голову и с тем же глухим отчаянным стоном повалилась на деревянную скамью, стоявшую у двери.

– Воды! Дети, принесите кто-нибудь воды Палане! – приказала взволнованным голосом горбатенькая надзирательница.

Несколько девочек бросились бегом за водою из залы. Тетя Леля опустилась на лавку подле дрожащей, как лист, трепещущей среднеотделенки.

– Паланя! Милая! О чем ты? Что случилось?

Ее нежный, ласковый голос проник, ей казалось, в самую душу девочки. Паланя вскочила со скамейки... Обвела помутившимся взглядом залу и, снова закрыв лицо руками, громко, истерически закричала на весь приют, прерывая взрывом рыдания каждое слово:

– Моя... моя вышивка... моя работа... про... про... пала... а-а! Не знаю, где искать... Точно... сквозь зе... зем-лю... Пошла пора-бо-тать, пока другие здесь ве-се-лят-ся... Хва... хва... тилась... А... а... ее... нет! Нет... Пой... мите! Про... па... ла!

Тут Паланя не выдержала и, снова повалившись на лавку, зарыдала еще глуше, еще мучительнее.

Воспитанницы, большие и маленькие, с испуганными, взволнованными лицами теснились вокруг нее большой нестройной толпой.

Неожиданно сквозь толпу эту протискалась незаметно подоспевшая в залу Павла Артемьевна.

– Что случилось? Паланя, чего ты реवेशь? Заведеева? Слышишь? Тебе я говорю... Елена Дмитриевна, позвольте! Дайте мне сесть! – И, недружелюбно взглянув на уступившую ей место тетю Лелю, Павла Артемьевна с видом власть имущей опустила подле плачущей воспитанницы на лавку.

– Ну, пожалуйста, брось нюнить... Это еще что такое? Обрадовалась случаю. Слезы дешевы! Раскрыла шлюзы. Куда как хорошо! Пример бесподобный для младших. Паланя! Тебе говорят! Отвечай сейчас же, что случилось?

Словно загипнотизированная этим властным голосом, Паланя поднялась со скамейки и обратила залитое слезами лицо к Павле Артемьевне. Прерывистым

от слез голосом, плача и всхлипывая, девочка рассказала надзирательнице про свое несчастье.

– Пропала, говоришь ты? Пропасть не может... Не могла пропасть, я тебе повторяю. Кто-нибудь украл... Украл и спрятал. Из зависти к такой прекрасной вещице. А может быть, и просто оттого, что понравилась! – сердито бросала Павла Артемьевна, хмуря свои и без того суровые брови.

– Этого не может быть, – надорванным волнением вдруг зазвучал голос тети Лели, – среди наших детей не может и не должно быть воровок, – с ударением на каждом слове проговорила она.

– Рассказывайте, – досадливо отмахнулась надзирательница средних, – а кто же взял? Святой дух, что ли? Дежурная! Кто убирал вчера в рабочей? – неожиданно крикнула она на всю залу, окидывая толпившихся перед скамьею воспитанниц пристальным взглядом своих зорких ястребиных глаз.

– Я, Павла Артемьевна, я дежурила вчерась! – и бледная испуганная Феничка Клементьева высунула свое хорошенькое личико из-за спин подруг.

– Ты убирала Паланину работу? – сурово обратилась к ней надзирательница.

У хорошенькой Фенички даже ноги подкосились. Припомнилось сразу, как второпях, обрадованная приездом баронессы, она кое-как убрала рабочую на-

кануне, не заметив, что именно положила в большой рабочий шкаф.

– Я... я... не помню! – смущенно пролепетала Феничка.

– То-то не помню... – накинулась на нее ее воспитательница. – То-то и горько, что не помните вы ничего, ветер у вас в голове гуляет!.. Извольте припомнить, убрали работу или нет? – уже крикливо закончила свою речь воспитательница.

Феничка, тяжело дыша, молчала...

Павла Артемьевна долгим тяжелым взглядом смотрела на смущенную девушку. Потом решительно встала.

– Я пойду вечером с рапортом к Екатерине Ивановне и буду просить наказать весь приют, если работа Палани Заведеевой не найдется до вечера... – проговорила она. – Строго будут наказаны старшие, средние и маленькие без различия. После дневного чая до ужина будут оставаться в рабочей и работать штрафные часы. Или пусть та, кто подшутила такую злую шутку с Заведеевой, отдаст, возвратит ее работу. Поняли меня?

– Поняли! – чуть слышным робким вздохом пронеслось по зале.

Павла Артемьевна вышла из зала, сердито хлопнув дверью. Теперь перед взволнованными девочками

ми стояла не менее их самих взволнованная тетя Леля.

– Дети, – говорила горбунья, и нервный голос ее вздрагивал и срывался каждый миг, – дети, я боюсь допустить мысль, я боюсь поверить тому предположению, которое высказала сейчас Павла Артемьевна. У моих добрых чутких девочек, больших и маленьких, не может, не могло быть зависти по отношению успеха к их подруге. Мои милые чуткие девочки не могли завидовать Палане, ее успешной работе... Не могли со зла или из зависти спрятать ее работу, даже ради злой шутки... Нет, не могу даже предположить этого, не смею! Я слишком верю в моих девочек, слишком верю! Все вы прошли через мои руки, все, начиная от самой старшей из вас – Маруси Крымцевой, кончая хотя бы одной из стрижек, Вассой Сидоровой; я вас знаю всех вместе и каждую в отдельности и верю вам, как самой себе...

Большие лучистые глаза горбуньи перебежали с одного знакомого ей до мельчайших подробностей юного лица на другое... На птичьем личике Вассы они задержались дольше. Что-то необычайно тревожное, вспыхнувшее в глубине маленьких глаз девочки привлекло невольно внимание тети Лели. Неожиданно припомнилось запоздалое появление накануне к обеда Вассы, ее встревоженное и беспокойное лицо. И

румянец, пылавший на этом лице как вчера, так и сегодня.

«Неужели?» – вихрем пронеслась недосказанная мысль в голове Елены Дмитриевны, и она до боли закусала побелевшие от волнения губы.

Между тем что-то особенно скверное переживала Васса. То краснея, то бледнея, девочка едва сознавала окружающее. Безумный, почти животный страх, что вот-вот все откроется и ее выгонят как преступницу из приюта, не давал ей покоя. А дома что за жизнь! С содроганием ужаса припомнилось Вассе, что ее отец вечно пьяный, отовсюду выгнанный бывший дворник, его побои, крики, жестокие выходки с ними, детьми... Забитая, запуганная мать, целая куча вечно голодных ребятишек. Неужели же опять туда, к ним, после сытной, хорошей приютской жизни?.. Нет! Нет! Лучше умереть, нежели вернуться! Пускай наказывают весь приют... Пускай делают, что хотят, с нами со всеми, но она, Васса, не сознается! Ни за что! Ни за что!

В своем страшном волнении девочка не замечала, как мало-помалу пустела зала, как одна за другой, по трое, по двое и в одиночку выходили из нее приютки по знаку, данному тетей Лелей, как сама она, Васса, с багрово пылающим лицом стояла посреди залы, не замечая бросаемых на нее недоумевающих взглядов

расходившихся приюток.

И очнулась только тогда, когда маленькая ручка легла на ее плечо.

Испуганно вскинула девочка глазами и замерла на месте...

Большие лучистые глаза тети Лели точно вливались ей в самую душу... Лицо строгое и спокойное в одно и то же время находилось на расстоянии двух вершков от ее, Вассино, лица.

– Васса, – произнес твердый, спокойный голос, – я знаю все!

– Ах!

Это был и стон, и выкрик отчаяния в одно и то же время, вырвавшийся из самых глубин детской души.

«Все тайное да будет явно!» – вихрем пронеслась в голове Вассы нечаянная мысль, и она с глухим истеричным рыданием кинулась на грудь горбуны.

Та быстро обняла ее своими нежными руками и прижала к себе.

– Девочка моя! Девочка! Как могла ты сделать это! Поправь же скорее дело, искупи свою вину, моя Васса. Верни унесенную тобою вещь!

Тут рыдания девочки достигли крайнего предела.

– Не могу! Не могу! – разливаясь в слезах, лепетала Васса... – Я сожгла... сожгла в печке... ее... работу Паланину... Сожгла! Сожгла!

И Васса судорожно прижалась к горбунье всем своим тонким, костлявым телом наголодавшегося в раннем детстве ребенка.

Руки тети Лели опустились.

Это было хуже, нежели она предполагала.

– Несчастное дитя! – произнесла она, мысленно содрогаясь. – Кто мог подумать!

Но она с внезапной стойкостью поборолла свое волнение и, подняв залитое слезами лицо Вассы за подбородок, глубоко заглянула ей в глаза и проговорила тихо и печально:

– Расскажи мне откровенно и честно, как все это случилось, дитя мое!

Сбивчиво и прерывисто полилось из дрожащих детских губ горячее признание. Заливаясь ежеминутно слезами, рыдая и всхлипывая, Васса приносила свою чистосердечную исповедь.

И как ее снедала злость против «цыганки», и как она возненавидела Паланю, и как завидовала вдобавок ей за то, что работа ее была много лучше ее, Вассиной, работы. Рассказав все без утайки, девочка смолкла и робко покосилась на тетю Лелю. Прекрасные глаза горбуньи были полны слез.

– Нехорошо. Нечестно ты поступила, Васса... Это большой проступок, большой грех, – глухо заговорила Елена Дмитриевна. – Ты можешь облегчить его толь-

ко полным, чистосердечным раскаянием и признанием перед всеми своей тяжелой вины. Нельзя подвергать ради себя незаслуженному наказанию весь приют, девочка. Слушай же, что я тебе скажу, вот в чем будет состоять твое искупление: ты сегодня же, после вечерней молитвы, выйдешь на середину столовой и расскажешь при всех Палане о твоём поступке. Попросишь прощения у нее. Слышишь, Васса?

– Но тогда все узнают и меня выгонят! – вскричала полным отчаяния голосом девочка.

– Тебя накажут, да, потому что ты заслужила наказание. Но я буду просить Екатерину Ивановну не исключать тебя.

– Она не послушает вас и вернет меня домой! К отцу! О господи! – рыдала Васса.

Тетя Леля задумалась на минуту... Ее лучистые глаза померкли, потускнели. Резкая складка обозначилась на лбу. Она помолчала с минуту, потом заговорила снова:

– Тебя не выключат, слышишь, Васса? А если бы и случилось такое несчастье... Я помогу тебе перенести его. Я уйду вместе с тобою отсюда, буду воспитывать тебя и помогать тебе стать доброй и честной девочкой. Я не оставлю тебя, Васса!

– О! – могла только произнести маленькая приютка, и снова слезы обильным градом заструились по ее

лицу.

* * *

В тот же час, отправив Вассу в рабочую, горбатенькая надзирательница прошла к начальнице приюта.

– Екатерина Ивановна, мне надо серьезно поговорить с вами! – произнесла тихим голосом тетя Леля, опускаясь в кресло, и без дальних проволочек поведала начальнице обо всем случившемся.

Вся честная, прямая натура Наруковой возмутилась до глубины души поступком Вассы.

– Вон! Ее надо выключить вон из приюта, – произнесла она решительным тоном, – она испортит мне других девочек... Дурную овцу из стада долой!..

– Но...

– Пожалуйста, не заступайтесь, Елена Дмитриевна, – вспльхиво оборвала она надзирательницу. – Всем известно, что вы обладаете ангельской добротой. Но на все есть границы, моя милая.

Маленькая фигурка тети Лели выпрямилась при этих словах, словно выросла сразу. Глаза вспыхнули. Лицо побледнело...

– Так вы непременно удалите Вассу? – глухим голосом проговорила она.

– Обязательно! – прозвучал короткий ответ. – Такие

проступки не могут быть терпимы в стенах приюта.

– В таком случае завтра же вы не откажите принять и мое прошение об отставке.

– Что? – Близорукие глаза Наруковой сощурились более обыкновенного, стараясь рассмотреть выражение лица ее помощницы. – Что вы хотите делать? Но это сущее безумие... Ради одной испорченной девочки бросать насиженное место... бросать детей, к которым вы привыкли... нас, наконец... уж не говорю о себе... кто вас так любит... так ценит. Подумайте хорошенько, Елена Дмитриевна... Вы бедная девушка без связей и знакомств... Куда вы пойдете? Где будете искать места?

– Я все обдумала, дорогая Екатерина Ивановна, – твердо произнес снова окрепший голос тети Лели... – И я верю твердо тому, что сказал Христос в своей притче о заблудшей овце... Помните, как бросил все свое стадо пастырь и пошел на поиски одной заблудшей овечки? Я возьму к себе Вассу, если вы прогоните ее, и приложу все мои старания исправить девочку и сделать из нее хорошего человека. И верю свято – мне это удастся... Верю, что душа у нее далеко не дурная – у этой бедной маленькой Сидоровой. Не испорченная, отнюдь... Откуда у ребенка может быть дурная душа? Неправильное воспитание в раннем детстве, привычка лгать и притворяться, что-

бы не быть битой, сделали таковою Вассу. А зависть к другим породила собственная неприглядная обстановка... Вы не знаете ее детства? А я знаю... Нет, нет, если и преступница она по вашему понятию, то преступница поневоле, и я не могу бросить ее на произвол судьбы. Повторяю, если вы исключите ее из приюта, я уйду вместе с нею. Этого требует мой долг!

– Долг! долг! – рассердилась Екатерина Ивановна. – Бог с вами, неисправимая вы фанатичка долга. Успокойтесь! Никто не исключит вашей Вассы, раз вы ставите такие ужасные к тому условия. Но девочку надо наказать примерно.

– А не думаете ли вы, что она наказана и без того достаточно? – тихо прозвучал вопрос горбуны.

– Чем это?

– Муками, угрызениями совести, волнением и страхом за будущее и, наконец, публичным признанием ее проступка перед всем приютом, – отчеканивая каждое слово, говорила Елена Дмитриевна.

Екатерина Ивановна задумалась на мгновение. Легкая тень промелькнула на ее добром лице.

– А пожалуй, вы и правы, – произнесли тихо губы начальницы.

Две тонкие руки протянулись к ней.

– Вы ангел, Екатерина Ивановна! – произнесла с жаром горбуня. – И если вам не противно поцеловать

такого уroda – поцелуйте меня.

– Бог с вами, милушка! Неисправимая вы фанатичка! Ишь что выдумала. Подавать в отставку! – заворчала Нарукова, обнимая и целуя любимую свою помощницу. – Ради какой-то негодной девчонки и в отставку... Куда как хорошо!

– Но ведь «негодная», по-вашему, девчонка прощена, стало быть, и отставки не будет! – почти весело проговорила горбатенькая надзирательница и, пожав руку начальнице, поспешила к своим стрижкам.

* * *

Воспитанницы были очень удивлены в тот вечер, когда после вечерней молитвы услышали громкий возглас хорошо знакомого им всем голоса тети Лели.

– Подождите минуту в столовой, дети!

И горбатенькая надзирательница, остановившись у крайнего стола стрижек, шепнула мимоходом Вассе:

– Ну, дитя мое, решайся! Не задерживай нас!

Чуть живая от волнения Васса, едва держась на ногах, выступила вперед... Пошатываясь на подгибающихся коленях, словно лунатик, не видя ничего перед глазами, прошла она на середину столовой и, обведя затуманенным волнением взором столы приюток, дрожащим, звонким голосом, далеко слышным

по всей столовой, проговорила, срываясь на каждом слове:

– Паланя Заведеева... Прости, меня, Христа ради, прости... Я твою работу погубила... в печке сожгла из сердца... из зависти... прости, Паланя, Христа ради!

– А! – отозвался эхом рыдающий голос «цыганки»... – А! – и она дала волю слезам, упав головой на стол.

Приютки, взволнованные и потрясенные этой сценой, повскакали с мест и частью окружили Паланю, частью бросились к Вассе.

– Как! Ты? Сидорова! За что? Ах, господи! Грех-то какой! И с чего ты это?

Но Васса, бледнее известковой стены столовой, молчала и только с мольбою глядела на тетю Лелю.

Расталкивая воспитанниц, с торжествующей улыбкой на губах к ней подходила Павла Артемьевна.

– Ага! Вот ты как! Так вот как! – заспешила она, волнуясь и задыхаясь, – полюбуйте на нее, дети! Хороша! Нечего сказать! Преступница! Дрянная злюка! Лгунья! Воровка! Ага! Осмелилась! Ну, да ладно – получишь свое, поделом получишь! Поделом! Марш со мною сейчас к Екатерине Ивановне! И духу твоего завтра же не будет у нас, мерзкая девчонка!

Тут надзирательница средних, пылая негодованием и гневом, схватила за руку потерявшуюся Вассу и

потащила ее к дверям.

В тот же миг перед ними как из-под земли выросла маленькая фигурка горбуни.

– Оставьте девочку, Павла Артемьевна! – прозвучал твердо и резко ее далеко слышный голос, и она в волнении провела рукою по своим стриженным волосам. – Оставьте Вассу. Она поступила очень дурно и нечестно. Но и перенесла, понятно, тяжелое наказание укоров собственной совести и того стыда, который пережила сейчас и еще переживает в эти минуты. К Екатерине Ивановне же ее не трудитесь вести. Екатерина Ивановна знает все о ее поступке и простила девочку.

При последнем слове горбатенькой надзирательницы Васса вырвала свою руку из руки державшей ее Павлы Артемьевны и, кинувшись к тете Леле, разрыдалась у нее на груди.

– Никогда... Никогда... не буду больше... Вы увидите... Я исправлюсь... я другая буду... Спасибо вам! Спасибо Катерине Ивановне... Милая, родненькая тетя Леля. Золотенькая! Ангелочек! Век... не забуду, век! – И прежде чем кто-либо успел удержать ее, Васса скользнула на пол к ногам горбуни и, обвив руками ее колени, покрыла их градом исступленных поцелуев и слез...

Глава двадцать первая

Рождество... Сочельник... Целый день бушевала метелица за окнами, пела, выла, и ветер крутил и плакался в старом приютском саду... К вечеру вызвездило прояснившееся морозное небо... Ярче и красивее всех других звезд показалась голубовато-золотистая Вифлеемская звезда.

Кучка малышей-стрижек сгруппировалась у одного из окон и, прикинув заолодевшими лбами к стеклу, смотрят не отрываясь на притягивающую их с высоты своего небесного терема красавицу звезду, тихо перешептываясь между собою.

В другом, противоположном углу рабочей, тесно прижавшись друг к другу, сидят Дуня с Дорушкой.

Дорушка, блестя разгоревшимися глазками, оживленно рассказывает маленькой своей подружке:

– Вот погоди, Дунюшка, откроют двери, тетя Леля за рояль сядет, а мы войдем парами... На середине залы елка... Зеленая... пышная... до потолка... А под елкой подарки и гостинцы на столе разложены... А кругом мы кружиться и хороводы водить будем. Песни петь... А гости на нас смотреть будут, слушать нас... Гостей понаехало видимо-невидимо, все важнющие барыни в шелках да бархатах... А потом баронесса подарки

раздавать будет. Старшие плясать пойдут, а для нас игры устраивать будут. Большие играть с нами станут тоже... А на елке свечи горят! Много... А потом елку уберут... На двор вынесут... Ты никогда не видала елки, Дуняша?

Не успела ответить Дуня, как широко распахнулась дверь рабочей, и тетя Леля в новом сером, с пелериной из кружев, скрывающей ее горб, платье появилась на пороге комнаты.

– В залу, детвора, в залу... В пары стройтесь, клопики мои... Без шума только, без суеты... Тихонько!

Радостно взволнованные детишки с напряженно выжидательными рожицами, шумя новеньким ситцем праздничных платьев, торопливо становились в пары.

Шибко билось сердечко Дуни, когда она входила в залу, где уже собралось все начальство, гости и два старших отделения, целый день украшавшие ель.

– Ах! – одним общим вздохом вырвался крик восторга из детских грудок.

Пышная зеленая красавица-елка, отягощенная грузом блестящих безделушек в виде стеклянных шаров, звезд и цепей, сверкающая бесчисленным множеством огней, величественная и гордая, стояла посреди залы, распространяя чудеснейший и сладкий запах смолы и хвои далеко вокруг себя.

Дуня даже ручонки прижала к сердцу, замирая от

охватившего ее при виде пленительного зрелища восторга... Ничего, ничего подобного не видела она еще в своей коротенькой детской жизни!

– Хорошо? – шепотом осведомилась у нее Дорушка.

– Ах! – могла только снова вздохнуть восхищенная девочка.

Как и предсказывала Дорушка, тетя Леля села за рояль.

Звуки рождественского тропаря огласили залу, наполненную блестящей толпой приглашенных.

Все встали и повернулись к образу, гости, начальство и воспитанницы. «Рождество твое Христе боже наш», – зазвучало соединенным хором молодых и детских голосов. За рождественским тропарем следовал национальный гимн, по окончании которого все приютки, как один человек, повернулись к Наруковой и проговорили тем же дружным хором:

– С праздником вас, Катерина Ивановна! – Затем, отыскав изящную, нарядную в белом роскошном платье фигуру баронессы: – С праздником вас, Софья Петровна!

Тем же порядком, обращаясь к каждой из помощниц, поименно поздравили всех трех воспитательниц... Елену Николаевну, Павлу Артемьевну и всеобщую любимицу тетю Лелю. И наконец обратились ко

всем гостям:

– С праздником вас, господа наши благодетели!

Во время этих обязательных ежегодных поздравлений глазенки малышей-стрижек то и дело косили на правую сторону елки, о бок которой помещался длинный стол с лакомствами и подарками. По другую, левую сторону находился точно такой же стол с подношениями начальству, с рукодельными работами девочек, предназначенными для попечителей, начальницы и почетных гостей.

Зоркие детские глазенки издали старались рассмотреть надписи на билетиках, прикрепленных к вещицам, уложенным на правом столе. Каждая из девочек мечтала о том, что придется на ее долю.

Вон, на самом краюшке стола лежит недорогая куколка в розовом платье... Кому-то достанется она! А вон ящик с красками! Какой счастливнице достанутся краски! Дальше прехорошенькая шкатулочка для работы... Кто-то получит ее!

Впрочем, и старшие волновались не менее малышей, силясь разглядеть подарки.

Куски батиста на кофточки, шерстяные платки, цветные чулки, дешевые муфточки, туфли, недорогие серебряные брошки с эмалью – все это заставляло разгораться молодые, выжидательно устремленные на подарки глаза.

Но и девушки, и дети знали прекрасно, что прежде, нежели приступят к раздаче подарков, пройдет еще целая вечность. Приютки по примеру прошлых лет помнили это. И действительно, тотчас после поздравлений начальства началась программа праздника.

Маруся Крымцева, регент приюта, вышла на середину залы и своим звучным красивым голосом рассказала историю рождения Спасителя в Вифлеемской пещере.

Потом Феничка Клементьева прочла стихотворение на ту же тему.

Затем соединенный хор пропел под аккомпанемент пианино красивую старинную песню о Рождестве Христа.

Наконец крошка Оля Чуркова вышла вперед с огромной звездой, сделанной из золотой бумаги, и заговорила скороговоркой:

Я маленький хлопчик,
Сел на стаканчик,
В дудочку играю,
Христа забавляю.

– А вас всех с праздником поздравляю, – поклонилась низко и юркнула в толпу стрижек под всеобщий одобрительный смех.

– Дети, окружите елку! – послышался наконец го-

лос начальницы, и стрижки, чинно взявшись за руки, повели вокруг зеленой красавицы огромный хоровод, выпевая высокими пискливыми голосами:

– Елочка, елка,
Нарядная елка!
Где подрастала?
Где поднималась?
Ты малым деткам
Дана на утеху.
Ветки твои пышны,
Свечечки яркие.
Радость несешь ты
Светлую детям!
Ты Расскажи нам,
Пышная елка!
В дальних лесочках,
В хвойных зеленых.
Ты выростала,
Ты хорошела
Деткам на радость,
Нам на утеху.

Празднично настроенная детвора, с замиранием сердца ожидающая счастливого мгновения – раздачи подарков, должна была степенно двигаться, выступая медленно и чинно под звуки заунывного, самым Фимочкой сочиненного пения...

Ни одного нерассчитанного, резкого движения... Ни одной восторженно-детской нотки! Все монотонно, скучно и чинно. Задавленная искренняя детская радость не пробивалась ни на йоту под этой ненужной чинностью ребят.

Начальница, важные посетители и гости: старички в нарядных мундирах с орденами и знаками попечительства о детских приютах, не менее их нарядные дамы в роскошных светлых платьях, – все это внимательно слушало тихо и медленно топчущихся в плавном тягучем хороводе девочек, воспевающих монотонно пискливыми детскими голосами:

Елочка! Елка!
Зеленая елка!

И никому, по-видимому, не приходит в голову мысль о том, что эти степенные, чинные по виду малютки таят в глубине своих детских сердчишек необузданное, страстное желание броситься, окружить стол, стоящий по правую сторону елки, и прочесть на заветном билетике свое имя!

Один только человек во всей этой нарядной толпе гостей понимал детское настроение.

Этот человек огромного роста, широкий в плечах, с кудлатою, тронутой ранней проседью головою, ка-

завшийся атлетом, давно уже следил за приютками, с самого начала их появления в зале, и на его подвижном, выразительном лице поминутно сменялось выражение досады, жалости, сочувствия и какой-то почти женственной грусти.

Наконец темные густые брови атлета-доктора энергично сдвинулись, и он, наклонившись над креслом начальницы, шепнул на ухо Екатерине Ивановне:

– И вам не надоело еще мучить ребят?

– Мучить? – Она удивленно прищурила на него свои близорукие глаза.

– А то нет, скажете! Да моим курносеньким до смерти хочется броситься к столу, а вы велели им какую-то панихиду разводить на сметане! Помилуйте, да разве это веселье?

– Вы правы! – согласилась так же тихо начальница. – Велите раздавать подарки детям, Николай Николаевич.

Большой человек только, казалось, и ждал этой минуты. Вздохнув облегченно всей грудью, он с чисто ребяческой стремительностью помчался с приятной вестью к своим «курносеньким стрижкам».

Радостный возглас детей огласил залу, и веселая суетливая толпа взрослых девушек и ребяток в тот же миг окружила стол, подле которого тетя Леля громким

голосом уже выкликала имена ошастливленных раздацией подарков старших и маленьких приюток.

– А ну-ка, курносенькие! Кто со мною в «кошки-мышки»? – прозвучал далеко слышный по всей зале басистый голос доктора.

– Я...

– Я...

– Я...

– Мы все! Мы все, Миколай Миколаевич! – радостно отозвались отовсюду веселые пискливые голоса.

Свечи на елке давно догорели. Самую елку сдвинули в сторону, в угол. Подарки давно розданы и детям, и взрослым. Фимочка, сменивший на этот раз тетьку Лелю за пианино, уже давно играл польку за полькой, кадрили за кадрилью...

Под нехитрые мотивы бальных танцев, имеющих в Фимочкином распоряжении, старшие и средние плавно кружились или выступали по зале.

К ним присоединились кое-кто из гостей. Сама баронесса Фукс, легкая и воздушная, как сильфида, носилась по зале, увлекая за собой своих любимиц: то Любочку, выучившуюся, несмотря на свой детский возраст, танцевать не хуже старших, то Феничку Клементьеву, то Марусю Крымцеву, приютскую красавицу-запевалу... Ее дочка Нан уклонилась от танцев и серьезными, недетски строгими глазами следила за

всем, что происходило в зале.

– Нан! Нан! – услышала она призывный голос Дорушки. – Иди играть с нами в «кошки-мышки»!

Посреди залы, мешая танцующим, образовался огромный круг взявшихся за руки маленьких стрижек, здесь под наблюдением добряка-доктора игра кипела вовсю.

Прижимая только что полученную куклу к груди, не сводя с белокурой головки фарфоровой красавицы восхищенного взгляда, Дуня неохотно встала в круг играющих. Шумная, суетливая толпа, веселый визг и хохот, беготня и возня пугали и смущали робкую, застенчивую от природы девочку.

Неожиданно ровный, глуховатый голос Нан прозвучал подле нее:

– А тебе Мурка кланяется. Всем стрижкам тоже. Он у меня совсем принцем сделался... Спит на бархатной подушке, кушает молоко, шоколад, косточки от дичи, супы разные... Я ему розовую ленту на шею привязала, с серебряным колокольчиком. Хочешь к нам приехать в будущее воскресенье, посмотреть его?

Дуня испуганно взглянула на маленькую баронессу.

– Нет! Нет! Не хочу! – испуганно вырвалось из ее тонких губок. – Нет, нет! Не хочу! Боюсь.

Она действительно боялась и красивой Софьи Пет-

ровны, и ее угловатой, суровой на вид дочери.

Ей была жутка сама мысль попасть в важную, пышную обстановку попечительского дома.

– Нет! Нет! – еще раз испуганно произнесла она.

Нан досадливо передернула худенькими плечиками.

– Глупая девочка, – произнесла она сурово, – никто не повезет тебя к нам насильно. Вот-то дурочка! – И она, повернувшись спиной к Дуне, заговорила с Дорушкой.

Между тем круг играющих все увеличивался... Приходили «средние» и становились в круг. И Дуня поместила свою куколку между собой и Дорушкой, осторожно держа ее за замшевые ручки, тоже примкнула к игре.

Дети медленно кружили и пели звонкими голосами:

У нашего Васьки
Зеленые глазки,
Пушистые лапки
И хвостик крючком.

А доктор Николай Николаевич ходил, подражая кошке, по кругу, фыркал, мяукал и отряхивался по-кошачьему, строя уморительные гримасы и приводя своими выходками в полный восторг детишек.

– Мяу! Мяу! – опускаясь на корточки и забавно

«умыываясь лапкой», как это делают кошки, мяукал доктор.

– Я буду мышкой! – решительно заявила Оня Лихарева. И выскочив из цепи, бросилась вдоль круга.

Неуклюже изгибаясь всей своей огромной фигурой, доктор помчался за нею.

– Ай-ай-ай! – визжали девочки каждую минуту, когда огромная богатырская фигура Николая Николаевича приближалась к толстенькой фигурке юркой Лихаревой.

Но у толстушки Они были проворные ноги. Она прыгала козую по кругу, перескакивала через руки, подлезала на четвереньках в круг и при этом отчаянно визжала и от удовольствия, и от опасения быть пойманной.

По лицу доктора лились целые потоки пота. Наконец, он изловчился, подхватил Оню и при общем смехе посадил ее к себе на плечо.

– Поросята хорошие! Продаю поросенка молочного, упитанного! Покупайте, господа, покупайте! – кричал он, растягивая слова по образцу настоящего торговца.

– Теперь я буду мышкой, а кто кошкой? – вызвалась Нан.

– Позвольте и мне примкнуть к вам, детки! Примите и меня в вашу веселую игру! – услышался поблизости

сти играющих приторно-сладкий голос.

И шарообразная фигура эконома Жилинского и его голая лысая голова появились перед детьми.

– Милости просим! Милости просим! Места на всех хватит, – добродушно пригласил его доктор.

Дети, не любившие Жилинского, глядели на него смущенно и неприветливо. Слишком уже досаждал он даже маленьким стрижкам, кормя их несвежей провизией в их и без того скудные обеды.

– Пожалуйте! – неохотно буркнули девочки постарше.

Павел Семенович не заставил повторять приглашения. Сияя сладкой улыбочкой и гладкой, словно отполированной лысиной, он погнался за убегающей Нан, семеня маленькими ножками.

Но против ожидания толстяк не уступил в прыткости быстроногой, вертлявой и живой маленькой баронессе.

– Сейчас поймает! Сию минуту! – задыхаясь от волнения, шептала Васса, поднимаясь на цыпочки и следя горящими глазами за катящимся шариком толстой экономовой фигуры.

Маша Рыжова, отличавшаяся помимо своей лени, еще особенной любовью плотно покушать и не терпевшая особенно Жилинского за то, что тот так мало заботился об улучшении стола приютков, внезапно по-

теряла свое обычное спокойствие.

– Ан не поймают! ан не поймают! – с несвойственной ей живостью проговорила она.

– А вот увидишь! – шептала не менее оживленно Васса. – Ишь он какой прыткий, не убежит Нан.

– Ладно! Еще бабушка надвое сказала! Нан, Нан! – крикнула Маша, и обычно сонное лицо ее оживилось еще больше. – Сюды беги, сюды, Нан!

Длинноногая Нан с быстротою молнии метнулась между Вассой и Машей. Те подняли руки. Пропустили бегущую и снова опустили их перед бросившимся следом за девочкой Жилинским.

Но не успели.

Павел Семенович проскочил в круг и помчался по нему, настигая Нан.

– Ага! Так-то ты! – озлилась Маша Рыжова, следя недобрыми глазами за стремительно несущейся шарообразной фигуркой, словно катившейся на коротеньких ножках.

И тут-то произошло что-то невероятное, неожиданное и печально-смешное в одно и то же время. Маленькая детская нога в приютском шлепанце-туфле выставилась вперед, словно ненароком навстречу шарообразной фигурке.

Павел Семенович не заметил маневра и несясь вперед с прежней стремительностью.

– Ах!

Что-то метнулось вправо, потом влево, замахало короткими руками в воздухе, и шарообразная с увесистым брюшком фигура Жилинского со всего размаха шлепнулась на пол.

В первую минуту толстяк так смутился, что не мог сообразить, в чем дело. Он силился подняться, встать на ноги и не мог. Только беспомощно махал в воздухе короткими толстыми руками. Доктор бросился к нему на помощь, подхватил под мышки смущенного Жилинского и поставил его на ноги.

– Не стукнулись ли вы? – с серьезным, озабоченным лицом обратился он к эконому.

Потом быстро принес стул и посадил на него окончательно растерянного Жилинского, усиленно потиравшего себе колени.

Дуня внимательными глазами смотрела на все происшествие. Она заметила перемену в лице, очевидно, причиненную болью при падении, у злополучного эконома, и ей стало бесконечно жаль этого толстенького старого человека, которому было очень больно в эту минуту. Привыкшая поступать по первому же влечению своего чуткого сердечка, она высвободила себя и свою куколку из общей цепи и решительно шагнула к сгорбившейся на стуле жалкой фигуре Жилинского.

Ее голубые глаза, полные сострадания, приникли

взглядом к красному, потному лицу Павла Семеновича.

– Тебе больно, дядя? – прозвучал далеко слышный детский голосок, звонкий, как ручеек в лесу летом. – Ну да ничего это, ничего, пройдет. До свадьбы заживет, слышь? Так бабушка Маремьяна говорила. Да ты не реви, пройдет, говорю, право слово! – И подняв свою тоненькую ручонку, она не смущаясь подняла ее к гладкой, блестящей лысине маленького, поникшего головой человечка и несколько раз погладила и ласково похлопала эту мокрую от бега и падения, совершенно лишенную волос голову.

– О! – не то стоном ужаса, не то задавленным воплем смеха прошуршало по кругу.

Николай Николаевич до боли закусил губу, чтобы не расхохотаться, отвел ручонку Дуни, приготовившуюся снова приласкать бедного дядю по простоте невинной души.

Кое-кто из приюток не выдержал и фыркнул в руку. Сам Жилинский взглянул было сердитыми глазами на Дуню, подозревая насмешку, но, увидя крошечную девочку с добрым кротким личиком, улыбающуюся ему милыми голубыми глазенками, смягчился сразу.

– Ну, ну. Ты хорошая, славная девчурка, – произнес он ласково и, погладив одной рукой Дуню по головке,

другой полез в карман, достал оттуда апельсин и подал его девочке.

Потом, чуть прихрамывая, пошел из круга.

Играющие возобновили игру. Но уже не было в ней прежнего веселья. Было жаль старика. Добрые от природы девочки поняли, что падение нелюбимого эконома случилось неспроста.

Что-то неуловимое, как дымка тумана, повисло над детьми. Смутная, непонятная досада закипела в справедливых детских сердечках.

А виновница происшедшего чувствовала себя отвратительнее всех. Маша Рыжова поняла всю несправедливость своего поступка, и сердце ее мучительно и больно щемило сознанием тяжелой вины.

С трудом добряку-доктору удалось развеселить его курносеньких, и только перед окончанием вечера снова закипел прежний веселый детский смех в большой праздничной зале.

Глава двадцать вторая

Пролетело Рождество. Промчалась масленица. Заиграло солнышко на поголубевшем по-весеннему небе. Быстрые ручьи побежали по улицам, образуя лужи и канавы... Снег быстро таял под волшебным веяньем весны. В воздухе носилось уже ее ароматное веяние.

Приютский сад преобразился. Обнажились почерневшие дорожки... Освобожденная из-под оков снега трава выглянула наружу... Кое-где уже зазеленели ранние побеги... Шла животворящая, молодая, радостная весна!

Великий пост подходил к концу, приютки говели на Страстной неделе.

Целыми днями слышался заунывный благовест соседней богаделенской церкви. По два, а то и по три раза в день шли туда стройными парами певчие воспитанницы, шли по мокрым от стаявшего снега улицам, входили в церковь и занимали обычные места на обоих клиросах.

Фимочка самолично руководил правым клиросом, доверяя левый своей помощнице Марусе Крымцевой.

В зале между церковными службами то и дело происходили спевки. Пели пасхальные тропари и репе-

тировали Светлую заутреню. Под управлением выходявшего из себя учителя пели «Да исправится» и «Разбойника» особенным концертным напевом.

Меньше, реже теперь посещалась рабочая. Говенье, спевки, долгие церковные службы отнимали большую часть времени у приютских воспитанниц.

Дуня шла нынче на исповедь впервые. Со страхом и трепетом прислушивалась она к речам Сони Кузьменко, самой набожной и религиозной девочки из всего младшего отделения приюта.

Соня садилась где-нибудь в дальнем уголку залы, ее окружали стрижки, преимущественно те, кому не удавалось еще побывать на исповеди, и жадно прислушивались к каждому слову Сони.

Плавным, деланно-тягучим голосом десятилетняя Соня наставляла младшеотделенок:

– Каяться надо чистосердечно, девоньки, потому что сам господь Иисус Христос присутствует невидимо на исповеди, – говорила она. – Как за ширмочки к отцу Модесту войдешь, так перво-наперво земной поклон положить надоть, а там, на крест его животворящей глядя, и грехи сказывать. Без утайки, как есть все...

– А ежели не все сказать? Утаить? – расширяя глаза от ей самой непонятного страха и теряя обычную свою сонливость, осведомлялась Маша Рыжова, не

попавшая в первые два года своего пребывания в приюте на исповедь вследствие болезни.

– А вот это уж худо... – авторитетным тоном говорила Соня. – Спроси няньку Варварушку, она тебе расскажет, что на том свете будет за то.

– А что?

– А спроси. Узнаешь!

Соня смолкает, важная, торжественная, преисполненная таинственности и значения предстоящего события.

Стрижки-первоговелки, подчиняясь ее указанию, летят со всех ног отыскивать Варварушку. Та охотно соглашается на их просьбы «рассказать». Огромная, рыжая, басистая, садится она подле Сони и гудит своим «трубным» басом о Страшном суде, о праведниках и грешниках, о горячих сковородках, которые предстоит лизать лжецам и клеветникам на том свете. О железных крючьях, на которых повесят за руку воров, за ребра преступников... Варварушка сама наивно верит в те бессмысленные бредни, которых в детстве наслушалась сама от таких же темных людей. Перед детьми разворачиваются страшные картины возмездия, пугая детские впечатлительные умы...

Многие из «малодушных» горько плачут от страха... С красными веками и распухшими от слез носами бродят унылые стрижки по коричневому зданию.

Одна Оня Лихарева не унывает... Веселая по обыкновению и разбитная шалунья бойко трунит над подружками:

– Ладно... Ладно... сказывайте грехи, малыши, а батюшка-то отец Модест выведет на средину церкви, сядет тебе на спину многогрешную да вокруг храма божия трижды на тебе и проедет. Не грехи, мол, милая, не грехи!

– Что?

Новый страх, новое смятение.

– Ужели так и поедет? А? – звучат робкие голоса.

– Да полно тебе врать-то, непутевая... – сердится Варвара, – им и без того боязно, а ты еще пугаешь, бессовестная! Не верьте ей, девоньки! Ишь язык-то у нее без костей Мели Емеля – твоя неделя! Нет того греха, чтоб не простился господом, батюшкой нашим милосердным. Только проститься надо.

– Как проститься?

– Перед исповедью прощения у всех испросить смиренно с покаянием о содеянном. Перед кем согрешили, у того... – поучала Варвара.

– У всех?

Задумывается Маша Рыжова... В туповатой голове, не привычной к мозговой работе, тяжело ворочается мысль.

Тогда... давеча... в Рождестве-то... Она поднож-

ку эконому Павлу Семеновичу... Неужто и ему показаться? Прощения просить... А как осерчает да «самой»-то и донесет? Что-то будет! Ох, батюшки!

В тот же вечер поздно, после ужина незаметно задерживается у стола Маша Рыжова... Юркает за шкаф с посудой. Дожидается, пока не исчезли пары воспитанниц одна за другою в коридоре, смежном с дверью столовой.

Мимо, торопясь к себе на квартиру, спешно прокатывается шарообразная фигурка эконома.

Бледная, трепетная, взволнованная появляется перед ним девочка.

– Павел Семенович... простите... ради Христа... давеча... я ногу выставила, играючи... На елке... А вы запнулись... и упали... Признаться боялась шибко... Попадет, думалось... Простите, извините, Христа ради! Нарочно ведь это я!

Жилинский смотрит в бледное детское лицо, слушает рвущийся от страха и смущения голос... Гневная краска внезапно заливает толстые щеки, лоб, лысину, шею...

– Ты смела? Нарочно, говоришь? За что?

Слезы брызжут фонтаном из глаз Маши.

– Простите... не гневайтесь... Нарошно... Ах, господи... Обидно было... На вас... Ради Христа... простите... Обиделась за то... что кушать хотелось... А...

кормят мало... и худым... Вот я... со злости, значит, отплатить думала. Ах, ты, господи! Простите! На исповедь... Надо... Варварушка проститься велела... А я перед вами грешна...

Маша уже не плачет, а рыдает навзрыд на всю столовую...

Павел Семенович испуганно косится на дверь. Не ровен час, войдет еще кто-нибудь. Узнают причину... И ему не лестно. Кормит он, действительно, плохо воспитанниц... По дешевой цене скупает продукты, чтобы экономию собрать побольше, показать при расчете, как он умело, хорошо ведет дело... Местом дорожит... Семья у него... Дети... сынишка... Виноват он, правда, перед воспитанницами. Ради собственной выгоды их не щадил... А эта девочка, дурочка, можно сказать, а его нехотя сейчас пристыдила...

И, живо наклонившись к плачущей Маше, Павел Семенович положил ей свою пухлую руку на плечо и проговорил ласково:

– Ну, полно, полно, не реви... Не сержусь я... Ну, уж ладно, ступай... Да не болтай зря-то никому об этом... Слышишь? А кормить вас лучше будут, я уж распорядился! Да не реви ты, экая глупышка!

И легонько и ласково он вытолкнул плачущую девочку из столовой.

Сдержал слова Жилинский. Частью из страха за

свою участь, частью из-за смутно промелькнувших угрызений совести по отношению ребят... Но кормить он стал много вкуснее и лучше с этого дня приюток.

Вечер... Только что прошла всенощная. Церковный сторож вынес ширмы из ризницы и поставил их на правом клиросе богаделенской церкви.

В черном подряснике с тускло поблескивающим шитьем епитрахили и наперстным крестом на груди отец Модест, еще более бледный и усталый, нежели зимой на уроках, проходит туда, где таинственно сверкает золотом застежек Евангелие и крест на аналое в темном углу клироса. И сразу потянулись длинной серой вереницей старушки-богаделенки на исповедь, за темные ширмочки, к отцу Модесту.

При слабом свете лампад и единственных свечей перед образами как-то особенно хмуро и сурово выглядят нынче на иконах аскетические лица угодников и святых.

Дуня в который раз уже обегает глазами хорошо знакомый ей за последние восемь месяцев, проведенных в приюте, иконостас. Сегодня и ей изображенные там на иконах святители кажутся несколько иными, более суровыми и строгими, не как всегда. Легкий холодок страха забегают в душу девочки. С жутким чувством вглядывается Дуня в обычно милостивый и кроткий лик Богородицы. И он сегодня особый... Будто

требовательнее и строже глядят на бедную маленькую стрижку обычно мягкие ласковые глаза безгрешной Матери Бога. В вихре мыслей, закружившихся в детской головке, проносится целая вереница грехов перед Дуней...

Сколько раз она, Дуня, забывала молиться по вечерам. Кое-как убирала по утрам в горницах приюта. Дорушке частенько завидовала, что та не сиротка круглая, что у той мать есть. Оскоромилась наемной шоколадной конфеткой, что Маруся Крымцева дала. Пашку, то есть Павлу Артемьевну, сколько раз ругала заглазно. А когда все пошли «артелью» прощения у той просить, она, Дуня, прыснула со смеха, когда Оня Лихарева тишком Пашку индюшкой назвала. Ну, как тут не сокрушаться, когда грехов пропасть!..

«А что, ежели и впрямь за них батя на спину сядет да по церкви погонит», – замирала она со страха.

«Все одно, утаить нельзя греха ни единого. Вон нянька Варварушка говорит, что за ложь на том свете грешников горячие сковороды заставят лизать. Что уж лучше перенести, один бог знает!»

И маленькая восьмилетняя говельщица стремительно опускается на колени и усердно отбивает земные поклоны и шепчет молитвы пересохшими, робкими губами.

Отысповедовались богаделенки... Потянулись

старшеотделенки к правому клиросу... За ними средние... Наконец дошла очередь до стрижек...

Сама не своя стоит точно к смерти приговоренная Дуня. И опять всякие ужасы мерещутся ей. То отец Модест выезжает на спине той или другой «грешницы» из-за ширм, то муки на том свете мерещутся, раскаленные докрасна сковороды, горячие крючья... Гвозди, уготованные для грешников непрощенных. А рядом Дорушка как ни в чем не бывало степенно крестится и кладет земные поклоны.

И Васса так же... И Васса спокойна... А она ли не грешница! Чужую работу в печке сожгла! А лицо спокойное, ясное! Будто ничего не боится Васса! И глядя на подружек, и сама отходит сердцем Дуня.

Не успела заметить, как пробежало время. Она за ширмой.

– Ну, дитяtko милое, говори мне, твоему отцу духовному, какие грехи за собой помнишь? – звучит над ее склоненной головкой добрый, мягкий задушевный голос. Робко поднимает глаза на говорившего девочка и едва сдерживает радостный крик, готовый вырваться из груди.

Кто это? Не тятя ли покойник перед нею? Его глаза, ласковые, добрые, сияют в полутьме клироса ей, Дуне. Его большая тяжелая рука ложится на ее стриженную гладким шариком головку. Он! Как есть, он!

– Тятя! Родненький! Не помер ты! Ко мне пришел! Вернулся! – шепчет словно в забытьи девочка, и слезы катятся одна за другой по встревоженному и радостному Дуниному лицу.

А большая рука гладит маленькую головку, и бархатными нотами звучит обычно прежде строгий голос отца Модеста.

Тускло поблескивает крест и золотые застёжки Евангелия в полутьме за ширмами, блестят ярко-голубые глазенки Дуни, и огромная бессознательная радость пышным цветком распускается и рдеет в невинной детской душе...

* * *

На Пасхе от баронессы Фукс прислали огромные корзины с ветчиною, яйцами, куличами и пасхами для разговения приюток.

Сама баронесса, вся белая, душистая, нарядная и розовая, как молодая девушка, приезжала с особенно нескладной в ее нарядном платье Нан христосоваться с детьми на второй день праздника. А на третий «любимицы» Софьи Петровны были приглашены к попечительнице в гости.

Назначили в их число и Дуню по желанию упрямой Нан, но девочка так расплакалась, так крепко вцепи-

лась в свою подружку Дорушку, не попавшую в список приглашенных, что на нее махнули рукой и оставили ее в приюте.

– Мне она начинает нравиться, – тоном взрослой девушки, не сводя глаз с Дуни, произнесла Нан, ни к кому особенно не обращаясь, – у нее, у этой крошки, есть характер! – И ее маленькие глазки впелись зорко в голубые, как день мая, глаза Дуни.

Пролетела, как сон, пасхальная неделя. За нею еще другие... Прошел месяц. Наступило лето... Пышно зазеленел и расцвел лиловато-розовой сиренью обширный приютский сад. Птичьим гомоном наполнились его аллеи. Зеленая трава поднялась и запестрела на лужайках... Над ней замелькали иные живые цветики-мотыльки и бабочки. Зажужжали мохнатые пчелы, запищали комары... По вечерам на пруду и в задней дорожке лягушки устраивали свой несложный концерт после заката солнца.

Многих воспитанниц родители брали домой на побывку на три летних месяца. Завистливыми глазами поглядывали на уезжавших счастливиц их менее счастливые сверстницы.

Как ни печальна была доля бедных девочек проводить лучшее в году летнее время в душных помещениях «углов» и «подвалов» или в убогих квартирках под самой крышей, все же они были «дома» на

«воле», а не взаперти, среди четырех стен казенного, мрачного здания. И рвалась из казны «на эту волю» сложная детская душа. Были между ними и такие счастливицы, которые попадали «на дачу».

Часто матери, тетки, сестры, отцы, братья, дяди, деды и бабки, служившие у «господ» в прислугах, испрашивали разрешение хозяев взять на лето в свой жалкий уголок кухарки либо кучера дочь или родственницу из приюта.

Господа великодушно разрешали. И вот, осчастливленные до бесконечности, девочки попадали «на дачу». Не чуя от радости ног под собой, покидала она скучный приют и душный городок и, ютясь где-нибудь на чердаке или в боковушке дачного барака, питаясь объедками с барского стола, она с наслаждением вкушала всю прелесть дачной жизни. По четыре раза на дню купалась в реке, бегала по лесу до изнеможения, собирая цветы, ягоды, грибы позднее. А вечером и рано утром старалась работой по дому вознаградить благодетелей за данное ей счастье: ни во что считалась беспрестанная беготня в лавочку, раздувание самовара по двадцати раз на день, чистка сапог, мытье полов дачи, уборка дома и сада... А когда такая счастливица возвращалась снова в приют по осени, рассказам о проведенном «на поле» лете не было конца и предела...

Впрочем, и в самом приюте за лето шибко изменялась обычная, серая, скучная однотонная жизнь.

Отменялись уроки и рукодельные часы в рабочей. Уезжали в отпуск Павла Артемьевна и Антонина Николаевна, и бразды правления всецело переходили в руки тети Лели, не решившейся даже ради необходимого отдыха покинуть своих девочек.

Целые дни проводились на воздухе в саду, в его тенистых, густо разросшихся аллеях.

До обеда шили, заготавливая приданое выходным приюткам: неизбежные два платья и по полдюжины белья для каждой покидавшей приют и уходившей на место воспитанницы.

После обеда играли, качались на качелях, состязались в крокет на садовой площадке, купались в садовом пруду, обтянутом парусиной.

А когда спадала жара, снова шили и слушали чтение тети Лели, умевшей выбирать книги, одинаково интересные для взрослых девушек и детей.

В первое же лето своего пребывания в приюте неожиданное горе поразило Дуню. Приехала мать Дорушки и увезла девочку на летние месяцы «на дачу».

Горько плакала Дуня, расставаясь с подружкой, и совсем было слегла от слез, если бы та же добрая тетя Леля не занялась девочкой.

Не отходя ни на шаг от ребенка, горбатенькая надзирательница со своей обычной изобретательностью сумела развлечь осиротевшую малютку.

Она гуляла и играла с Дуней, вводила ее в свою уютную маленькую комнатку, показывала ей картинки, учила собирать и сушить цветы, играла ей на пианино, умело втягивала скучавшую девочку в общие шумные игры и добилась-таки своего: Дуня повеселела, окрепла, поправилась за лето и загорела, как цыганенок, целые дни проводя в саду.

И когда вернувшаяся «с дачи» Дорушка увидела смуглую, краснощекую высоконькую девочку, резво выбежавшую к ней навстречу, то едва признала в ней свою тихую, пугливую и робкую подружку.

ЧАСТЬ II

Глава первая

Прошли-промчались четыре года...

Та же яркая, ясная и приветливая весна заглядывала в хмурые окна угрюмого коричневого здания.

В нижнем этаже приюта помещается огромная прачечная с каменным полом, с большими медными баками и гигантской печью-плитой.

Рыжая Варварушка и ее две помощницы, уютские служанки, в это ясное весеннее утро усердно стирают белье на «волю» для «господ», обычных клиентов и клиенток N-ского ремесленного приюта.

Над двумя другими лоханками стоят две дежурные по прачечной воспитанницы и тщательно выполаскивают в пенящейся воде тонкие платки, кружева, чулки, воротнички и кружевные и батистовые кофточки, словом, более тонкие вещи.

Мелкое белье, изящные принадлежности туалета стирают сами воспитанницы среднего и старшего отделений приюта.

Над одной из лоханок наклонилась худенькая белокурая девочка с жидкой косичкой совершенно лья-

ных волос. Голубые глаза, несколько широкий нос, тонкие темноватые брови и длинные лучи ресниц на бледном личике – все в ней чрезвычайно привлекательно и мило. Что-то робкое, пугливое в каждом движении тоненького тела, в каждом взгляде кротких, по-детски ясных голубых глаз, что-то стремительное и покорное в одно и то же время.

Мечтательная улыбка изредка трогает тонкие губы и тотчас же отражается в голубых, как лесные незабудки, глазах. Это Дуня. Двенадцатилетняя Дуня Прохорова, проведенная в коричневых стенах приюта долгие, однообразные четыре года. Еще пройдет год, и она станет старшеотделенкой, самой молоденькой воспитанницей из всех «выпускных» старших девиц. А там через два-три года и коричневые стены раздвинутся перед нею и выпустят на волю, на «место», самостоятельной маленькой девушкой эту тоненькую и гибкую, как тростинка, белокуренькую девчурку, такую робкую и тихонькую от природы.

Рядом с нею работает Дорушка. Эта тоже сильно переменялась за четыре года. Из хрупкой, нежной девочки Дорушка стала крупным, рослым четырнадцатилетним подростком. У нее густая темная коса чуть не до пояса. Бойко и разумно глядят карие немного выпуклые глаза. Уверенно улыбаются на добром честном лице пухлые губы, Дорушке нечего боять-

ся будущего. У ее матери оказались небольшие сбережения, позволившие Аксиные уйти от господ и открыть свою собственную малюсенькую мануфактурную лавочку. За лавочкой есть две небольшие светлые каморки-горницы, которые Аксинья решила обратить в мастерскую «дамских нарядов» (правда, очень маленькую, крошечную мастерскую, но все же в мастерскую), лишь только Дорушка окончит свое ученье в приюте.

Девочке своей она поручит место мастерицы и закройщицы, возьмет ей еще двух девиц-швеек на помощь, и, даст господь, они наработают с нею, Аксиной, не одну копейку на черный день.

Вот эти-то планы матери и дают уверенность в своем счастье и Дорушке; позволяют ей спокойно и ясно глядеть в неведомую жизненную даль.

С Дуней они дружны, но не по-прежнему.

Счастье Дорушки смущает Дуню... Казалось ей, как-то важнее и отчужденнее стала эта новая самоуверенная и самодовольная Дорушка, толкующая уже теперь о предстоявших заработках «ее» мастерской. У Дорушки нашлись неожиданно подружки из старшего отделения, предлагавшие будущей юной хозяйке мастерской свои рабочие руки.

Бедность и сиротство учат быть дальновидными, и дети, помимо собственной воли, рано перестают быть

детьми. Каждая приютка с детства приучается к мысли о заработке.

Вот почему теперь Дорушка, будущая хозяйка, ходит в досужие часы, обнявшись со старшими. Около нее теснятся теперь Липа Сальникова, Паланя Заведеева, Шура Огурцова, ставшие уже два года тому назад старшеотделенками.

Что же касается Фенички Клементьевой и еще двух или трех ее сверстниц, их судьба определялась ясно. Впереди их ждут учительские курсы и места сельских учительниц. О Феничке хлопочет сама баронесса, а этого уже достаточно, чтобы стать «человеком» по-настоящему.

Однако и Дуня не лишена дружбы Дорушки, очень доброй по природе. Несмотря на новых подруг, Дорушка по-прежнему раздает свои гостинцы подругам, и делится добрячка с ними каждым куском. По-прежнему ровна и ласкова она со всеми, а с Дуней ласковее всех, но нет теперь времени Дорушке посвящать все свои досуги Дуне. Целыми днями просиживает она за работой. Изучает выкройки, образцы... Шьет больше, нежели требуется в приюте, словом, всячески готовится к сложной роли будущей хозяйки мастерской.

И Дуня изменилась немало...

Всегда молчаливая, с книжкой в руках или с мечта-

тельно устремленным вдаль взором девочка невольно обращает на себя всеобщее внимание. Подруги любят ее за «тихость», начальство за безответность, даже сама «страшная Пашка» снисходительно относится к ней и «спускает» Дуне ее беззаветную привязанность к «тете Леле», принявшей вновь поступивших новеньких младшеотделенок под свое покровительство. А всем хорошо известно, как недолюбливает Пашка горбунью...

Два года тому назад Дуня в один такой же радостный, празднично-яркий весенний день рыдала беззвучно, прильнув к худой и плоской груди горбатенькой тети Лели. Это был незабвенный день расставанья с доброй надзирательницей.

– Не плачь, дитя мое, не плачь, – глядя дрожавшими руками белобрысенькую головку девочки, шептала Елена Дмитриевна, расставаясь с нею, – не на век расходимся, я же остаюсь в приюте, только передаю вас средней наставнице. А ты приходи ко мне, как только сомненье какое-нибудь тебя одолеет или просто взгрустнется, Дунюшка, ты и приди, непременно, слышишь? А я тебе всегда рада буду, как родной, ты и Оля Чуркова самые малюсенькие были у меня... Мне вас всех жальче поэтому, доченьки вы мои... крохотки бедненькие! – заключила, прослезившись, горбунья.

Век не забудет этого дня прощанья Дуня... Ласко-

вая, чуткая, сердечная, как мать родная, любящая их тетья Леля оставляла их, чтобы принять более нуждающихся в ее ласке новых маленьких стрижек и сдавала их на руки строгой, суровой и требовательной Павле Артемьевне, передавшей в свою очередь своих подростков-среднеотделенок «педагогичке» Антонине Николаевне, воспитанницы которой уже были определены на места.

Таков был обычай N-ского приюта... И не маленьким рыдающим от горя расставанья девочкам было изменять его.

«Ангел – тетья Леля» оставляла их... И «страшная Пашка» принимала на свое попечение не любивших ее воспитанниц.

Перебирая в своей памяти эту незабвенную картину прощанья с обожаемой горбуньей, Дуня и сейчас ниже склоняется над лоханью, и слезы невольно туманят ее обычно ясные голубые глаза.

– Девоньки, новость! Такая новость! Такая! Сейчас помрете на месте! Рты разинете до ушей!

В облаке пара, наполнявшем прачечную, невысокая тонкая фигура Паши Канарейкиной и ее веснушчатое, с птицеобразным носиком лицо выглядит очень забавным...

Паша – это первая вестовщица и большая проныра среди своих среднеотделенок. Случалось ли ка-

кое-нибудь из ряда вон выходящее событие в приюте, происходила ли какая-либо неожиданность в хмурых коричневых стенах, Паша каким-то ей одной свойственным нюхом узнавала обо всем первая и в тот же час благовестила о «событии» по всему приюту.

И сейчас, появившись в неурочное время среди прачечной, Паша явилась непременно с новостью самого неожиданного свойства.

Дуня с Дорушкой, нянька Варварушка и две служанки с любопытством подняли от лоханей головы и воззрились на вошедшую.

– Ну, чего еще выдумала, непутевая? – деланно-сердитым тоном заворчала Варварушка. – Убежала небось из рукодельной, попадет на орехи от Павлы Артемьевны! Как пить дать, влетит!

– Ну, вот! Так вот тебе сейчас, как же, держи карман шире! Небось и Пашка, да и «сама»-то, все с ног сбились. Не до нас нынче. Такая новость! Такая!..

Врешь ты все, Паша, – усомнилась Дорушка и плечом поправила соскользнувшую на потную щеку прядь волос...

– Не я вру, сивый баран врет... А не любо, не слушай, коли вру... – усмехнулась ничуть не обидевшаяся Паша. – Уж эта умница-разумница наша Дорушка, скажет тоже! Все у нее вруньи, одна она только святоша!

– Да будет тебе! Говори кака-така новость! – осведомилась Варварушка, и глаза ее блеснули понятным любопытством.

– Ага, разлакомились! – торжествующе расхохоталась Паша. – Ну, так и быть, скажу: барышня к нам в приют поступает! Вот что! – И довольная произведенным эффектом действительно выдающейся новости, Паша обвела всех присутствующих сияющим взглядом.

– Ну? – не то недоверчивым, не то изумленным звуком вырвалось у всех.

– Вот тебе и ну! Ну – лошадям кричат, а мне, Пашеньке, за такую новость поклон и почтение! – засмеялась девочка и даже руки в боки уперла и притопнула ногой.

– Господи! Да неужто барышня? Дорушка, а Дорушка? Верно это? – зашептала Дуня, наклоняясь к подруге.

– А то, вру? – неожиданно выкрикнула Канарейкина. – Вот те Святая пятница. Сама Пятидесятница! Все святители! Провались я на месте, – затараторила с необычайной живостью девочка.

– Пашенька! Не божись! О том свете подумай! – остановила ее Варварушка.

– Да вы послушайте, новенькая-то какая! Сейчас пришла это она в рукодельную. Барышня, как есть ба-

рышня! Платье суконное по два с полтиной за аршин, не вру, ей-богу, локоны по плечам, ровно у херувима. А лицо – картинка. И в корсете, миленькие, сейчас помереть, в корсете. Совсем барышня! Сказывали, генеральская воспитанница. Си-ро-то-чка! А чулки на ногах-то шелковые со стрелками. Сейчас помереть...

– Да брось ты клясться! Что это! И без того верим! – строгим голосом остановила свою сверстницу четырнадцатилетняя Дорушка.

– Барышня, говоришь? Да что ж это в ремесленный приют, и вдруг барышня! – удивленно проронили губы рыжей Варварушки.

– Вот те, Христос свят, правда! – так и вскинулась снова Канарейкина. – Сами увидите. Ой, батюшки! Что ж это я? Не хватилась бы Пашка! Ой! Ой! Ой! Побегу я, девоньки! Счастливо оставаться! Барышне от вас передам поклон. Передать аль нет?

И, хитро прищурившись, Паша мотнула головой и исчезла, как призрак, в облаке дыма.

Глава вторая

Новенькую Дуня и Дорушка увидели только вечером.

Веселое мартовское солнце еще заливало залу, когда обе девочки, управившись с бельем и наскоро поужинав остывшим картофелем с маслом и селедкой, вышли в залу и сразу остановились как вкопанные.

Тетя Леля сидела за пианино и играла по обыкновению танцы.

Маленькие стрижки с визгом гонялись друг за другом по огромной комнате, а посреди залы, окруженная старшими и средними воспитанницами, стояла девочка лет четырнадцати в черном траурном платье, сшитом, бесспорно, у очень дорогой портнихи, с большим креповым поясом вокруг талии.

Платье доходило до щиколотки его владелице, но тонкие ручки девочки красивым движением подобрали его, и таким образом обнажились тонкие стройные ножки в шелковых чулках и безукоризненных лакированных ботинках.

Но не костюм, а лицо поразило девочек в этой странной, необыкновенной новенькой. Короткие пушистые кудри чудесной рамкой окаймляли это лицо, неправильное, резкое, скорее некрасивое со слишком

крупным ртом и широким мясистым носом. Но что-то было в этом лице такое, что сразу привлекало в нем каждого яркостью красок, огнем сверкающих, как темные вишни под дождем, огромных и прекрасных глаз, ослепительно-яркой улыбкой обнажавших белые, как сахар, зубы, в горделиво изогнутых прихотливым изгибом бровях, в алом румянце на молочно-белой коже, во всей фигурке, высокой и стройной, как молодой тополь в саду.

Девочка обеими ручками держала юбку, красиво округлив локти, и стройными ножками под музыку выделявала какое-то па.

– Раз! Два! Три! – отсчитывала она звонким, как хрусталь, голосом и медленно, легко и плавно кружилась на месте.

«Какая красotka!» – мелькнуло в мыслях Дуни, и она, не сговариваясь со своей спутницей Дорушкой, быстро метнулась вместе с нею в сторону танцующей девочки и примкнула к окружающим ее зрительницам.

Темнокудрая девочка сделала еще несколько кругов и остановилась на месте, сияя своими лучезарными глазами, сверкая необыкновенно красивой улыбкой.

– Какая прелесть! Какая душечка! – восторженно вскричала Феничка Клементьева, теперь уже старшеотделенка и кандидатка на учительские курсы.

– Вам нравится этот танец? Он называется «ras d'Espagne», его все нынче танцуют! Он – модный! – сказала новенькая и обвела толпившихся вокруг нее девочек своим сияющим взглядом.

– Какой душонок! Картинка! Прелесть! Красавишка! – вспыхивая до ушей, прошептала Феничка, влюбленными глазами глядя на девочку. – Я выбираю ее своим предметом, девицы. Слышите? – неожиданно обратилась она ко всем.

– Ха! Ха! Ха! – засмеялась теми милыми металлическими звуками новенькая, какие свойственны только детям да еще очень молоденьким девушкам. – Что это означает «выбирать предметом»? Объясните! – уже повелительным, властным голосом точно приказала она окружающим.

Черноглазая бойкая Паланя Заведеева выступила вперед и, непонятно краснея и смущаясь, стала объяснять новенькой, что значило на приютском языке выбирать предмет.

– Ага! Стало быть, за меня будут исполнять всю черную работу! Превосходно! – весело рассмеялась новенькая. – Я ничего не имею против, чтобы за меня стирали в прачечной и исполняли мое дело по уборке приюта. Я согласна! – и она кивнула головкой снова вспыхнувшей Феничке и закружилась снова по кругу, припевая в такт кружению: – Раз, два, три! Раз, два,

три!

Потом внезапно остановилась и, щуря сияющие черные глаза, проговорила, чуть запыхавшись от танца:

– Ну, довольно! Показала вам модные па! А то вы топчетесь в этом надоедливом вальсе и старой допотопной польке. Скучно это. А сейчас мне бы хотелось выбрать кого-нибудь себе в подруги. Только кого бы? Все вы в этих серых платьях на одно лицо.

Это уже была совершенная неожиданность для воспитанниц. Обычно новенькие поступали в приют робкими, пугливыми стрижками, в редких случаях среднеотделенками, но те и другие были застенчивы и тихи, как мыши. Они покорно дожидались, когда им предложат свою дружбу старенькие воспитанницы и не смели заикаться первыми о чем-либо подобном. Эта же, смелая, странно-уверенная в самой себе девочка как куклами распорядилась сейчас большими и маленькими приютками, чувствуя инстинктивно всю власть своего обаяния над ними. Она обвела зорким, смелым взором теснившихся вокруг нее и ее сверстниц, и почти взрослых старшеотделенок, вглядываясь внимательно чуть щурившимися глазами в каждое детское или молодое девичье лицо.

И странное дело! Каждая из воспитанниц N-ского приюта, двух его старших отделений, по край-

ней мере, теснившихся вокруг новенькой, чувствовала непреодолимое, жгучее желание в глубине сильно бьющегося сердечка быть избранной этой обаятельной девочкой, этой барышней с головы до ног, игрой слепого случая попавшей в коричневые стены ремесленного учебного заведения.

– Я! Меня выберите!

– Нет, меня!

«Я бы хотела быть вашей подругой», – казалось, говорили эти восхищенные детские и девичьи глазки. Феничка буквально из себя выходила от волнения.

«Я ее предметом выбрала. Обожать обещалась. Так ужели она подругу себе выберет другую!» – вихрем проносилось в хорошенькой головке юной мечтательницы.

– Она точно переодетая принцесса! – произнесла шепотом Паланя, и ее цыганские глаза, как ножами, врезались в глаза новенькой.

Высокая, вытянувшаяся до смешного за эти четыре года и без того нескладная фигура Вассы так и лезла вперед, вытягивая длинную шею, чтобы обратить на себя внимание «барышни».

Но блестящие глаза «переодетой принцессы» мельком пробежали по ней, задержались на мгновение на хорошеньком личике Любочки Орешкиной... скользнули равнодушно по шаловливо-лукавой мор-

дочке Они Лихаревой... Промелькнули мимо благо- разумных глазок Дорушки и внезапно остановились на лице Дуни. Дуня густо покраснела под взглядом кра- сивых и бойких глаз новенькой.

– Как тебя зовут? – услышала она неожиданно у своего уха звонкий, металлический голос.

И едва сумела принудить себя ответить чуть слыш- но, назвав свое имя.

– Ты мне нравишься, Дуня! – проговорила тем же уверенным голосом новенькая и жестом владетель- ной принцессы опустила ей руку на плечо.

– Дуняша, счастливица! – прошептала завистливо Феничка.

– Есть чему завидовать! – засмеялась искренне Оня Лихарева. – Наша Дуня тихоня, святая! А эта но- венькая – боец, видать по всему. На ней верхом ста- нет ездить, на Дуне! Ей-богу!

– Правда! Правда! – подхватила Васса.

– Бог с ней, с такой дружбой! Не ровни они! – про- бурчала Паланя, и цыганские глаза ее сердито сверк- нули.

Новенькая рассмеялась снова. И так заразительно весело, что все лица невольно при первом же звуке этого смеха растянулись в улыбке. Дорушка зашепта- ла на ухо Дуне:

– Ты... ничего... ты не бойся, Дуняша! Я тебя в оби-

ду не дам.

– А кто же ее обижать намерен? – внезапно делаюсь серьезной, произнесла новенькая. – Ее обижать не за что! Смотрите, какое у нее открытое, честное лицо! Какие добрые глаза! – И она осторожно, двумя пальцами подняла за подбородок заалевшее личико Дуни.

Непонятная самой Дуне радость разлилась по ее лицу... Сердечко забилося шибко-шибко. Хотелось броситься на шею этой «прелестной» барышне-новенькой и крепко расцеловать ее в розовые щечки.

– Румянцева! – послышался в эту минуту громкий призывный голос Павлы Артемьевны, неожиданно появившейся в зале.

Новенькая повернула было в пол-оборота свою отягощенную темными кудрями головку и тотчас же, как бы не замечая воспитательницы, обратилась к Дуне:

– Так мы будем друзьями с тобою?

– Да, – прошептала Дуня, – и Дорушка тоже, – прибавила она тихо.

– Кто это Дорушка? – нахмурила свои гордые бровки новенькая.

– Вот она! – И Дуня вытащила вперед Дорушку. – Мы с нею уже четыре года дружим! – произнесла она смущенно.

– Ладно! Все трое друзьями будем! – усмехнулась «барышня», пристальным, зорким взглядом обдав Дорушку с головы до ног.

– Румянцева! – снова настойчиво и громко прокричал резкий голос Павлы Артемьевны.

И быстрыми шагами подойдя к кругу, она, сердито нахмурившись, заговорила, обращаясь к новенькой:

– Что ж ты? Тебя зовут. Отчего ты не откликаешься?

Изящная фигурка барышни повернулась в сторону надзирательницы.

– Меня зовут Наташа, – твердо отчеканивая каждое слово, произнес металлический голосок, – Наташа Румянцева. Так ведь, кажется, у вас называют в приюте? Я не откликалась вам, думая, что фамилию Румянцевых может носить еще кто-нибудь из воспитанниц, а Наташа Румянцева – я одна! – с неуловимо гордым оттенком в голосе заключила девочка.

В первую секунду глаза Павлы Артемьевны расширились и стали совсем круглыми, как у птицы, а губы побелели от гнева.

Она с минуту смотрела в самые глаза новенькой, глаза, отвечавшие ей невинным, ясным и невозмутимым взглядом, в то время как у самой надзирательницы багровый румянец то и дело все приливал и приливал к лицу.

Тонкая, едва уловимая усмешка заиграла на губах

Наташи Румянцевой.

И вот буря разразилась внезапно...

– Ступай переодеваться... Сию минуту... Нечего щеголять как барышня!.. – закричала Павла Артемьевна, поймав, очевидно, эту тонкую, едва уловимую усмешечку. – Марш! Серое платье и холстинковый передник... Живо... И помни: здесь надо оставить твои манеры барышни... Здесь этого не потерпит никто!

И схватив за руку новенькую, Павла Артемьевна резким движением вывела ее из круга и слегка подтолкнула по направлению дверей.

На прелестном ярком личике Наташи не было ни тени протеста или недовольствия.

Но черные глаза ее тихо смеялись, насмешливо сверкая под стрелами длинных ресниц.

Глава третья

Весенняя ночь тихо спустилась над коричневым домом. Крепко спит под ее прозрачной дымкой ремесленный приют. Спят воспитанницы, надзирательницы, рыжая нянька Варварушка, спят другие служанки... Все тихо, безмятежно заснуло, пользуясь наступившей тишиной...

Белесоватый полумрак мартовской ночи серым призраком вползает в огромный дортуар.

Ряды постелей... Неподвижные головки мирно заснувших девочек, и тишина... Глубокая, мертвая тишина. Изредка только нарушается она сонным бормотаньем или вздохом, приподнявшим во сне юную грудь.

На крайней постели, у двери, неподвижно лежит стройная фигурка «барышни-приютки».

Вот уже около месяца живет в приюте Наташа Румянцева, а все не может привыкнуть ни к приютским порядкам, ни к новой жизни. Тяжела эта жизнь для девочки, выросшей и проведшей свое детство в довольстве и холе... Правда, сверстницы-подруги и кое-кто из взрослых старшеотделенок балуют Наташу, исполняют за нее «грязную» черную работу по прачечной и уборке приюта незаметно, тишком от строгой Павлы

Артемьевны шьют за нее в рукодельной, в то время как она ковыряет что-либо «для отводки глаз» во время рабочих часов иглою.

Но тем не менее и эта облегченная ей чуть не втрое приютская жизнь не под силу ей, «барышне», как ее прозвали воспитанницы.

Не под силу подниматься с петухами, не под силу долгие однообразные часы проводить на одном месте за работой, не под силу лежать на этой жесткой, гадкой приютской постели и есть простую грубую пищу приютского стола.

Но больше всего не под силу переносить ей, Наташе, окрики и придирки Павлы Артемьевны. С первого же часа поступления Наташи в приют надзирательница средних возненавидела свою новую воспитанницу.

Павла Артемьевна, властная и гордая от природы, любила беспрекословное подчинение и слепое послушание себе во всем. Всякое неповиновение, проявление независимости и воли в девочке-воспитаннице раздражало ее. А в Наташе Румянцевой этой воли и независимости было больше, чем во всех остальных приютках, вместе взятых. И глухая борьба разгорелась между надзирательницей и девочкой. Особенно допекала Павлу Артемьевну эта самодовольная, яркая улыбка Наташи, насмешливый взгляд смеющихся глаз и локоны... Особенно последние...

О, эти локоны! Прелестной, живописной рамкой обрамляющие подвижное, неправильное, но очаровательное личико, они далеко не соответствовали уютской скромной одежде и положению воспитанницы учебно-ремесленного заведения. Но приказать остричь среднеотделенку было немыслимо.

Стригли только маленьких. Старшим же и средним обрезали волосы исключительно по болезни или же в наказание А наказывать Наташу было не за что. Несмотря на природную веселость, живость и шаловливую бойкость, она не делала ничего такого, что не допускалось бы правилами приюта. Правда, шила Наташа из рук вон плохо, пела на клиросе очень неохотно и постоянно перевирала слова тропарей и церковных молитв, но зато прекрасно шла по научным предметам, зная гораздо больше того, что полагалось знать старшеотделенкам. И как ни старалась Павла Артемьевна «поймать» Румянцеву, ей это не удавалось.

Поминутные окрики, замечания и бранные слова сыпались дождем на Наташу, но по-прежнему безмятежно было оригинальное, подвижное личико новенькой, и по-прежнему чуть заметно насмешливо смеялись ее черные, как черешни, глаза.

Ночь... Тихо вздыхает рядом костлявая Васса... В головах ровно дышит голубоглазая Дуня, Наташина любимица... Дальше благоразумная, добрая и спокойная Дорушка... Все спят... Не спится одной Наташе. Подложив руку под кудрявую голову, она лежит, вглядываясь неподвижно в белесоватый сумрак весенней ночи. Картины недалекого прошлого встают светлые и мрачные в чернокудрой головке. Стучит сердце... Сильнее дышит грудь под напором воспоминаний... Не то тоска, не то боль сожаления о минувшем теснит ее.

Вспоминается то далекое светлое... Как это было недавно и в то же время давно!..

Большой дом генерала Маковецкого стоит в самом центре обширной усадьбы «Восходного»... А рядом, между сараями и конюшнями, другой домик... Это кучерская. Там родилась малютка Наташа с черными глазами, с пушистыми черными волосиками на круглой головке, точная маленькая копия с ее красавца-отца. Отец Наташи, Андрей, служил уже девять лет в кучерах у генерала Маковецкого... Женился на горничной генеральши и схоронил ее через два месяца после рождения Девочки.

Побежали годы... Овдовевший Андрей все силы своей любви к жене перенес на девочку... Выписана была его мать из деревни для ухода за внучкой, и под ее призором росла и хорошела, что белый цветик в поле, хорошенькая девочка Наташа.

Было яркое весеннее утро... В огороде Восходного сажали на грядках зелень... Положили сорную траву, убрали гряды. Бабушка и Наташа, двухлетняя малютка с сияющими глазками, приплелись поглядеть на работу женщин. Серебристый смех девочки достиг до чопорного дома Маковецких. Вышел генерал в сюртуке с пестрыми погонами «отставного», покончившего свою службу служаки, вышла генеральша в теплом бурнусе, увидели Наташу и сразу очаровались прелестной девочкой.

Позвали в дом с бабушкой, угощали конфетами, шоколадом; картинок, безделушек разных надарили, кусков шелка и бархата на платье... Заласкали, замиловали Наташу...

А вечером, как поехал Андрей объезжать поля с генералом, стал приставать барин к любимцу кучеру:

– Отдай нам в дом твою девочку, Андрюша, мы ее как барышню воспитаем. Видишь, бог нас с генеральшей детьми не благословил. А мы ее вырастим, всяким наукам выучим... Замуж отдадим хорошо, снабдим приданым. Уж очень она у тебя уродилась приго-

жая... да веселенькая... точно принцесса. Не место ей в твоей убогой кучерской, Андрей. А тебе запрета нет... Приходи взглянуть на дочку во всякое время... И к себе бери ее на побывку, когда захочешь. Гуляй с нею вместе, катайся... Не отвыкнет она от тебя, а для нас с генеральшей светлым солнышком будет. А? Андрюша? Согласен?

Недолго думал Андрей. Уж очень завидной показалась ему доля, выпадавшая его Наташе... Барышней станет... образованной... богатой... Да можно ли такой случай упускать.

И отдал в генеральский дом свою Наташу.

А годы не идут, а мчатся...

Вспоминает огромный, великолепный дом Маковецких Наташа... Всюду ковры... хрусталь... бронза... Роскошная, удобная старинная мебель... бархатные портьеры на дверях, такие же на окнах. Пол гладкий как зеркало... паркетный... В деревне живут, точно в городе... Со всеми удобствами! Роскошно... богато...

У Наташи бонна немка. Гувернантка француженка... Учитель музыки, учитель танцев. Из ближнего губернского города наезжают по три раза в неделю... Русской грамматике, истории, арифметике учит учительница из женской губернской гимназии. За тою Андрей ежедневно ездит в город: привозит и отвозит назад, благо недалеко, верст десять туда и обратно.

Батюшка отец Илиодор, настоятель сельской церкви, находящейся в версте от Восходного, преподает Закон Божий Наташе. Все это зимою, а летом генеральша Мария Павловна ездит лечиться на теплые воды и возит с собой Наташу. Потом путешествует по Европе.

В девять лет девочка уже видит «заграницу»... Знает чопорный Берлин... Веселый Париж... Высокие Альпы... Изрезанную каналами Венецию, «водяной город»... и немеет от восторга при виде Адриатического моря...

Генеральша души не чаёт в своей «Наточке». Всем пылом своего стареющего сердца привязалась она к девочке.

Отца Наташа видит мало и редко... Сам Андрей не знает, как держать себя с дочкой-барышней... Смущается, будто робеет даже. Но Наташа любит отца. Любит его открытое лицо нестареющего красавца, его мозолистые руки, его зычный голос. Любит Наташа до безумия птицей лететь в быстрой тройке, управляемой отцом, по покрытым снегом полям Восходного... Рядом француженка m-lle Arlette, живая, молоденькая, веселая, как ребенок... Впереди отец... Стоит на передке тройки, гикает, свищет на быстрых, как ветер, коней.

В корню идет Ураган, Наташин любимец... Девоч-

ка часто бегает на конюшню, кормит его сахаром... Болтает с отцом, Андрей любит подрастать дочуркой и хочет и не смеет, смущается приласкать эту изящную, нарядную барышню, казалось, и рожденную для того только, чтобы все любовались ею...

Зато здесь, в тройке, управляя ею с редким мастерством, Андрей ближе к дочери, чем когда-либо... Оба сливаются в безумном экстазе восторга, быстроты и радости бешеной скачки, среди родных сердцу, пленительных картин русской зимы.

– Хорошо ли, дочка? – оглядываясь на девочку, кричит кучер, и его глаза, такие же черные, яркие и сверкающие, как у Наташи, любовно сияют навстречу восхищенному взору ребенка.

– Ах, папаша! – может только выговорить она, захлебнувшись от счастья.

Возвращаются домой возбужденные, розовые от мороза, радостные, свежие...

У Маковецкого гости... Соседи помещики... знакомые из города...

Среди них нередко наезжала в Питер с далекого Кавказа подруга генеральши княгиня Маро, одинокая богатая вдова, обожающая Наташу, как другая вряд ли бы и могла любить собственное дитя.

– Natalie, – говорит Марья Павловна, – сыграй нам на рояле... А потом потанцуй... Менует и русскую...

Mlle Arletta vous allez jouer les dances...¹

Сначала Наташа играет... Потом танцует. Мило, изящно, грациозно... Генерал с генеральшей в восторге, гости в восхищении. На прелестную девочку сыпятся похвалы. Ей тонко льстят, как настоящей дочери богачей Маковецких и богатой наследнице...

И потом, она на самом деле очаровательна, эта черноглазая Наташа! Кто скажет, что отец ее кучер, мать была горничною. Она прирожденная принцесса, эта грациозная девочка с кудрями Миньоны... Целый дождь похвал сыпется на Наташу... Она принимает их как должную дань со снисходительной улыбкой. Она так привыкла, чтобы окружающие восхищались ею. Генеральша целует, ласкает ее. Целует и ласкает княгиня Маро.

– О, если бы мне отдали тебя, я бы сделала тебя настоящей княжной, – шепчет княгиня Маро.

И новые радости льются потоком на Наташу: сюрпризы, подарки, новые костюмы, от которых и так ломаются шкалы.

– Прелестное дитя! Очаровательный ребенок, чернокудрая принцесса! Сказочная царевна! Прелесть! – слышится изо всех углов барской гостиной. И от всех этих похвал кружится темная головка, и недетская самоуверенность, самодовольное тщеславие затопля-

¹ Вы сыграете танцы. (фр.)

ют до краев юную душу.

Снова лето... На этот раз на берегу Женевского озера проводят его они – генеральша, Марья Павловна, Арлетта и Наташа.

Один особенно яркий и солнечный день особенно запал в сердце девочки. Трагический день... Из России пришло письмо от генерала. У них несчастье... Ужас... Непоправимое горе... Красавец Андрей, объезжая новую тройку диких коней, до которых генерал Маковецкий большой любитель, был выброшен на всем скаку взбесившимися лошадьми и умер на месте, ударившись о телеграфный столб головой. Его уже схоронили. Надо приготовить Наташу... С первых же слов по бледному лицу своей благодетельницы Наташа поняла, в чем дело, и с отчаянием не привыкшего сдерживать свои порывы избалованного ребенка бурно отдалась горю.

– Где мой папаша! Я хочу к папаше! – кричала она неистово на весь отель и рвала волосы и билась головой об пол. Генеральша совсем растерялась.

Но тут пришла на помощь молоденькая Арлетта.

– Ее надо развлекать. Natalie! Il tout la jolument distraire! – посоветовала она испуганной Марье Павловне. Та стремительно ухватилась за эту мысль.

Наташу повезли в Женеву, показали ей театр марионеток... потом отправились в Париж, возили ее в

оперу, в знаменитую Comedie Francaise, в первые же дни открытия сезона... Оттуда прокатились до Ниццы... И только когда горе девочки притупилось среди массы разнородных впечатлений, Маковецкая вернулась в Россию.

Стоя у холмика отцовской могилы, Наташа уже тщетно старалась вызвать слезы при воспоминании об отце... В ее душе жил еще образ молодца кучера, управлявшего тройкой, а с ним рисовалась быстрая скачка по белым полям, снежная пыль и звонкий голос, пониженный до шепота, любовно спрашивающий ее:

– Хорошо, дочка?

А мысль о мертвом отце, лежавшем в могиле, не уживалась как-то в душе впечатлительной девочки. Зато, когда наступила зима и земля побелела от снега и веселая Арлетта опрометчиво предложила своей воспитаннице проехаться в тройке, девочка разрыдалась неутешными слезами и долго, страстно и отчаянно рыдала, целые сутки, напугав весь дом.

Горе не приходит одно... За ним обычно следует и другое...

Через два года после смерти Андрея генерал Маковецкий внезапно скончался от разрыва сердца.

Наташа никогда не забудет того страшного призрака неизбежного, что вползло с той минуты в роскош-

ные комнаты Маковецких.

Большой парчовый гроб... Завешанные прозрачные зеркала в гостиной... Тропические растения в кадках, принесенные в огромный зал из оранжерей... Дребезжащий старческий голос отца Илиодора... Дамы и мужчины в черном... Сама генеральша с трясущейся, поседевшей за эти сутки головой, обезумевшая от горя, в глубоком трауре, с помутившимися глазами, все это сплелось в один сплошной кошмар. Этот кошмар в глазах испуганной недоумевающей девочки сгустился и надвинулся еще страшнее, когда сраженная ударом генеральша через две недели после похорон лежала в том же самом зале, среди завешанных зеркал и тропических растений, где полмесяца тому назад покоился в парчовом гробу ее муж.

Похоронили и генеральшу... Со всех сторон понаехали наследники, дальние и близкие родственники Маковецких. Косо и злобно поглядывали они на осиротевшую Наташу. Последняя точно не вполне сознавала всю тяжесть своего положения.

Она то горько плакала у гроба Марьи Павловны, то неожиданным, как будто любопытным взглядом оглядывала все эти незнакомые лица слетевшихся голодной стаею наследников. Она была спокойна за будущее, Наташа... Сколько раз прежде благодетельница генеральша и сам Маковецкий говорили ей:

– Ты, Наточка, не бойся. Будешь богатой девушкой, мы тебя не оставим!

Ей было бесконечно жаль дорогих покойников, но избалованная, изнеженная девочка больше их любила себя...

Впереди была еще целая жизнь... Надо было подумать о том, с кем и где проведет она ее.

Ужасный вечер!

Наташе показалось, что жизнь окончена, что впереди же один сплошной, непроглядный мрак, когда несколько дней спустя к ней в спальню вбежала испуганная Арлетта.

– Natalie! – в ужасе залепетала француженка. – Бедное дитя! Ты – нищая! Они не сделали духовного завещания... Смерть застигла их слишком внезапно... Все богатство экселенц переходит к законным наследникам... А они... они... бедная моя птичка, отдадут тебя в приют! – И до безумия любившая свою воспитанницу парижанка разрыдалась горькими, неудержимыми рыданиями.

Наташа, еще плохо сознавая всю важность такого известия, плакала, вторя своему другу.

Потом пошла новая жизнь...

Отъезд Арлетты... Сборы Наташи... Какая-то чопорная дама в глубоком трауре, одна из многочисленных племянниц покойной генеральши, долго и по-

дробно поясняла Наташе о том, что вся ее жизнь в генеральском доме была одной сплошной печальной ошибкой... Не место дочери кучера быть барышней... Напрасно только Маковецкие выбили ее из колеи.

Потом, коля ее своими жесткими глазами, дала ей понять, что выхлопотала ей поступление в приют, куда ее и отвезут на днях из Восходного...

И странное дело! Эта новость скорее обрадовала, чем огорчила Наташу.

Приют!.. Там много девочек-сверстниц. Ее будут там любить, лелеять! Ведь она должна быть интересна для них. Они – бедные, ничего не видавшие на своем веку крошки. Она же, Наташа, объездила полмира и может им многое рассказать... Ах, ей всегда так недоставало детского общества – Наташе! Она всегда росла и вращалась среди больших, а тут – дети, сверстницы, девочки-однолетки! Это куда приятнее и радостнее, нежели жить у чопорной генеральской племянницы.

О да! Конечно, новая жизнь будет полна захватывающего интереса.

И Наташа бесстрашно, почти радостно приняла неожиданную новость о своей дальнейшей судьбе...

Глава четвертая

– Сними локти со стола! Что за манера сидеть вразвалку! Покажи твой платок... Что это? Метка это или червяк?

Мартовское солнце светит ярко. Оно освещает и гневное, раздосадованное лицо Павлы Артемьевны и тонкое, улыбающееся личико Наташи.

– Что это? Ты, кажется, смеешься? Дерзость или глупость позволяешь ты, моя милая, себе по отношению меня? И потом, изволь встать, когда с тобой говорит начальство. Или ты все еще воображаешь себя генеральской наследницей? Пора выкинуть из головы эти бредни!

Тонкая, изящная фигурка «барышни» (Наташу с первого дня появления здесь прозвали так воспитанницы) поднимается нехотя со скамейки. Кудрявая головка встряхивает всеми своими черными локонами, завязанными лентой у шеи, и они живописным каскадом рассыпаются по плечам.

– Ты с ума сошла, моя милая! – кричит снова Павла Артемьевна, выходя из себя. – Ты, кажется, не соблаговолила причесаться нынче утром. Ступай сейчас же к крану и изволь пригладить эти лохмы!

Черные лукавые глаза прячутся за лучами ресни-

чек, таких густых и необычайно прямых. Стройная фигурка в сером холстинковом платье и розовом переднике направляется гордой, медленной поступью к двери рабочей комнаты.

– Иди скорее! Нечего выступать как принцесса! – шлет ей вдогонку рассерженная надзирательница.

Наташа ускоряет шаг, но при этом умышленно или нет с ноги девочки спадает шлепанец. Румянцева возвращается и поднимает его с невозмутимым спокойствием.

Воспитанницы трясутся от усилия удержать предательский взрыв смеха.

По беленькому личику Фенички расползаются багровые пятна румянца. Сегодня утром она тихонько пробралась в дортуар среднеотделенок, взяла платье своего кумира Наташи, выутюжила его в бельевой, наредила до глянца туфли Румянцевой... Потом, в часы уборки, таскала тяжелые ведра и мыла лестницу, исполняя работу, возложенную надзирательницей на новенькую. Теперь ей до боли хочется, схватить рукоделие Наташи и наметить за Румянцеву злополучный платок.

Но рядом с Наташей сидит тихоня Дуня Прохорова... С другой стороны благоразумная Дорушка... Это две примерницы. Они ни за что не согласятся передать Наташину работу ей, Феничке, а на ее место по-

ложить искусно выполненную ею, Феничкой, метку.

– Бедная... миленькая... хорошенькая... пригоженькая! Заела ее вовсе волчиха Пашка! – шепчет Феничка на ухо своей подруги Шуры Огурцовой.

– Да уж ладно, ты с твоей Наташкой совсем из кожи вылезла! – отмахнулась та.

Действительно, благодаря Наташе Феничка совсем изменилась. Перестала обожать доктора, перестала читать глупейшие романы. Наташа... С Наташей... О Наташе, только и речи о ней. И к тому же сама Наташа – ходячая книга. Как умеет она рассказать и о заморских краях, и о синем море... и о горах высоченных до неба... и о апельсиновых и лимонных, да миндальных деревьях, что растут прямо на воле, а не в кадках, как в Ботаническом саду, куда ежегодно летом возят приюток. Феничка так замечталась о рассказах своего «предмета», что не заметила, как быстро распахнулась дверь рабочей и... и громкий, неудержимый хохот потряс обычную тишину рукодельных часов.

На пороге комнаты стоит Наташа. Нет, не Наташа даже, а что-то едва похожее на нее. Гладко-гладко прилизанные волосок к волоску кудри, точно смазанные гуммиарабиком, лежат как приклеенные к голове. Куцая, толстая, тоже совершенно мокрая косичка, туго заплетенная, торчком стоит сзади.

И на этом сразу как будто уменьшившемся в объ-

еме личике выдаются огромные черные глаза, сверкавшие юмором, влажные от смеха...

Павла Артемьевна даже рот раскрыла от неожиданности. И словно задохнувшись, не могла выговорить ни слова в первый момент появления шалуньи. И только после минутной паузы взвизгнула на всю комнату:

– Ага! Ты паясничать! Смешить! Забавлять воспитанниц! Мешать работать в часы рукоделий! Хорошо же, ступай в угол – это первое; а второе – запомни хорошенько, на носу своем заруби: еще одна подобная глупая выходка – и... и я попрошу разрешения у Екатерины Ивановны остричь твои глупые лохмы под гребенку.

– Это нельзя сделать! – произнес спокойно звонкий голос Румянцевой.

– Молчи! Молчи! Наташа! Ах! Наташа! – зашептали испуганно с двух сторон Дорушка и Дуня, дергая ее за передник.

Лицо Павлы Артемьевны побагровело.

– Что ты сказала? – едва сдерживаясь, проговорила она.

– Я сказала, что этого нельзя сделать! – произнесла так же спокойно девочка. – Ведь стригут только малышей-первоотделенок... Или в наказание... А я ничего дурного не сделала, за что бы надо было наказывать

меня.

– Но ты дерзкая девчонка... и будешь наказана! – совсем уже не владея собою, произнесла надзирательница. – Еще один проступок, одна дерзость, и ты лишишься твоих бесподобных кудрей!

Последняя фраза прозвучала насмешливо, и ярко-розовое личико Наташи побледнело как-то сразу. Самолюбивая, избалованная девочка не прощала обид...

– Я отплачу этой фурии, – произнесла она сквозь стиснутые зубы, проходя мимо Фенички с видом оскорбленной королевы в угол за печкой, где уже по своему обыкновению находилась вечно наказанная шалунья Оня Лихарева, показывавшая уже издали в улыбке свои мелкие мышинные зубки и незаметно делая головою Наташе какой-то едва уловимый знак.

В руках у Они был чулок. Она вязала его. Всем наказанным полагалось вязать чулки, так как, стоя в углу или у печки, было трудно шить или метить...

– Опять спустила петлю... Павла Артемьевна, позвольте к Дорушке или к Вассе подойти... Я сама не умею поднять... Тут что-то напутано больно! – жалобным, деланно-печальным тоном прозвучал голос Они Лихаревой.

Павла Артемьевна сердито дернула головой, взглянув поверх пенсне на шалунью и презрительно под-

жимая губы, проговорила:

– Бесстыдница! Не срамилась бы лучше. Попроси кого-нибудь из стрижек тебя научить петли поднимать! Леонтьева Маруся, покажи этой дылде...

Маленькая девятилетняя карапузик-девочка покорно встала со своего места и подошла к наказанным.

Однако ей не пришлось исполнить приказания надзирательницы.

С быстротою молнии поднялась со своего места Дорушка и стремительно пробежала с несвойственной ей живостью к печке.

– Павла Артемьевна! Позвольте мне! Я покажу Оне.

После любимицы своей рыженькой Жени Панфиловой и рукодельницы Палани Павла Артемьевна любила больше всех Дорушку. Пренебрегая искусницей Вассой с того самого времени, как, будучи еще малышом-стрижкой, Васса сожгла работу цыганки Заведевой, суровая надзирательница отличала великолепно, не хуже Вассы работающую Дорушку.

А благонравие и благоразумие последней еще более привязывали Павлу Артемьевну к девочке.

Поэтому Дорушке не было отказа ни в чем.

– Позвольте? – еще раз почтительно осведомился звонкий голосок Ивановой.

– Уж бог с тобой! Показывай! – согласилась рукодельница.

Дорушка степенно поправила ошибку в вязанье. Они и снова вернулась на свое место.

– Скучно стоять так-то! Давай клубки подбрасывать, чей выше полетит? – предложила шалунья Оня своей соседке и товарищу по несчастью. И в тот же миг в углу за печкой началась легкая, чуть слышная возня. Выждав минуту, когда Павла Артемьевна, повернувшись спиной к наказанным, стала внимательно разглядывать растянутую в пальцах полосу вышивки у старшеотделенок, Оня с тихим хихиканьем подбросила первая свой клубок.

– Выше нашей колокольни! – произнесла она, скорчив при этом одну из уморительных своих гримасок.

– Выше самой высокой горы в мире! – прошептала ей в тон Наташа. И ее клубок взвился и полетел как воздушный шар к потолку.

– А мой выше неба! – и снова Онин клубок разлетелся кверху. За ним следили напряженным взглядом исподлобья глаза ста двадцати воспитанниц, для виду склонившихся над работой. Павла Артемьевна, не замечая ничего происходившего у печки, все еще продолжала рассматривать полосу вышивки на конце стола старшего отделения.

Вдруг что-то белое, крупное и крепкое, как незрелое яблоко, промелькнуло перед ее глазами и больно ударило по лбу склонившейся над пальцами над-

зирательницы.

– О-о! – стоном ужаса пронеслось по комнате.

– А-а-а! – недоумевающе и грозно протянула рукодельная и быстро повернула голову в сторону наказанных. Это была страшная минута...

Бледная, как изразцы печи, у которой она стояла, Наташа Румянцева с дико и испуганно расширенными глазами безмолвно смотрела на Пашку. Выбившиеся пряди волос, успевшие выпорхнуть из прически и завиться еще пышнее и круче, упали ей на лоб, и испуганное, пораженное неожиданностью лицо казалось еще бледнее от их темного соседства.

Дрожащие губы что-то шептали беззвучно.

Павла Артемьевна, побагровевшая от ярости, плохо понимала, казалось, весь только что происшедший здесь ужас. Она стремительно подскочила к Румянцевой, подняла руку и изо всей силы дернула девочку за волосы, за черную отделившуюся и повисшую над ухом курчавую прядь...

– А... а... – прошипела она, – ты так-то! А-а... а! Клубком бросаться в меня... в твою наставницу... Ты... дрянная... дерзкая... ты!..

И она вторично протянула руку к волосам Наташи...

Но тут совсем неожиданно черная головка метнулась в сторону... И за минуту до этого испуганное и растерянное лицо внезапно преобразилось.

Гнев, гордость и оскорбленное достоинство отразились в помертвевших чертах Наташи... Огоньки ненависти и угрозы загорелись в черных глазах.

– Не смеее... вы не смеее меня драть за волосы... Этого нельзя... Я этого не позволю! – истерическими нотками крикнул дрожащий и рвущийся молодой голос.

И тоненькая, обычно слабая рука подростка с силой впиалась в пальцы наставницы.

– Ты с ума сошла! – не своим голосом взвизгнула Павла Артемьевна. С пылающим лицом, сверкая глазами и трясясь от злобного волнения, она стояла с минуту безмолвно, меря взглядом осмелившуюся так грубо защищать себя воспитанницу.

В рабочей комнате стало тихо, как на кладбище... Девушки и дети с ужасом, разлитым на лицах, сидели ни живы ни мертвы во время этой сцены.

Прошла добрая минута времени, показавшаяся им чуть ли не получасом, пока Павла Артемьевна пришла в себя и обрела дар слова.

Какой-то крадущейся, кошачьей походкой снова приблизилась она к виновнице происшествия и затаила своим пониженным до шепота, шипящим голосом:

– Так-то, миленькая! Не скажешь ли, что нечаянно сделала эту гнусность? И солжешь... солжешь! На-

рочно сделала это... И за волосы драть не смею, говоришь?.. И прекрасно! И прекрасно! Зато совсем срезать их смею... Публично! Понимаешь?.. В наказание... У Екатерины Ивановны этого наказания потребую... Понимаешь ли? Или лохмы твои тебе обстригут... Или... или я ни часа не останусь здесь в приюте. Ни часа больше. Поняла?

Тут она повернулась к по-прежнему бледной, как мертвец, Наташе спиной и почти бегом бросилась к двери, роняя отрывисто и хрипло на ходу:

– Не потерплю, не потерплю... или она наказана будет, или... или... – И стремительно скрылась за дверью.

Лишь только ее крупная фигура исчезла за порогом рабочей комнаты, воспитанницы старшие и средние стремительно повскакали со своих мест и окружили Наташу.

– Милая... родненькая... бедняжечка Наташа! Да как же это тебя угораздило в нее попасть! Господи, вот напасть-то какая! Да что же это будет теперь! – шептали они, с явным состраданием глядя на девочку.

Сама Наташа казалась гораздо менее взволнованной всех остальных... Отстранив от себя рыдающую Феничку, она громко произнесла, обращаясь к подругам:

– Все это вздор и глупости! Никто меня не посме-

ет пальцем тронуть. Что я за овца, чтобы дать себя остричь! Челуха! За что меня наказывать?.. Я не виновата... И оправдываться не стану... И вы не смейте! Слышите, не смейте заступаться за меня! Так понятно, что не нарочно это вышло. О чем тут говорить?

И, пожав плечами, она отошла к столу и как ни в чем не бывало принялась за работу.

Тихо перешептываясь и вздыхая, принялись за прерванную работу и остальные воспитанницы.

Вошедшей получасом позже Павле Артемьевне не пришлось унимать, против ожидания, взволнованных «бунтовщиц».

– Тихо? Тем лучше, – зловеще прозвучал ее голос с порога, и, обведя торжествующим взором воспитанниц, она остановила глаза на Наташе и произнесла, отчеканивая каждое слово: – Наталья Румянцева! Ты по приказанию госпожи начальницы будешь острижена завтра после общей молитвы в наказание за дерзость и непослушание по отношению меня.

И снова взгляд, полный торжествующей радости, бежал лица испуганных воспитанниц.

Тихое, испуганное «ах» сорвалось одним общим вздохом у девушек.

И взоры всех с сожалением и горечью обратились к Наташе.

Ни один мускул не дрогнул в лице девочки. Только

черные глаза ответили надзирательнице долгим, пристальным взглядом, а побелевшие губы произнесли чуть слышно:

– Этого никогда не будет!

И черная головка низко склонилась над рабочим столом.

Глава пятая

– Этого никогда не будет, – произнесла еще раз мысленно девочка, когда после вечерней молитвы воспитанницы поднимались парами по лестнице в дортуар.

В спальне среднеотделенок было особенно тихо в этот злополучный вечер. Воспитанниц перед ужином водили в баню, и они теперь в белых головных косыночках на головах и в теплых байковых платках, покрывающих плечи, сновали по обширной спальне и прилегающей к ней умывальной комнате и по длинному, полутемному коридору, тихо шепотом делясь между собою впечатлениями минувшего дня.

Павла Артемьевна, все еще не успокоенная после утреннего происшествия, ссылаясь на головную боль, раньше обыкновенного ушла в свою комнату, приказав дежурной воспитаннице притушить в обычное время лампу.

Но лишь только она исчезла за дверь спальни, чуть слышное до сих пор шушуканье перешло в оживленную горячую болтовню.

Из дортуара старших прибежала Феничка и со слезами кинулась на шею Наташи.

– Милая моя... сердце мое... золотенькая... краса-

винькая моя... куколка! прелесть моя бесценная! До чего мы дожили! Как нас еще земля-то терпит! Ах, ты, господи! Тебя, мою радость, накажут? Тебя, золотенькую мою Наташеньку! Ах, Создатель Господь! Ах, Владычица – Царица Небесная! – причитала она тонким жалобным голоском и, разливаясь слезами, целовала руки и платье своего «предмета».

У той на ее подвижном личике давно исчезли последние следы волнения... Уже по-прежнему лукаво блестели и щурились черные влажные глаза и сверкали в улыбке белые зубы...

– Ну, пошла-поехала, – отмахиваясь рукою и слегка отталкивая от себя Феничку, произнесла Наташа, – терпеть не могу, когда по мне точно по покойнику воют... Словно бабы в деревне!

– Да как же, Наташенька? Да ведь завтра накажут тебя, остригут, принцесса моя, красавица чернокудрая! – снова затянула Феничка, театральным жестом заламывая руки...

– Ха-ха-ха! – рассмеялась Наташа. – И откуда только, из какого романа ты такие глупые слова выудила?.. «Принцесса чернокудрая»! Глупышка, дурочка ты, Феничка, даром что взрослая девица!

«Взрослая девица» вскинула обиженным взглядом свои темные глазки на «обидчицу» и затянула снова после короткого молчания:

– Вот ты всегда так... Вот! Тебя больше жизни любят, больше солнышка красного, зоренька моя, бриллиантовая звездочка, царевна моя ясная, а ты... И глядеть не хочешь! И насмехаешься... И высмеиваешь. Стыдно тебе, Наташенька! Бесчувственная ты! Сердце у тебя мраморное. Вот что! Никого ты не любишь! Да!

Сверкающая весельем улыбка мигом сбежала с лица Наташи.

– Вот неправда! – слегка усмехаясь и мгновенно бледнея от волнения, произнесла всеобщая любимица. – Я не холодная, не бесчувственная. Только люблю-то я тех, кто искренен, кто прост со мною. А ты что ни слово, то книжными выражениями сыпешь... И сама, часто не понимая, мне такие странные и глупые фразы говоришь. А...

– Да коли я люблю тебя... обожаю... Предметом своим выбрала... – оправдывалась вся красная от смущения Феничка.

– А доктора Николая Николаевича ты не обожала разве? А батюшку отца Модеста? А Антонину Николаевну, до меня еще, когда была в «средних»? А барышню, что к начальнице ходит, массажистку? А? Не обожала, скажешь? – И Наташа насмешливо и лукаво смотрела в заалевшее от смущения Фенино лицо.

– Вот уж и сплеток от других наслушалась! – про-

изнесла Клементьева, краснея до слез. – А я-то тебе помогаю, работу твою справляю за тебя...

– А разве я просила тебя об этом? – И лукавые черные глазки стали совсем уже насмешливыми.

Феничка окончательно потерялась, пристыженная перед лицом сорока младших воспитанниц. Она сердито взглянула на своего кумира и вдруг неожиданно всхлипнула и выбежала, закрыв лицо передником, из дортуара.

– Хорошо сделала, что ушла! – засмеялась Оня Лихарева. – Надоедливая она до страсти. Ноет да лижется все время! Куда как хорошо!

– Небось теперь уборку за тебя делать не станет! – усмехнулась Паша Канарейкина, просовывая вперед свою лисью мордочку.

– Пускай себе. Другие найдутся. Сделают... – беспечно усмехнулась Наташа.

– Слушай, Румянцева, а как же завтра-то? Ведь стричь будут публично. При всем приюте! Эка срамота! – и костлявая нескладная фигура Вассы выросла перед Наташиной кроватью, на которой расселось теперь несколько девочек с самой хозяйкой во главе.

– Ну, нет, дудки! Стригут овец да баранов, а я не дамся! – расхохоталась беспечно девочка. – Да бросьте все это «завтра» вспоминать, девицы... Лучше сядем рядком да поговорим ладком. Хотите, рас-

скажу про Венецию лучше?

– Расскажи! Расскажи! – зазвучали вокруг Наташи оживленные голоса.

– Прекрасно. Молчите и слушайте. Дунюшка, иди ко мне поближе... Вот так. Дора, и ты лезь на кровать. Великолепно, в тесноте да не в обиде. Ну, молчите, тише вы, начинаю!

И ровный звонкий голосок Наташи полился нежной мелодичной волною, заползая в души ее слушательниц.

Когда девочка начинала рассказывать обо всем пережитом ею в ее недавнем таком богатом впечатлении прошлом, лицо ее менялось сразу, делалось старше и строже, осмысленнее как-то с первых же слов... Черные глаза уходили вовнутрь, глубоко, и в них мгновенно гасли их игривые насмешливые огоньки, а глухая красивая печаль мерцала из темной пропасти этих глаз, таких грустных и прекрасных!

Точно песня лился живой, захватывающий рассказ... В нем говорилось о теплой южной стране с вечно голубым небом... с алмазным сверканием непобедимого дневного светила, о синих в полдень и темных ночью каналах... Об узких черных гондолах, похожих на плавучие гробы. И певучих мандолинах, льющих бесконечно днем и ночью, ночью и днем свои дивные песни... О бархатных голосах гондольеров... О

роскошных дворцах дождей, отраженных водами каналов... И о море, свободном, как воля, широком, как жизнь... Попутно рассказала Наташа кратко о злодействах и кознях кровожадных Медичи... О несчастной догорессе, погибшей в подвале огромного здания, залитой водой по одному подозрению гневного старого дожа в измене их роду...

С захватывающим интересом разливался рассказ Наташи... Затаив дыхание, слушали его девочки... Ярko блестели глаза на их побледневших лицах... Все это было так ново, так прекрасно, так упоительно-интересно для них!

Голубоглазая Дуня ближе придвинулась к рассказчице...

С упоением вслушивалась она теперь в передаваемый Наташей старинный обряд обручения дождей с Адриатическим морем. Волны народа... Пестрые наряды... певучая итальянская речь... Гондола, вся увитая цветами... И сам дождь в золотом венце, под звуки труб, лютней, литавр поднимается в лодке со скамьи, покрытой коврами, и бросает перстень в синие волны Адриатики при заздравных кликах народа...

Эту самую картину видит и во сне часом-двумя позднее впечатлительная Дуня, когда чья-то рука осторожно ложится ей на плечо...

– Что это? Кто это? – лепечет она, еще не вполне

проснувшись.

– Вставай! Вставай скорее! – слышится у ее уха знакомый певучий голос.

– Наташа? Что тебе надо? – удивляется Дуня, широко тараща в полутьме слипающиеся сонные глаза.

Кругом всюду спят девочки... Задернутый зеленой тафтяной занавеской ночник тускло мерцает в длинной, угрюмой комнате.

– Что ты, Наташа?

В полутьме лицо Румянцевой кажется бледнее и значительнее. Губы плотно сжаты. Глаза глядят решительно, беспокойно.

– Любишь ли ты меня настолько, Дуня, чтобы помочь мне избежать позорного наказания? – звенит снова металлический Наташин голосок.

Дуня, тихая по обыкновению, сейчас стремительно соскакивает с постели.

– Наташа... – лепечет она с испугом... – что ты задумала опять, Наташа?

– Хочешь ли ты помочь мне?

Голос «барышни-приютки» становится резче, нетерпеливей. Она любит полное подчинение и не переносит никаких пререканий. И с Дуней дружна она только потому, что робкая, тихая Дуня подчиняется вполне ее власти. С Дорушкой они меньше дружны. Дорушка тверда и настойчива. У нее своя собствен-

ная воля, которой она не отдаст ни за что.

– Любишь ли ты меня?

Дуня с восторгом и преданностью смотрит в лицо Наташи. Она никогда не говорит ей о своей любви, как Феничка и другие. Ей дико это и стыдно. Но когда Дуня ходит, обнявшись, в короткие минуты досуга между часами занятий с Наташей по зале или слушает ее пленительные рассказы из ее, Наташиного, прошлого житья, сама Наташа кажется бедной маленькой Дуне какой-то сказочной волшебной феей, залетевшей сюда случайно в этот скучный и суровый приют.

Дуня и про деревню свою стала позабывать в присутствии Наташи. И самая мечта, лелеемая с детства, которую жила до появления Наташи здесь, в приюте, Дуня, мечта вернуться к милой деревеньке, посетить родимую избушку, чудесный лес, поля, ветхую церковь со старой колоколенкой, – самая мечта эта скрылась, как бы улетела из головы Дуни.

Несложная, покорная натура бывшей деревенской девочки вся, с первого дня встречи, поддалась обаянию властного и прелестного существа, барышни-приютки.

Теперь на смену робкой прежней мечты в душе Дуни родилось новое желание: умереть, если понадобится, за Наташу, отдать всю свою жизнь за нее...

И она, Наташа, еще может спрашивать, любит ли

ее Дуня?

Голубые глазки девочки в полутьме сверкают, горят...

– Наташа... – шепчет она, – все, что хочешь, я сделаю для тебя, Наташа!

– Хорошо, – звонким шепотом говорит та, – ты должна мне помочь исполнить что-то... Ничего не спрашивай и делай то, что я укажу тебе.

И Наташа, взяв за руки подругу, ведет ее в умывальную.

– Ты понимаешь, чего я хочу? – шепотом осведомляется она у нее по дороге.

Голубые глаза изумленно вскидываются в лицо Наташи. Нет, она, Дуня, не понимает ничего.

– Ну...

Наташа, зябко пожимаясь и кутаясь в большой байковый платок, половиной которого она накрыла худенькие плечи дрогнувшей в одной рубашонке, босой Дуни, шепчет ей на ухо что-то долго и чуть слышно.

Лицо Дуни сперва краснеет, потом бледнеет от испуга и неожиданности.

– Как, Наташа? Ты хочешь?..

– Молчи... Молчи. Не спорь... Я так решила... – звенит, точно жужжит пчелкой чуть слышный голосок.

И обе входят в умывальную.

Газовый рожок горит здесь тускло... Дальний угол

комнаты прячется в темноте. Там табуретка... На нее опускается Наташа.

– На, бери скорее и действуй! – говорит она тем же шепотом и передает Дуне какой-то слабо блеснувший при тусклом свете металлический предмет.

Дрожащие, худенькие ручонки едва справляются с непосильной задачей.

Босая, дрожа всем телом, Наташа полчасом позднее впереди Дуни на цыпочках пробирается в дортуйар... На голове ее тоже белая косынка, которую носят целые сутки после бани воспитанницы. И байковый платок покрывает плечи... Все как прежде.

Лязгая зубами и трясаясь, как в лихорадке, Дуня крадется за ней; у нее в головной косынке завязано что-то мягкое и пушистое, что она готова прижать к груди и облить слезами.

– Ах, Наташа! Наташа! Бедовая головушка! И зачем только я послушалась тебя! – шепчет беззвучно девочка, и тяжелая тоска камнем давит ей грудь.

– Вздор, – возражает ей в темноте звонкий шепот. – Вздор! Так им и надо! Так и надо! Сказала, что не будет по-ихнему... Вот и не будет ни за что!

Через десять минут Наташа спит как убитая в своей постели, а Дуня долго и беспокойно ворочается до самого рассвета без сна. И тоска ее разрастается все шире и шире и тяжелой глыбой наполняет трепетное

сердце ребенка.

Глава шестая

– Дети, на молитву! Резкий голос Павлы Артемьевны звучит как-то по-особенному сегодня; торжественно, решительно и многозначительно в одно и то же время. В душном, спертom воздухе длинной, но узкой спальни словно нависла какая-то темная грозовая туча. Как перед бурей. Торжествующие глаза надзирательницы вскользь пробежали острым взглядом по становившимся в пары воспитанницам и продержались несколько дольше и значительнее на личике Наташи.

Обычно свежее, яркое и спокойное Наташино лицо с нежными ямками на щеках, со смеющимися черными глазами, с независимо поднятой вверх горделивой головкой, прикрытой, как и у прочих приюток, белой косынкой, спокойно и весело по своему обыкновению. Байковый платок небрежно покрывает плечи.

– Поправь платок! Что за испанский плащ себе придумала, – сердито говорит надзирательница и отворачивается от Румянцевой с недовольным видом.

Не говоря ни слова, Наташа поправляет платок, а за ним косынку, слишком низко сдвинувшуюся над бровями.

С вечера она ее не снимала, в ней и спала, в ней и

мылась поутру, жалуясь, что ей холодно голове.

Остальные воспитанницы, тоже в платках и косынках на головах, чинно становились в пары, шлепая туфлями, грубо сделанными из козлиной кожи по общему образцу.

На обычно бледном личике Дуни легли желтые тени и от бессонной ночи, и от душевных переживаний последних суток, которые никак не могли улечься в ее кроткой душе.

Чинно, в полной тишине и молчании спустились из спальни вниз девочки и вошли в залу. Там уже ждали их к молитве старшеотделенки. Поближе к образу стояли стрижки.

У Фенички, заменившей в качестве регента вышедшую из приюта и поступившую уже на место Марусю Крымцеву, было нынче изжелта-бледное лицо и красные от слез веки. Всю ночь проплакала Феничка, думая о строжайшем из приютских наказаний, предстоящем ее кумиру. Несмотря на вчерашнюю отповедь Наташи, пыл Феничкиного обожания к ее «предмету» не уменьшился ни на йоту... Экзальтированная, увлекающаяся, успевшая изломаться в нездоровой атмосфере тайком прочитанных романов девушка искренно воображала себе какую-то особенную любовь к подруге.

Совсем иначе чувствовали себя среднеотделенки.

Не говоря уже о Дуне, замиравшей от ужаса при одной мысли о том, что должно было открыться сейчас же после молитвы, и о неизбежных последствиях нового проступка ее взбалмошной подружки (Дуня трепетала от сознания своего участия в нем и своей вины), и все другие девочки немало волновались в это злополучное утро. До безумия было жаль им их общую любимицу... Многие из них даже всплакнули тишком. Да и старше- и младшеотделенкам было не по себе... Публичное наказание почти взрослой девочки являлось редким, исключительным случаем в стенах N-ского приюта. И уже вследствие одной такой необыденности происшествия было жутко, помимо всех прочих переживаний...

После общей молитвы, пропетой старшими, и пожеланий доброго утра вошедшей в зал начальнице девочки, большие и маленькие, выжидательно устремились на нее взорами, и снова что-то гнетущее, остро-больное и тяжелое повисло над всеми этими головками в белых коленкоровых косынках, с тревожным выражением на юных детских личиках.

Екатерина Ивановна вышла на середину залы.

Она чувствовала себя едва ли не хуже детей. Каждое, самое простое, обыкновенное наказание вроде стояния за черным столом в углу, или исполнения двойной работы, налагаемой на провинившихся, бо-

лезненно отзывалось в ее сердце, мягком, снисходительном и гуманном.

Накануне она всеми силами старалась умилостивить свою разгневанную помощницу, прибежавшую к ней с жалобой на «дерзкую» девчонку.

– Я или она! Я или она! – кричала накануне разгневанная Павла Артемьевна. – Или вы дадите разрешение на публичное наказание виновной – разрешите остричь ее, или я уйду из приюта, и нога моя никогда больше не переступит ваш порог!

Павлой Артемьевной, несмотря на ее чрезмерную суровость и несправедливость по отношению к воспитанницам, Екатерина Ивановна Нарукова дорожила более всех других помощниц надзирательницы приюта. Бесподобно изучившая искусство кройки и шитья, вышиванья гладью, мечения, словом, все рукодельные работы, Павла Артемьевна сумела стать первой необходимостью учебного ремесленного заведения, превосходно поставив в нем дело ручного швейного труда. Без нее, казалось, было немыслимо дальнейшее существование приюта.

Поневоле доброй и мягкой начальнице оставался один выбор: дать свое согласие наказать Наташу и тем обеспечить дальнейшее присутствие суровой надзирательницы в приютских стенах.

Болезненно морщась и больше обыкновенного шу-

ря свои близорукие глаза, после непродолжительной паузы госпожа Нарукова обратилась с речью к воспитанницам...

– Дети! – прозвучал ее тихий, симпатичный голос. – Одна из вас сильно провинилась перед уважаемой всеми нами Павлой Артемьевной. Одна из вас позволила себе дерзость, которая не подлежит прощению. Вы сами убедились воочию, как груба, непослушна и резка была с вашей наставницей воспитанница Наталья Румянцева. Помимо вчерашнего, самого дикого и грубого из ее поступков, она периодически раздражала всеми уважаемую наставницу постоянным неповиновением и резкими ответами на все замечания и выговоры Павлы Артемьевны... Затем, она умышленно пренебрегала уставами приюта. Каждая из вас должна быть чисто одета, гладко причесана и иметь вполне скромный и приличный вид. Вы все – дети бедных родителей или круглые сироты и должны готовить себя к суровой трудовой жизни, к постоянному труду ради куска насущного хлеба. Взгляните на Наташу Румянцеву. Разве она поступала так, как должна была поступать? Эти размашистые манеры, эти вечно растрепанные волосы, этот задорный, не соответствующий ее положению будущей труженицы вид. Разве все это хорошо? Прилично? Правда, воспитанная в не совсем подходящих ее званию и положению усло-

виях в своем раннем детстве, она несколько выбита из колеи, ей труднее, нежели всем вам, остальным, вступать в нашу уютную жизнь, но ведь и мы все шли к ней навстречу, мы, чем могли, облегчали ей ее жизнь здесь, стараясь снисходительнее относиться к ее привычкам и замашкам, не терпимым в наших стенах.

Но девочка испорченная, избалованная, с недобрым сердцем, не поняла этого снисхождения.

Она отвечала дерзость за дерзостью, грубость за грубостью. Такое отношение не может быть выносимо более, и Наталья Румянцева будет примерно наказана за свои дерзости, в особенности за ту, которую она позволила себе сделать вчера, во время рукодельных занятий уважаемой Павле Артемьевне. Варварушка, – повышая голос, обратилась Екатерина Ивановна к стоявшей поодаль с маленькими стрижками рыжей нянюшке, – попроси сюда Фаину Михайловну. Пусть захватит ножницы, машинку и острижет под гребенку наказанную в присутствии всего приюта.

Рыжая Варварушка с поклоном вышла из зала.

Глубокая тишина воцарилась в огромной комнате. Сто двадцать девочек, больших и маленьких, низко наклонили повязанные белыми косынками головки.

Каждое сердечко защемило жалостью и болью по отношению наказываемой. Всем было жаль Наташу.

Вдруг, сначала тихое, потом все громче и громче, послышалось чье-то всхлипывание.

Одновременно с ним внезапная суматоха произошла в до сих пор стройных рядах воспитанниц... Кто-то сильной рукою прочищал себе дорогу...

Еще мгновение и, расталкивая подруг из рядов среднего отделения, выбежала Оня Лихарева. По пухлому лицу приютской шалуни градом катились слезы. Из-под угла белой косынки выглядывали растерянные покрасневшие глаза.

– Екатерина Ивановна! Екатерина Ивановна! – жалобно простонала толстушка и, прежде чем кто мог ожидать это, с рыданием упала к ногам начальницы.

Дрожащие, пухлые руки Они схватили тонкие пальцы Наруковой и сжали их судорожно и крепко.

– Екатерина Ивановна, родненькая, не наказывайте Наташу... Она не виновата... Она нечаянно... Клубком... – залепетала девочка... – Не она... Это... Это я... ее научила... Давай бросать, говорю, чей выше... А ее как отлетит в сторону!.. В Павлу Артемьевну грехом и попади... Господи! Не нарочно же она!..

И снова громкое рыдание огласило залу.

Теперь надзирательницы и старшие воспитанницы покинули свои места и теснились вокруг Они... Кто-то поднял ее, поставил на ноги... Кто-то подал носовой платок... Кто-то утер ей слезы...

Екатерина Ивановна колебалась минуту... Потом, щурясь по своему обыкновению и тщетно стараясь подавить охватившее ее волнение, произнесла не совсем спокойным голосом:

– Румянцева! Ты слышала, что говорит Оня Лихарева... Ответь, правда ли это? Нечаянно задел Павлу Артемьевну твой клубок или нет?

Наташа с косынкой, сдвинутой почти по самые брови, выступила вперед.

Под белым коленкоровым платком черные глаза казались еще чернее. Они были тусклы и угрюмы; в осунувшемся за одни сутки лице лежало мрачное выражение. Она молчала.

– Ну, что же! Отвечай, когда тебя спрашивают! – строже произнесла начальница.

Наташа не произносила ни слова.

– Ну же!

Тяжело дыша, Наташа потупила глаза и угрюмо смотрела на желтые квадратики паркета.

– Несносная, упрямая девчонка! – вспыхнула Екатерина Ивановна. – Ее действительно следует примерно наказать!

Черные ресницы девочки поднялись в ту же минуту, и глаза усталым, тусклым взглядом посмотрели в лицо начальницы. «Ах, делайте со мной, что хотите, мне все равно!» – казалось, говорил этот взгляд.

Вошла Фаина Михайловна; в одной руке ее были ножницы, в другой машинка для стрижки волос.

Пришедшая следом за нею Варварушка молча выдвинула стул на середину залы.

– Садись! – кратко приказала Нарукова девочке.

На добродушном старом лице Фаины Михайловны застыло недоумевающее испуганное выражение. Она любила всех приютских воспитанниц, а эту живую, чернокудрую девочку, такую непосредственную, исключительную и оригинальную, такую яркую в ее индивидуальности, эту полюбила она больше остальных.

– Что ж это ты, девонька? Чем проштрафилась, а? – зашептала она у уха апатично, с тем же усталым видом опустившейся на стул Наташи. – Попроси прощения хорошенько! Прощения, говорю, попроси... Извинись перед Екатериной Ивановной да Павлой Артемьевой. Ведь волосы-то роскошь какая у тебя! Когда они еще отрастут-то! Ведь лишиться таких-то, поди, жалко! Попроси же, девонька, авось и простит Екатерина Ивановна. Ведь она у нас – сама доброта. Ангел, а не человек!.. Ну-ка...

Но на все уговоры доброй старушки Наташа ответила лишь тем же равнодушным взглядом, безучастным взглядом и шепнула:

– Я просить прощения не стану. Я не виновата, –

произнесла она, чуть слышно, но твердо.

– Нехорошо! Ай, плохо это, девонька. Гордыня это! Господь не любит! Смирись! Смирись... слышишь, деточ...

Фаина Михайловна не договорила.

– Приступите! – прервал ее громкий голос начальницы.

Все еще медля и надеясь на отмену решения, добрая старушка тихим движением руки коснулась козынки, прикрывавшей Наташину голову, и так же медленно сняла ее.

– А-а-а-а!

Возглас удивления и испуга пронесся по зале. Странное зрелище представилось глазам присутствующих.

Вместо пышных черных кудрей, собранных небрежно в узел и окружавших обычно до сих пор тонкое лицо девочки, и начальство, и воспитанницы увидели коротко, безобразно, неуклюжими уступами выстриженную наголо голову, круглую, как шар.

От прежней Наташи, темнокудрой и поэтичной, не оставалось и следа.

Огромные черные глаза, занимавшие теперь чуть ли не целую треть лица, смотрели все так же тускло и устало, а следы безобразной стрижки несказанно уродовали это до сих пор прелестное в своей неправиль-

ности личико. Теперь оно выглядело ужасно. Бледное-бледное, без тени румянца. Губы сжатые и запекшиеся. Заострившиеся, словно от болезни, черты... И в них полная, абсолютная апатия и усталость.

Наташа сидела, не двигаясь, на своем стуле, в то время как несколько десятков испуганных и любопытных глаз впивались в нее.

Впечатление получилось столь неожиданное, что в первую минуту никто не мог произнести ни слова.

Молчание длилось мгновение, другое...

– Она осмелилась отричься сама, без спросу! – прогремел наконец на всю залу негодующий голос Павлы Артемьевны.

– Как? Что такое? – Близорукие глаза начальницы силились тщетно рассмотреть что-либо.

С непривычной ей живостью она сделала несколько шагов к наказанной и наконец, только у самого стула разглядев выстриженную наголо и обезображенную неверной детской рукой голову, вспыхнула от неожиданности и гнева.

– Ты осмелилась? Ты!

К бледным щекам начальницы прилила краска. Обычно доброе, мягкое сердце закипело...

– Как посмела ты? Встань!

И так как девочка с круглой, как тыква, головой все еще оставалась неподвижной на своем стуле, Екате-

рина Ивановна еще раз повторила, уже явно дрожащим от гнева голосом:

– Встань... Перед начальством не полагается сидеть... Сейчас же вставай! Сию минуту.

Тусклым свинцовым взглядом Наташа посмотрела на говорившую... Потом приподнялась немного и с внезапно помертвевшим лицом снова откинулась на спинку стула.

– Мне дурно! Голова кружится! – чуть слышно проронили дрогнувшие губы.

– Что с нею?

Екатерина Ивановна живо наклонилась к девочке, с недоумением и тревогой заглянула в лицо воспитанницы.

– Да она совсем больна! Ее в лазарет отправить необходимо!.. – послышался знакомый каждому в приюте голос тети Лели, и маленькая фигурка горбуны живо наклонилась в свою очередь над Наташей, в то время как желтая, сухая рука озабоченно в один миг оцупала ей лицо, шею и руки.

– У нее жар... Это бесспорно... Бедное дитя! Павла Артемьевна, Фаина Михайловна, помогите мне поднять девочку и отнести ее на кровать!

И тетя Леля первая приняла в свои объятия тонкие плечи почти бесчувственной Наташи. Вместе с Фаиной Михайловной и напуганной Павлой Артемьевной

они понесли ее к двери, а за ними, не отрываясь, следили два голубых испуганных детских глаза. И побледневшее от затаенной муки личико Дуни обратилось к Дорушке:

– Дорушка... милая... скажи! Она не умрет? – чуть слышный прозвучал шепот девочки.

Спокойные глазки Дорушки взглянули на ее подругу.

– Не знаю... как и сказать тебе, право... Даст господь, и пустяки все это... А может статься, и плохо придется ей, Наташе... И впрямь плохо...

– Что ж, – вмешалась в разговор маленькая сухонькая с пергаментным лицом «примерница» Соня Кузьменко, и на ее острых от худобы скулах выступили два ярких пятна, – что ж, девицы, ежели помрет – так ей же лучше. Хорошо помереть в отрочестве... Прямо к престолу господню ангелом-херувимом взлетишь, безгрешным! Так-то оно!

При этих словах Дуня сделалась блее ее белой головной косынки.

Сейчас ее незлобивое сердце готово ненавидеть эту сухую, безжалостную, по ее Дуниному мнению, Соню; ненавидеть ее скуластое лицо, редкие желтые зубы; маленькие умные и покорные глазки «примерницы».

– Нет, она будет жива, Наташенька! Она должна

жить, милая! – шепчет с несвойственной ей стойкостью Дуня и жметя к Дорушке, как бы ища в ней поддержки.

В то же утро оповещенный начальницей, раньше назначенного часа доктор Николай Николаевич приискал ради Наташи в приют.

Но девочка уже никого не узнавала. Она металась в жару... Звала покойных благодетелей... Просила взять ее из приюта... Кому-то грозила... Кому-то сулила убежать.

А к вечеру принеслась зловещей черной птицей страшная весть из лазарета.

У Наташи Румянцевой открылось воспаление.

Простудилась ли, бегая босая после бани в предыдущую ночь, девочка, или тяжелые впечатления, пережитые ею за последнее время, и резкая перемена обстановки отразились на ней и потрясли хрупкий организм изнеженного подростка, но факт был налицо: Наташа умирала.

Со страхом прислушивались приютки к каждой новой вести, доходившей к ним из лазарета.

– У Наташи температура поднялась до сорока... Наташа бредила всю ночь наказанием... Наташа в забытьи зовет Дуню... – то и дело переходило шепотом из уст в уста.

Сама Дуня едва держалась на ногах от переживае-

мого страха за жизнь подружки... Она раздала средне-отделенкам срезанные ею в ту роковую ночь темные, пушистые локоны больной, спрятала оставленный ею себе самый пышный и крупный, положила его на сердце за ситцевый лиф и рыдала над ним, не осушая слез, целыми часами. Иногда ночью она прокрадывалась к постели Сони Кузьменко, «приютской подвижницы», как ее называли частью в насмешку, частью из зависти к ее религиозности другие воспитанницы, и, разбудив спящую девочку, трогательно умоляла ее помолиться о здравии болящей отроковицы Наталии. Никому никогда не отказывавшая в своем религиозном усердии, Соня, худая, сутуловатая, босая, в одной рубашке, голыми коленями становилась на холодном полу спальни и, приказав Дуне следовать ее примеру, исступленным от молитвенного экстаза голосом, ударяя рукою в грудь, шептала вдохновенно слова всех молитв, которые только знала.

Когда же они были прочтены все до одной, Соня начинала молиться от себя, своими словами: «Боже Милостивый! Царица Небесная! Владычица! Батюшка Отче Никола! Сотворите чудо, исцелите отроковицу Наталию!» – трепещущим голосом твердила она. Две небольшие девочки молились здесь в тишине угрюмого дортуара, а там, в маленькой лазаретной комнате, у белоснежной больничной койки несколько чело-

век взрослых оспаривали у смерти юную, готовую вырваться из хрупкого тельца жизнь...

Доктор Николай Николаевич с отеческой заботой ухаживал за умирающей... Целые дни проводил он в приюте, собственноручно меняя лед на раскаленной от жара голове Наташи. Фаина Михайловна, Екатерина Ивановна и Павла Артемьевна, примирившиеся в душе с больною от сердца и простившие ей ее проступок, проводили поочередно длинные, бесконечные часы у одра Наташи.

А позднее вечером, перед ночью, когда надзирательницы и начальница уходили, чтобы пользоваться коротким ночным покоем, уезжал и уставший за день доктор, а сиделка-служанка дремала в кресле, прикрутив свет в лампе-ночнике, маленькая, горбатая фигурка калеки Елены Дмитриевны проскальзывала в приютский лазарет, склонялась над пылавшим личиком и, молитвенно сложив руки, шептала пересохшими от волнения губами:

– Боже мой! Ты любящий Отец сирот, Ты приказавший приводить к себе детей, Божественный Спаситель, сохрани нам и спаси эту девочку. Она рождена для беззаботного счастья... Она – красивое сочетание гармонии. Она – нежный Цветок, взлелеянный в теплице жизни. Спаси ее, господи! Одинокую, бедную сиротку! Помилуй, сохрани ее нам! Бедное дитя!

Праздничный цветок, тянувшийся так беспечно к веселью и смеху. Ты сохранишь ее нам, Милосердный господь!

Всю долгую ночь добрая тетя Леля ухаживала за больною, меняя лед на ее головке, вливая ей в запекшийся от жара ротик лекарство. А наутро с желтым осунувшимся лицом с синими кольцами вокруг глаз, но все такая же бодрая, сильная духом, жившим в этом худеньком теле, спешила она к своим маленьким стрижкам «пасти» свое «стадо милых ягнят», как говорила она в шутку, тянуть долгий, утомительный, полный хлопот и забот приютский день.

Глава седьмая

К всеобщей радости, не умерла Наташа... Страшный недуг пропал так же внезапно, как и появился, благодаря соединенным усилиям всех ухаживавших за больной девочкой людей...

И мрачные до сих пор вести, разлетавшиеся с быстротой молнии по рукодельной, классной и зале, по длинным коридорам, столовой и кухне, сменились наконец радостными, светлыми и счастливыми.

– Наташа пришла в себя... Наташа узнает окружающих... Она уже говорит... улыбается... просила кушать.

Когда Дуня услышала первую такую радостную весть, принесенную в классную Павлой Артемьевной, она, не помня себя, бросилась в объятия воспитательницы и залилась слезами.

Что-то произошло и со всеми остальными девочками, находившимися в этот час в классной. Все они ринулись к стулу, на котором сидела обычно суровая, недолюбливаемая ими надзирательница, осторожно прижимавшая к себе плачущую Дуню, засыпавшую ее вопросами:

– Что Наташа? Как ей теперь? Скоро ли встанет? Придет сюда?

И вдруг невольно попятилась от неожиданности, взглянув в лицо Павлы Артемьевны, в это обычное хмурое, сердитое, почти злое лицо.

Полные губы надзирательницы вздрагивали под темной полоской усиков. А глаза, круглые и подозрительные, не знавшие ласки прежде, теперь мягко блестя, затуманенные слезой.

– Теперь, слава богу, скоро уже вернется к нам Наташа! – произнесла Павла Артемьевна задушевым тоном, и предательская слезинка выкатилась из-под стекла ее неизменного пенсне.

– Ну-ну, довольно, однако, дети! Сядем за работу! Сегодня диктовку писать надо! – незаметно смахивая слезу, произнесла она своим обычным деловито-суровым голосом, стараясь этим замаскировать свое волнение.

– А ведь она плачет. Помереть на этом месте плачет! Ей жаль Наташу! Вот те святая пятница, мать-пятидесятница – жаль! – затараторила шепотом Паша Канарейкина, поспевая всюду со своей лисьей мордочкой и проворно снующим носом.

Через пять минут Павла Артемьевна вела уже как ни в чем не бывало класс диктовки, попутно объясняя воспитанницам то одно, то другое правило грамматики.

Своим ровным, резким голосом она нанизывала

фразу за фразой, строго покрикивая на нерадивую, поминутно отстающую от подруг Машу Рыжову или на маленькую, болезненную Чуркову, украшавшую то и дело чернильными кляксами свою тетрадь, но при этом лицо ее все еще хранило то недавнее выражение радости, с которым она вошла объявить счастливую весть о выздоровлении Наташи, а глаза смотрели мягче и добрее, каким-то совсем новым и непривычным им взглядом.

Это выражение не исчезло даже и тогда, когда с растерянно-глупым видом Маша Рыжова подала свою диктовку, и Павла Артемьевна при общем смехе воспитанниц прочла написанную в ней фразу:

«Кэрава томажня шиводная; она эст драва и сена»...

– Хорошенькая должна быть корова, которая ест дрова! – усмехнулась Павла Артемьевна и прибавила, вскользь глядя на багрово покрасневшую Машу: – И когда ты писать только выучишься... «Дрова» пишешь вместо «трава», «томажня» вместо «домашняя». А «кэрава»? Разве есть слово такое? Корова... Понимаешь? Домашнее животное; она ест траву и сено. Ах, Маша, Маша! Совсем ты неуч у нас!

Не рассердилась Павла Артемьевна и тогда, когда маленькая золотушная Оля Чуркова, мигая своими белесоватыми ресницами, подала ей свою увенчан-

ную кляксами тетрадку. Чернильных пятен в ней насчитывалось гораздо больше, чем букв.

– Ну эта хоть годами молода... Она с Дуней ровесница, успеет еще выучиться! А тебе, Рыжова, стыдно! Пятнадцатый год, ведь не маленькая! – проговорила она без тени обидного гнева. Зато тетрадки Соны Кузьменко, Дорушки и Дуни доставили полное удовольствие надзирательнице.

– Молодец, Соня! Дорушка и Дуня! Учительницами будете! – с непривычной скоростью обратилась она к ним.

– Нет, Павла Артемьевна, мне бы лучше в монашки хотелось! – произнес глуховатый и тихий голос Кузьменко.

– Что?

– В монастырь бы меня, говорю, отдали! Уж куда как хорошо было бы! Благодать там какая! Колокол с самой ночи гудит... Поют на клиросе... все монашки в черном... А там постриг дадут... Я из жития святых знаю. Боголепно! – с жаром говорила девочка.

– Да что ты, Софья! Куда тебе в монастырь! Не возьмут тебя. Мала еще! Не вышла годами... – покачивая головой, произнесла надзирательница.

– Я вырасту, Павла Артемьевна! А уж тянет меня туда-то, и сказать не могу, как тянет. Так бы век в тишине монастырской и прожила. За вас бы молилась...

В постеле... на ночных бдениях... – возразила, внезапно сживаясь, Соня. – У бабушки моей есть монашка знаковая... Она еще в детстве все к бабушке приставала, просила все меня в послушание к ней отдать в обитель... Совсем к себе на воспитание брала... А отец не отдал... Сюды определил... Велел учиться.

Соня поникла грустно головой и вздохнула.

Павла Артемьевна сама вздохнула следом за нею.

Впервые она разговаривала так просто со своими девочками, обрадованная выздоровлением Наташи, в болезни которой втайне не раз упрекала себя.

До сих пор она являлась только строптивой и взыскательной наставницей, требовательным, суровым и готовым покарать каждую минуту начальством. Сейчас же она чуть ли не впервые заглянула в детские души, доверчиво открывшиеся перед нею... За Соней она стала расспрашивать остальных девочек, чего бы хотели они, к чему стремились, чего ждали от жизни.

Узнала, что флегматичная, ленивая и тупая Маша Рыжова мечтает быть где-нибудь ключницей в богатом доме, ухаживать за коровами, за птицами, за домашним скотом. В этой равнодушной душе горел огонек любви к покорным человеку бессловесным тварям.

Узнала от робко улыбающейся Дуни, что та любит деревню, мечтает вместе с Наташей поехать в роди-

мые места и поселиться в школьном домике, учить ребяташек, а в часы досуга гулять по родному лесу.

Услышала и Дорушкины заветные мечты... Расширить дело матери... Взять себе в помощницы всех приюток, не получивших места, оставшихся хотя бы временно без определенных занятий. И у крошки Оли Чурковой узнала цель ее маленькой жизни: вытащить из нищеты бабушку, собственным трудом содержать ее, работая где-нибудь в белошвейной поденно.

«Так вот они какие, – вслушиваясь в речи осмелевших пред ее неожиданным участием девочек, мысленно говорили себе Павла Артемьевна, – доверчивые, славные, сердечные детишки! У каждой своя особая склонность, индивидуальность, своя исключительная черточка характера». А она так мало задавала себе труда до сих пор заглянуть в эти робко, сейчас как бутоны цветов, раскрывшиеся перед ней души. Строгость была до сих пор ее неизменным девизом. Строгость и суровая требовательность... Постоянные окрики, выговоры она считала гораздо более существенными орудиями в воспитании детей.

А между тем такое ласковое участие с ее стороны много прочнее и скорее проложит ей путь к детским сердцам, поможет запастись детским доверием в трудном деле воспитания сорока девочек и даст ей самой больше спокойствия, пожалуй. Да-да, она была

глубоко не права порою. Строгость никогда не вредна. Она необходима... Но ее суровость, ее грубость с детьми, разве они имели что-либо общее со строгостью?!

Павла Артемьевна так глубоко погрузилась в свои мысли, что не заметила, как тихо скрипнула классная дверь и тонкая фигура подростка, закутанного в теплый байковый платок поверх обычного форменного платья приютки, вошла в комнату.

В тот же миг громкий хор сорока возбужденных радостных голосов звонкой волною прокатился по классной:

– Наташа! Наташа вернулась! Павла Артемьевна, Наташа!

Надзирательница вздрогнула, подняла голову...

Перед ней стояла Наташа. Нет, вернее, тень прежней Наташи.

За две недели болезни девочка вытянулась и похудела до неузнаваемости. Казенное платье висело на ней, как на вешалке. Неровно остриженные волосы чуть-чуть отросли и делали ее похожей на мальчика. Подурневшее до неузнаваемости лицо, слишком большой рот, обострившийся нос, болезненный цвет кожи, без тени бывшего румянца, и эти глаза, ставшие огромными и потерявшие их обычный насмешливый блеск!

– Наташа! Бедная Наташа! – помимо воли полным жалости и соболезнования голосом вырвалось искренне и печально из груди Павлы Артемьевны.

Что-то новое почудилось в этом голосе и Наташе, что-то мягкое, сердечное, что заставило девочку сделать несколько шагов вперед по направлению поднявшейся ей навстречу наставнице. Легкая краска залила бледное личико... Некоторое подобие прежнего румянца слабо окрасило впалые щеки Наташи... И мгновенно, как молния, прежняя улыбка, по-детски простодушная и обаятельная, заиграла на бледных губах, на худых щечках с чуть приметными теперь ямками на них...

Девочка почти вплотную придвинулась к надзирательнице, с перехваченным судорогой волнения горлом поднявшейся к ней навстречу...

И еще слабый после болезни голосок произнес тихо и твердо:

– Павла Артемьевна! Вы простите меня. Тогда... До болезни... Я провинилась перед вами... С клубком-то... Ведь вы не ошиблись... Я тогда его умышленно в вас бросила... И бог меня наказал за это... Я чуть не умерла... Уж вы простите!

Незнакомый огонек вспыхнул в глубине глаз Наташи... Улыбка исчезла с лица... Худенькие руки потянулись навстречу Павле Артемьевне...

Надзирательница сделала быстрое движение, поддалась вперед и крепко-крепко обняла девочку...

А минутой позже Наташа уже переходила из объятий в объятия, сияющая и розовая от счастья. И Дуня, не помня себя от счастья, висла у нее на груди...

Глава восьмая

Апрель... Солнечный и прекрасный, он вливается в настезь раскрытые окна приюта... Он несет благовонные ароматы весны, предвестницы скорого лета, первых ландышей, что продаются оборванной нищей девторой на шумных улицах Петербурга. Улыбки солнца рассылает он щедро властной рукою и дышит в лицо чистым прохладным и нежным дыханием, напоминающим дыхание ребенка.

Небо синее-синее, как синевато-лазурный глазок незабудки. Недосягаемые, гордые и красивые плывут по нему белые корабли облаков... То причудливыми птицами, то диковинными драконами, то далекими, старинными городами с бойницами, башнями, со шпицами церквей, кажутся они обманчивыми призраками из своего лазурного далека...

За ними следят, не мигая, две пары молодых глазок. На окне, открытом настезь, повернувшись лицом к голубому небу, с мочалкой в одной руке и тряпкой в другой стоит Наташа...

Ее глаза восторженно блестят, глядя на небо... Дуня держит ее за оба конца передника, замирая от ужаса при одной мысли, что голова может закружиться у Наташи и собственные слабые ручонки ее, Дуни, не

смогут удержать подругу.

Через два дня Пасха... Вчера они приобщались по обыкновению в Страстной четверг. Сегодня приступили к «большой» предпраздничной уборке. Напрасно отговаривала Павла Артемьевна Наташу брать на себя непосильный еще ей после болезни труд; девочка так трогательно молила разрешить ей поработать наравне со всеми, так убедительно доказывала, что сейчас она сильная и окрепшая как никогда и что сама она не возьмется за слишком тяжелое дело, что Павле Артемьевне, особенно светло настроенной после говенья, оставалось только согласиться с нею.

– Только смотри... дальше стирания пыли в комнатах начальства не смей идти! – крикнула убежавшей Наташе вдогонку надзирательница.

– Еще бы!

Все доводы Павлы Артемьевны уже забыты по дороге. Вместе с возвращением здоровья и сил к Наташе вернулась и ее обычная энергия и живость. Ее былые непокорность и эгоизм куда-то исчезли под влиянием смертельного недуга. Она вся стала как-то мягче, ровнее, менее требовательной и тщеславной. Но отрешиться вполне от прочих своих былых грешков Наташа в силах...

Необузданное «я так хочу» еще нет-нет да и прорвется в ней.

Сейчас она помогает Дуне и Дорушке, тщательно отчищающих кислотой дверные ручки, убирать «спальный» коридор...

Окно раскрыто в нем настезь. Внизу зеленеют первые весенние побеги, наверху синее голубой полог, растянутый над землей... Где-то высоко льется звонкой струей песня жаворонка.

Наташа с жадностью глотает воздух... Ее лицо заалелось... Ноздри трепещут. Улыбаются яркие пунцовые губы... Влажно сверкают, как маленькие звезды, глаза...

С мочалкой в одной руке, с тряпкой в другой она похожа на Золушку или на задорного, шаловливого мальчугана с вихрастой неровной гривкой отросших черных волос...

– Ха-ха-ха, – заливается, смеется она, потряхивая мочалкой, – ха-ха-ха-ха! Хорошо было бы быть птицей, Дуняша... Взмахнуть так крыльями и полететь к солнцу, к облакам. Быстро! Быстро!

– Ради бога, сойди ты с окна, Наташа! Не приведи господь, оступись! – пугливо лепечет Дуня.

Но Наташа, разрумяненная и похорошевшая от оживления под лучами весеннего солнца, с алым румянцем, снова заигравшим на этом быстро поздоровевшем лице, только машет руками и поминутно хохочет, делясь своими впечатлениями с подругой.

– Вот, гляди, птица пролетела! Какая большая! А вон идет Жилинский по двору... Точно мячик катится. Вот-то толстенный! А вон Феничка с цыганкой вытряхивают начальницыны ковры... А знаешь ли, Феничка не любит меня больше! – неожиданно определяет Наташа, вздыхает и делает сердитое лицо...

– Тебя все любят! – торопится уверить ее Дуня.

– Может быть, все... ты... другие... Но не Феничка... Как вышла я из лазарета, помнишь, как все обрадовались тогда, а она посмотрела так удивленно и говорит: «Какая ты некрасивая стала, Наташа! Ты уж меня извини, – говорит, – я тебя обожать больше не буду... Вон, – говорит, – ты худая, желтая, глаза как плоски... А я, – говорит, – красоту люблю...»

– Вот глупенькая! – возмутилась Дуня. – Да разве за красоту любят?

– Феничка за красоту... Теперь она себе в предметы другого человека выбрала... Отца дьякона. Он, говорит, красавец писанный и как грянет «многия лета» с амвона, так вся церковь дрожмя дрожит.

– Дурочка твоя Феня! – задумчиво произнесла Дуня и с явным обожаньем взглянула на подругу. – А для меня ты дороже стала еще больше после болезни. Тебя я люблю, а не красоту твою. И больная, худая, бледная ты мне во сто крат еще ближе, роднее. Жальче тогда мне тебя. Ну вот, словно выросла ты мне

в сердце. И спроси кто-нибудь меня, красивая ты либо дурная, ей-богу же, не сумею рассказать! – со своей застенчивой милой улыбкой заключила простодушно девочка.

– Да... да... – с несвойственной ей задумчивостью произнесла Наташа. – Я это понимаю... У меня Арлетта была... гувернантка еще, при жизни благодетелей, – тут черные глаза подернулись туманом, – так она своего жениха, что ждал ее в Париже, вот любила! А он был страшный-престрашный, судя по карточке... Одно плечо кривое... Нос крючком. И уж не очень молодой... Но добрый-добрый и бедный-бедный... И жениться пока не мог. Денег на свадьбу не было. Она и служила у нас, деньги копила... А он там работал... И такие ласковые, хорошие письма ей писал... За эти письма, за доброту его, за сердце ангельское любила. Вот и я также за душу могу любить... – совсем уже тихо заключила Наташа.

Она стояла перед Дуней, вся залитая солнцем на подоконнике большого окна. Глаза ее углубились и потемнели.

– Слушай, Дуняша! – проговорила она голосом, дрогнувшим неожиданными нотками восторга. – Когда я лежала при смерти и страшные видения вставали в моей больной голове, иногда чья-то нежная, нежная рука ложилась мне на лоб, а чудесные зна-

комые глаза с такой нежностью и любовью смотрели мне прямо в душу. Господи, какая в них жила красота! Потом, когда я уже пришла окончательно в себя и стала выздоравливать, я ее часто видела у своей постели. Нежную, добрую, чудесную тетю Лелю, бедную, горбатенькую мою... И знаешь, Дуня, – тут голос Наташи окреп и вырос, – меня так потянуло к ней, сильно-сильно. Что-то выросло, помню, тогда в моей душе, и я решила стараться быть такой же доброй, как она, заботливой и хорошей... – Наташа замолкла на мгновение, потом продолжала тихо, проникновенно: – До сих пор я никого не любила, а позволяла себя любить тебе, Феничке, другим. Знаешь ли, страшно вымолвить, но я и благодетелей своих особенно не любила... Мне все казалось, что все люди должны любить и баловать меня одну, что это в порядке вещей, что я какая-то особенная, созданная для поклонения... А вот увидела тетю Лелю поближе, оценила ее заботливость и ласку и поняла, кого следует любить... И ее люблю, и тебя, моя крошечка, по-настоящему хорошо, сильно... А теперь бросим болтовню и давай работать прилежно... А то не успеем!

– И то не успеем! – согласилась Дуня и, схватив свою мочалку, погрузила ее в ведро с мыльной водой и стремительно кинулась мыть полы...

В первый день Пасхи воспитанницы, несколько усталые, но возбужденные и сияющие, ходили в праздничном бездействии, одни по коридору, другие по залу, иные, собравшись тесным кружком, читали в рукодельной какую-то интересную книжку. Павла Артемьевна, нарядная, в шумящем шелковой подкладкой новом платье прошла по коридорам, сея по пути радостную весть:

– Баронесса из заграницы опять недавно вернулась... Завтра старшие и средние, по трое из каждого старшего отделения, пойдете к ней. А сегодня отправитесь все в Летний сад на прогулку.

Софья Петровна с Нан давно уже не посещала приюта. Всю последнюю зиму она провела в Швейцарии, где вот уже четыре года училась в женской коллегии Нан. Девочка оказалась весьма слабого здоровья, и доктора запретили ей петербургский климат.

И Нан была отдана в заграничное учебное заведение. Теперь окрепшая и поздоровевшая на горном воздухе, она возвратилась домой в Россию.

В воспоминаниях Дуни мелькал образ высокой, нескладной девочки, белобрысой и некрасивой, с умным лицом, такой сухой и черствой на вид.

Уже отправляясь на прогулку, чинно выступая под-
ле Дорушки, среди бесконечной вереницы пар по ши-
рокому, уличному тротуару и глядя на высокие дома
и роскошные магазины, Дуня с ужасом думала о том,
как бы ей не пришлось попасть в число «счастливых»,
назначенных на завтра в гости к попечительнице. Ей
с детства не нравилась баронесса. Не нравилась и
Нан. Первая казалась ей и тогда притворно-сладкой
и неестественно ласковой, а Нан какой-то холодной и
замкнутой в себе эгоисткой. Правда, поступок Нан с
Муркой примирял несколько Дуню с девочкой, но ведь
и у черствых и холодных людей должны являться в
душе добрые побуждения. Так думалось Дуне, и все-
таки не тянуло ее к баронессе и ее холодной дочери.

Погруженная в свою обычную задумчивость, Дуня
машинально выступала по праздничной оживленной
улице, не замечая, что делалось кругом. А вокруг нее
пышно разворачивалась жизнь.

Под торжественный звон пасхальных колоколов
шумела улица. Люди шли с праздничными лица-
ми; знакомые между собою радостно приветствовали
друг друга, снимали шапки и христосовались тут же на
виду у толпы. Отовсюду веяло светлым праздником и
ароматной весной. Чинно, стройными парами высту-
пали длинной вереницей воспитанницы. Вот сверну-
ли они с Большого проспекта, прошли Кронверкский и

потянулись по Дворцовому мосту и набережной Невы. Синеокая красавица-река, отливающая сталью и серебром на солнце, освобожденная от льда, плавно катила свои воды.

Девочки не отрывали глаз от ее блестящей зеркальной глади. Тетя Леля, дежурившая нынче на прогулке, сама не могла налюбоваться вдоволь на тысячи раз уже виденную ею картину. Блестящими глазами смотрела она на реку, на синее небо, на гранитные берега Невы.

Несколько подростков-мальчиков в штатском платье со сдвинутыми набекрень шляпами попались им навстречу.

Младшему из них было на вид лет пятнадцать. Он разыгрывал из себя взрослого, помахивал тросточкой, тянул слова в нос и шел развинченной, деланно-усталой походкой прискучившего жизнью молодого человека.

Увидя приюток, мальчики сбились в кучку и, громко смеясь, стали о чем-то оживленно шептаться.

Наконец младший из них дерзким взглядом окинул всю длинную шеренгу воспитанниц и остановил насмешливые глаза на тете Леле.

– Какие милашки! – произнес он развязно, играя хлыстиком. – А вот и настоящая фурия в шляпе! – И прежде, нежели побледневшая от неожиданности гор-

батенькая надзирательница успела ответить что-либо дерзкому, он юркнул в толпу и, скрывшись за спинами товарищей, хвастливо и звонко говорил кому-то: – Ага! Выиграл пари! А ты еще спорил, Иртышевский... Ну, плати мне скорее по уговору... Ага! Не струсил-таки, сказал!

Но тут молодой бездельник смолк внезапно и попятился назад. Перед ним стояла высокая девочка в белой косынке и в форменном пальтеце воспитанницы ремесленного приюта. Из-под косынки сверкали злые черные глаза... Побелевшие губы дрожали... По совершенно бледным, как известь, щекам пробежали змейкой нервные конвульсии.

Но голос был тверд и ясен, когда, отчеканивая каждое слово, она произнесла громко и смело:

– Вы гадкий мальчишка! Вы стоите, чтобы взять у вас этот хлыст и хорошенечко отхлестать вас при всех за то, что вы обидели... ее... нашу дорогую... Самого лучшего... самого нецененного человека в мире! – и, задохнувшись от обуревавшего ее волнения, в аффекте неудержимой злобы Наташа Румянцева бросила в лицо смущенного мальчика: – Знаешь ли... ты... ты... злой нехороший мальчуган, знаешь ли, кого, какого ангела ты обидел?..

Наташа кинулась к Елене Дмитриевне и вся дрожащая и взволнованная прижалась к ее груди.

– Он не смеет! Он не смеет называть вас так! Противный, глупый, гадкий! – залепетала она в исступлении отчаяния и негодования.

К счастью, гуляющих в этот ранний утренний час было немного. На набережной, кроме одиноких прохожих, воспитанниц и маленькой кучки юных шалопаев, не было никого.

В толпе последних произошла суматоха.

Высокий красивый мальчик, что-то оживленно говоривший шепотом окружавшим его товарищам, выступил вперед и, вежливо приподняв свою фуражку, произнес с изысканным поклоном по адресу совсем расстроенной тети Лели:

– Я принужден перед вами извиниться, сударыня. Мой товарищ выпил немного лишнее за праздничным завтраком сегодня и позволил себе дерзость, за которую все мы с ним самим включительно извиняемся перед вами.

– Да-да, все мы извиняемся! – подхватили остальные мальчики и точно так же приподняли шляпы.

Затем быстро свернули с тротуара и скрылись из вида за углом огромного здания, увлекая виновника происшествия за собою.

– Какой красавец! – восхищенно прошептала Феничка своей паре, Шуре Огурцовой. – Совсем как рыцарь Рудольф из романа «Оживший мертвец, или

Черная башня!»! Я его обожаю стану, Шура! Этаким благородный, прекрасный молодой человек!

– А отца дьякона как же? – хитро прищурилась Огурцова.

– Ах, уж и не знаю! Столько интересных людей на свете, что...

– Что и сердца не хватит у Фенички нашей! – весело подхватила насмешница Паланя, и цыганские глаза ее так и заискрились смехом.

– А я бы этого красавчика да в Неву бы вместе со всеми остальными. Небось и он спервоначалу с ними шушукался, того дурака поджигал, – сердито заключила она.

– Нет, – вмешалась Гуля Рамкина, самая степенная из старшеотделенок, – я видела, он в стороне держался, в бинокль все глядел на крепость, пока они сговаривались. А потом только, после всего подошел.

– Тоже гусь! Нашел себе компанию. Сам хорош больно, ежели дружит с такими! – фыркнула Липа Сальникова.

Между тем Наташа, все еще не пришедшая в себя, стояла подле тети Лели, крепко вцепившись в руку горбуньи. Последняя, взволнованная не менее девочки, молчала. Но по частым глубоким взглядам, бросаемым на нее доброй горбуньей, Наташа чувствовала, как благодарна и признательна ей нежная душа тети

Лели за ее наивное, но горячее заступничество.

И остальные девочки казались взволнованными не менее их обеих. В полном молчании прошли они остальную часть пути и очутились в огромном Летнем саду, в тени его еще не вполне распустившихся деревьев.

Стрижки с веселыми возгласами бросились на площадку вокруг памятника «Дедушки Крылова» и тотчас же затеяли там какую-то шумную, веселую игру. Старшие и средние, взявшись под руку, парами или шеренгами по несколько человек, углубились в боковые аллеи.

Дуня же и Дорушка, обычная «свита» (так про них говорили в приюте) горбатенькой надзирательницы, присоединились к Наташе, не отходившей теперь от тети Лели ни на шаг.

И только тут, под темными сводами начинающих зеленеть деревьев, горбунья крепко обняла Наташу и горячо расцеловала ее.

Эта безмолвная признательность больше всяких слов тронула девочку, и она еще теснее прильнула к худенькой груди калеки. Последняя глубоко задумалась, глядя на серебристую полосу реки, сквозившей сквозь решетку сада.

Несколько воспитанниц «старших» и «средних» приблизились к их скамейке и молча с любовью смот-

рели на затихшую наставницу.

Но вот она заговорила... Сначала тихо, потом все тверже и увереннее зазвучал ее голос:

– Нет, нет, я не горюю о своем убожестве, – произнесла тетя Леля... – Пусть люди, не знающие его причины, не знакомые с обстоятельствами моего уродства, смеются над моей горбатой и кривой фигурой, пусть издеваются... Я счастлива... эту любовью, тем влечением, которое вы чувствуете ко мне, дети... Да разве счастье иметь красоту сравнится с тем, что я имею? Когда я была маленькой, моя мама, добрая и кроткая, как ангел, научила меня переносить мое несчастье твердо и стойко... Хотя я родилась уже уродцем, но при первых же проблесках в сознании не могла не горевать, видя свое отражение в зеркале наряду с другими детьми, красивыми, стройными и здоровыми. И тут-то она, моя дорогая, научила меня примириться с моей долей жалкой горбуны и воспитывать свою душу в любви и заботе к другим несчастным... И вот, лишенная личного счастья, обреченная с детства на долгую серую жизнь, я под руководством моей доброй, теперь уже, увы! покойной матери научилась отдавать себя всю на пользу маленьких, беззащитных существ, стрижек моих ненаглядных.

Тетя Леля смолкла... Но глаза ее продолжали говорить... говорить о бесконечной любви ее к детям...

Затихли и девочки... Стояли умиленные, непривычно серьезные, с милыми одухотворенными личиками. А в тайниках души в эти торжественные минуты каждая из них давала себе мысленно слово быть такой же доброй и милосердной, такой незлобивой и сердечной, как эта милая, кроткая, отдавшая всю свою жизнь для блага других горбунья.

Глава девятая

По широкой, устланной персидскими коврами лестнице прютки поднимались в приемные комнаты роскошного особняка баронессы Фукс.

Их было шесть «выбранных» счастливиц: обычная посетительница этого дома и любимица попечительницы Феничка, регент прюта, заменившая вышедшую и поступившую уже на место красавицу Марусю Крымцеву, Евгения Сурикова и Паланя Заведеева.

Из средних в число «избранных» попала по своему обыкновению Любочка Орешкина, как любимица Софьи Петровны, Дуняша и Наташа, назначенные по желанию самой Екатерины Ивановны.

Шесть девочек не без волнения входили в роскошные апартаменты Софьи Петровны. Впрочем, волновались только пятеро, так как Наташа Румянцева чувствовала себя как рыба в воде среди этой аристократической обстановки.

Дуня волновалась больше других. Застенчивая, тихая, робкая, смущавшаяся от каждого пристального обращенного на нее взгляда, она положительно терялась уже при одном лицезрении всех этих богатств. Напрасно Феничка, Паланя и Любочка, неоднократно побывавшие здесь, убеждали ее успокоиться, не

волноваться, уверяя пресерьезно девочку, что никто ее здесь не съест, Дуняша не могла побороть в себе невольного смущения и, как к смерти приговоренная, с низко опущенной головой поднималась по отлогим, удобным ступеням лестницы.

Уже издалека, с нижней площадки ее, девочки услышали веселые голоса, смех и оживленную болтовню, звон посуды и звяканье вилок и ножей.

– У Софьи Петровны гости! Они завтракают! – замирая от смущения, лепетала Дуня.

– А нам что за дело до гостей! Надеюсь, они не съедят нашего завтрака, оставят кое-что и на нашу долю! – беспечно и весело отвечала Наташа.

– Тебе-то хорошо... – буркнула Дуня и смолкла, испуганная, в тот же миг.

Лестница кончилась... И шесть девочек, одетых в праздничные одинаковые платья и белые передники, очутились в огромной зале с колоннами, с роялем-гигантом, стоявшим у окна, с изящными желто-белыми стульями из карельской березы, с такими же диванами без спинок и всевозможными украшениями на высоких тумбах и бра.

По крайней мере с десятков зеркал отразили в себе их скромные фигурки в ситцевых праздничных платьях и ослепительно белых передниках.

Из белой залы прошли в гостиную... Ноги девочек

теперь утонули в пушистых коврах... Всюду встречались им на пути уютные уголки из мягкой мебели с крошечными столиками с инкрустациями... Всюду бра, тумбочки с лампами, фигурами из массивной бронзы, всюду ширмочки, безделушки, пуфы, всевозможные драгоценные ненужности и бесчисленные картины в дорогих рамах на стенах...

С разинутым ртом и вытаращенными глазами Дуня шла, дивуясь на всю эту царственную, во сне не сनिвшуюся ей роскошь...

Остальные девочки, бывавшие здесь не однажды, если не удивлялись, то восхищались всей этой роскошью. Одна только Наташа чувствовала себя здесь как в родной стихии. Богатая жизнь Маковецких с самого раннего детства приучила к комфорту девочку.

– Господи! Век бы не ушла отсюда... – шептала восторженно Феничка, восхищавшаяся постоянно богатством дома попечительницы. – Теперь только бы прекрасному принцу войти сюда, к нам навстречу, либо красавице-принцессе какой!

– Держи карман шире! Как же! Так вот и выйдут тебе! – тихо усмехнулась Паланя и неожиданно замерла на месте.

– Ах!

Цыганские глаза девушки почти с ужасом остановились на неожиданно представшей перед ними фигуре

человека.

Одетый в безукоризненный костюм, с длинными белокурыми волосами, с мечтательным, чрезвычайно благородным лицом, бледный и нежный в своей бархатной куртке с небрежно повязанным артистическим галстуком, стоявший на пороге гостиной юноша казался действительно переодетым принцем. Он издали любезно улыбался подходившим девушкам.

– Душеночка какой! – прошептала Феничка, не отрывая от незнакомца восхищенных глаз.

– Да ведь это он! – неожиданно вскрикнула Наташа и, рванувшись вперед, подбежала к молодому человеку.

– Это ведь вы? – затараторила она, без церемонии хватая его за бархатный рукав куртки. – Вы тот самый юноша, что заступились за нашу милую тетю Лелю там, на набережной? Вы? Я не ошиблась! Нет, нет, не отпирайтесь, я вас узнала сразу... Зачем вы здесь?

Молодой человек взглянул на смешного стриженого подростка с глазами, сыпавшими искры, с подвижным, некрасивым, но тем не менее обаятельным личиком, в котором жила и трепетала сейчас каждая черта.

– Я и не думаю отрекаться, – произнес он спокойным голосом, – действительно, я был на набережной утром с моими школьными товарищами. А сейчас я

здесь в доме моей тетки баронессы Софьи Петровны. Я родной племянник ее покойного мужа и каждый праздник провожу здесь. Будни же в пансионе, с тех пор как вернулся из-за границы. Там я пробыл несколько лет в музыкальной школе, немудрено, что вы раньше не встречали меня здесь. Сейчас же кузина Нан выслала меня встретить вас, так как сама она занята гостями.

– Все это прекрасно, – едва вслушавшись в его слова, произнесла Наташа, – вы вот что скажите мне: неужели вам не стыдно дружить с теми скверными мальчишками, которые позволяют себе смеяться над обиженными судьбою людьми? – И говоря это, она даже побледнела, воскресив в своей памяти недавнюю сцену, и вызывающе взглянула на юношу.

Тот ответил ей в свою очередь долгим, пронизательным взглядом. Потом бессознательным, полным врожденной грации движением откинул прядь волос, упавшую ему на лоб, и произнес тем же уверенным и спокойным голосом, исполненным достоинства и доброты:

– Если бы вы были несколько наблюдательнее, то, наверное бы, заметили, что я держал себя в стороне от моих буйных товарищей, но как только произошел досадный и нежелательный инцидент, я присоединился к ним и приложил все старания.

– Это правда! – прозвучал несмелый детский возглас.

– Кто сказал это?

Серые, мягкие глаза юноши обежали маленькую группу приюток и остановились на малиновой от смущения Дуне.

Девочка помимо собственной воли проронила эту фразу и теперь, краснея до ушей, не знала, куда девать глаза от стыда и страха.

– Вы самая справедливая и снисходительная, и я вам очень благодарен за ваше заступничество, – произнес по ее адресу ласковый голос племянника баронессы. И затем, обращаясь уже ко всем приюткам, он добавил, улыбаясь: – Это очень, очень неприятно, когда вас без вины обвиняют в чем-нибудь... Не...

Он не успел закончить своей фразы. В дверях гостиной появилась нарядная фигура самой баронессы.

– Вот они, наконец! Рыбки мои золотые! Пташечки мои прелестные! Крошки! Красавицы, душечки мои! – зазвучал ее серебристый голосок, наполняя, казалось, сразу все уголки роскошной гостиной. – Прилетели-таки, райские птички мои. Феничка, красоточка моя! Еще больше распустилась – роза, совсем роза... Евгеша возмужала, пополнила, взрослая девица, хоть сейчас под венец! Паланя! Те же плутовские глазенки,

цыганочка моя черноокая... Любочка, херувим ты мой беленький... Дуняша! Ты что же не растешь, моя незабудочка, а это кто? Ах, да, новенькая! Слышала, слышала, по письмам Екатерины Ивановны... Наташа Румянцева?.. Так? Прелестный ребенок! Будем друзьями!

Все это било фонтаном из уст Софьи Петровны. В одно и то же время она успевала разглядывать лица сконфуженных девочек и гладить их по головкам, и ласково трепать по щечкам, и на лету целовать поспешно темные и белокурые головки.

– Ну, ну, птички мои! Будет мне тормозить вас, золотые! Идем скорее в столовую, завтрак остынет.

И подхватив одною рукою под руку льнувшую к ней особенно Феничку и обняв другой Любу Орешкину, баронесса прошла в столовую, приказав остальным воспитанницам следовать за нею.

– Вот они, мои девочки! Прошу любить и жаловать, господа! – прозвенел уже на пороге комнаты ее жизнерадостный голосок.

За длинным столом, сервированным с редким вкусом и роскошью, обвитым гирляндами цветов по борту, с огромными букетами и редкостными фруктами в хрустальных и серебряных вазах, сидело большое, изысканное общество.

Тут были и военные в блестящих позолотою шитья

и орденами мундирах, и статские в безукоризненно сшитых фраках, и целый нарядный цветник барышень и дам.

При виде появившихся «детей» баронессы, как принято было называть воспитанниц благотворительного учреждения Софьи Петровны, все присутствующие повернулись в их сторону и не сводили теперь глаз с миловидных юных лиц шести девушек.

– Вот вам стол. Садитесь и кушайте на здоровье! – радушно проговорила хозяйка, подводя приюток к стоявшему в простенке между двумя окнами небольшо-му столу, накрытому на шесть приборов.

– Нан! Вальтер! Идите угощать гостей! – повысив голос, весело крикнула хозяйка дома.

– Дуня, разве ты не узнаешь меня?

Перед стулом Дуняши стояла молодая девушка, худая, нескладная, с слишком длинными руками, красными, как у подростка, кисти которых болтались по обе стороны ее неуклюжей фигуры. Длинное бледноватое лицо с лошадиным профилем, маленькие, зоркие и умные глазки неопределенного цвета и гладко зачесанные назад, почти зализанные волосы, все это отдаленно напомнило Дуне далекий в детстве образ маленькой баронессы. Теперь Нан вытянулась и казалась много старше своих пятнадцати лет.

А рядом со своим красивым, изящным кузеном она

казалась совсем дурнушкой.

– Это еще кто такая? – шепнула Наташа чуть слышно на ухо Дуне, скосив глаза в сторону молодой хозяйки.

Последняя сконфузилась еще больше. Но в это время к Наташе подошел молоденький Вальтер Фукс и, поместившись между нею и Любочкой, стал усердно угощать обеих девочек.

Нан взяла первый попавшийся стул и села подле Дуни. Сохраняя на лице своем тот же обычный чопорно-невозмутимый вид светской девушки, она расспрашивала Дуню о приюте, не забывая в то же время усердно подкладывать на ее тарелку лучшие куски.

Мало-помалу Дуня перестала смущаться и, забыв о десятках чужих глаз, устремленных с «большого стола» на их скромный столик, сама разговорилась с Нан.

Вспомнили детство, эпизод с Муркой...

– Кстати, я покажу вам его! – произнесла молоденькая баронесса, и непривычная ее холодному равнодушному лицу тень упала на ее лицо.

– Мурку? Мурка здесь? Вы покажете нам Мурку? – оживленно затараторила Любочка, вслушавшись в разговор соседок.

Между тем Феничка, искоса бросая взгляды на «красавчика барончика», которого она уже втайне ре-

шила «обожать», старалась изо всех сил обратить на себя его внимание. Она то во время еды как-то особенно оттопыривала руки локтями вверх и, держа нож и вилку тремя пальцами, манерно отставляла два остальные, то жеманно поджимала губки, что, по ее мнению, было лучшим признаком хорошего тона, то потупляла глаза, словом, ломалась и жеманничала всюю.

Начитавшись глупейших бульварных романов, Феничка изо всех сил старалась подражать их героиням, каким-то несуществующим герцогиням и маркизам, которыми кишели добываемые ею книги.

Не замечая, что гости за большим столом, едва сдерживая улыбки, смотрят во все глаза на ее ломанья, Феничка продолжала проделывать все свои манипуляции.

– Нет, мерси-с, я уже кушамши! – неожиданно выпалила она подававшему ей во второй раз жаркое лакею.

И тут же, подобрав весь соус со своей тарелки, оттопырив мизинчик правой руки до пределов возможного, на кончике ножа отправила его в рот.

– Ах, боже мой! Кто же с ножа ест! Брось, Феничка! Это варварство! – с веселым смехом шепнула ей Наташа, наблюдавшая уже несколько минут за ломавшейся старшеотделенкой.

– Не твоё дело! – фыркнула таким же шепотом Феничка и преспокойно облизала лезвие ножа с обоих концов, к немалому удовольствию Наташи.

После завтрака Нан провела приюток на свою половину.

Она занимала целых четыре комнаты. У нее был прелестный будуар-гостиная с голубой шелковой мебелью, с широким трюмо во всю стену, с массой безделушек на этажерках и столах, светлая уютная спальня с белоснежной постелью, с портретом ее отца, покойного барона, на которого Нан походила как две капли воды. Портрет во весь рост, занимавший простенок между двух окон, был исполнен масляными красками. На нем был изображен высокий, худой человек в генеральском мундире с баками и усами, типичный немец, сухой и чопорный на первый взгляд, как и его дочь.

– Это отец! – произнесла Нан, подняв свои маленькие глазки к портрету, причем лицо ее чуть заалелось, и какое-то несвойственное выражение мягкости легло на ее угловатые черты. Она даже похорошела в эту минуту от озарявшего ее чувства.

– О, он был такой добрый! – прошептала она как бы про себя. Потом, словно спохватилась сразу и, придав своему лицу выражение обычной светской непроницаемости, повела приюток через небольшую класс-

ную комнату с рабочим столом и книжными шкафами в четвертую горницу – небольшой изящный кабинет.

– Мурка! – радостно в один голос вскричали Дуня и Любочка, едва только успели переступить порог этой комнаты.

Действительно, на великолепной тумбе красного дерева, сделанной в тон изящному письменному дамскому столику и мебели, на мягкой малиновой бархатной подушке важно возлежал очаровательный котышка, успевший возмужать и растолстеть за последние четыре года.

– Мурка! Мурка! Здравствуй, миленький! Ты ведь узнал нас, правда? Да какой же ты стал большой и толстый, красивый! А шерстка-то – чистый шелк! И белая, как снежинка! Ну, теперь тебя не упрячешь, братец, в муфту! Громадный какой!

И девочки, большие и маленькие, теснились вокруг тумбы, на которой по-прежнему важно, без малейшего признака движения лежал красавец-кот. Они напереерыв гладили и ласкали очаровательное животное. Дуня и Любочка особенно нежно льнули к своему давнишнему любимцу.

Еще бы! Ведь он был их воспитанником! Они, тогда еще маленькие стрижки, так долго кормили и лелеяли его! Пока Нан не увезла к себе Мурку, спасши его от преследований Павлы Артемьевны, он принадлежал

им и только им.

Добрая Нан! Несмотря на ее чопорную и сухую внешность, как она хорошо заботилась о их общем питомце! Как она откормила его!

И Дуня с Любочкой, а за ними Паланя, Феничка и Евгеша бросали благодарные взгляды на молоденькую баронессу, стоявшую тут же около их милого зверька.

Но что это случилось с ней?

Обычно бледное и без того, личико Нан стало еще бледнее. И глубокая-глубокая тоска отразилась в ее маленьких, умных и печальных глазках.

– Нан! Нан! Что с вами?

Девушка с трудом подняла глаза на своих сверстниц. В них блестели слезы.

– Да разве вы не видите? Вы не видите? Ведь мертвый Мурка, не живой! А это... это... только чучело прежнего Мурки... прекрасно артистически исполненное за границей... Но все же чучело, – с трудом, через силу, выдавила из себя Нан.

– Как? Чучело? Неужели? Ах! – посыпались вокруг молоденькой хозяйки взволнованные, полные недоумения возгласы ее гостей.

– Да, чучело! – с тяжелым вздохом продолжала Нан. – Уезжая отсюда, четыре с лишком года тому назад, я взяла живого Мурку с собою.

Года два он прожил там со мною, мой милый, единственный друг... И вот однажды его укусила бешеная собака... Я всеми силами старалась спасти его... И не могла... Он умер, и начальница нашего пансиона, очень жалевшая меня, приказала сделать с него чучело и подарила его мне... моего бедного мертвого Мурку... Но мертвый не может заменить живого... А я так привязалась к нему! Ведь он был единственным существом в мире, которое меня любило! – глухо закончила свой рассказ Нан...

Протянулась мучительная пауза. Все шесть девочек чувствовали себя как-то не по себе. Особенно тоскливо стало на душе Дуни. Впечатлительное, чуткое сердечко подростка почуяло инстинктом какую-то глухую драму, перенесенную этой молоденькой аристократкой, жившей среди роскоши и богатства и в то же время чувствовавшей себя такой одинокой и печальной.

«Единственное существо в мире, любившее меня», – звучала отзвуком в душе Дуни сказанная Нан фраза.

А ее мать? Баронесса Софья Петровна, такая ласковая, обходительная со всеми чужими девочками, неужели она не любит своего единственного и родного детища? Неужели?

Но дальнейшие мысли Дуни были прерваны преж-

ним ровным и невозмутимо спокойным голосом юной хозяйки.

– Пойдемте в залу... Вы слышите? Там играют? Это кузен Вальтер! О, он настоящий большой артист! Идемте слушать его!

И она первая вышла из своего прекрасного кабинета. За нею следом поспешили приютки.

Из апартаментов баронессы действительно неслись сладкие, печальные, рыдающие аккорды. Они врывались во все уголки огромного дома и своей грустной мелодией затопляли маленькое, сильно бьющееся сердечко Дуни... «Нан несчастна... Нан одинока... – выстукивало это маленькое, чуткое до болезненности сердечко, – одинока и несчастна, несмотря на всю роскошь, все богатство, окружающее ее... Но что же надо, чтобы сделать ее радостной и счастливой?» О! Она, Дуня, с удовольствием приласкала бы, утешила, ободрила ее! Ей жаль бедняжку Нан! Если бы она могла подружиться с нею как с Дорушкой и с Наташей... Окружить заботой и лаской, о, если бы можно!

А чудные звуки дивной, незнакомой Дуне и ее спутницам мелодии все лились сладкой волною и, остро волнуя чуткую, нежную, как цветок, детскую душу, звали, манили ее безотчетно к неясным подвигам самоотречения и добра.

Глава десятая

– Тс! Тише! Тихонько! – послала шепотом навстречу вошедшим в залу приюткам баронесса Софья Петровна, смягчая замечание самой обворожительнейшей из своих улыбок.

Затаив дыхание, на цыпочках воспитанницы переступили порог огромной комнаты. Гости попечительницы с чашками кофе в руках сидели здесь на низеньких диванах, табуретах и на золоченых стуликах, уставленных вдоль стен. Барон Вальтер Фукс был за роялем.

Как испуганное стадо барашков с недоумевающими глазами, сбившись в кучку, девочки столпились у дверей. То, что услышали они, казалось, было выше их понимания. После скромной музыки тети Лели, игравшей им бальные танцы в досужий вечерний час, после грубого барабанения по одной ноте Фимочки во время часов церковного и хорового-светского пения, игра юного Вальтера казалась им как будто и не игрою; это было пение вешнего жаворонка в голубых небесных долинах, быстрый, серебряный, журчащий смех студеного лесного ручья, тихое жужжанье пчелки над душистой медвяной розой, ясный, радостный говор детишек и шум отдаленного морского прибоя вдали.

Потом неожиданно тихая мирная музыка перешла в бурные, грозные раскаты грома... в сверкание молний на почерневшем пологие неба, в бурные вихри, гнувшие столетние дубы до самой земли, и чей-то рыдающий вопль, исторгнутый из недр надорванной осиротевшей души.

Громче, громче становился этот вопль... Все слышнее и реальнее звучал он в звуках рояля. Из глубины рыдающей симфонии он перебежал в залу и потряс ее своды, зловещий, источник, рыдающий голос человеческого горя и неопишуемого страдания...

Занятые неземным исполнением божественной, бессмертной симфонии, передаваемой Вальтером, присутствующие не заметили, как невысокая фигурка девочки с короткими вихрами черных волос, с горящими, как звезды ночного неба, глазами рванулась вперед... На цыпочках перебежала она залу и очутилась в углублении ребра рояля, прямо перед бледным, вдохновенным, поднятым кверху и ничего не видевшим, казалось, сейчас взором юного музыканта.

Горящие глаза девочки впились в это светлое, вдохновенное лицо, на котором переживалась теперь целая гамма ощущений.

В разгоряченной головке зароились недавние пережитые впечатления: такая же нарядная огромная зала в барском имени. Такой же рояль... Но за ним не

этот бледный красивый юноша, а представительная, полная фигура дамы, генеральши Маковецкой... Но та же симфония, та же... И исполнение такое же... Та же игра... Тот же гимн жаворонка в поднебесной выси... те же переливчатые серебряные трели ручейка, тот же победный вихрь перед бурей, те же жуткие грозовые раскаты вдали... И тот же вопль людского горя... Все то же... Но нет уже в живых прежней исполнительницы этой божественной музыки. Она умерла, зарыта в могиле... И никогда, никогда не вернется к своей приемной дочурке она...

Острая, жгучая тоска... Боль пережитых воспоминаний... Сожаление о минувшем... Все это вихрем поднялось из глубины детской души и закружилось, и завертелось, и зашумело в ней, наполняя неопишуемым страданием эту бедную маленькую душу!

И когда раскаты отдаленного грома затихли, умерли в их мрачных аккордах и снова где-то вдали заиграл рожок пастушка, собиравшего привычной музыкой разбежавшееся среди бури перепуганное стадо, Наташа рванулась еще ближе к роялю, с силой ухватила обеими руками за руки музыканта и, сорвав их с клавиатуры с рыданием, потрясшим все ее существо, истерически закричала:

– О, перестаньте... Я не могу... не могу больше... Это играла моя покойная мама. Моя мама доро-

гая! – прорыдала она голосом, полным недетской муки переживаний и отчаянной, острой тоски.

И, закрыв лицо руками, опустилась на стул подле рояля.

– Боже мой! Да ведь это Наташа! Девочка милая, где же твои кудри... И это платье? К чему такой маскарад?

Высокая полная старая дама в сером шелковом платье наклонилась над плачущей.

Ее доброе лицо с длинным, типично армянским носом, с большими грустными восточными глазами и маленьким ртом с недоумением и тревогой приблизилось к девочке.

Вокруг плачущей Наташи толпились гости, взволнованные, недоумевающие... Суетилась баронесса хозяйка, предлагая воду, успокоительные капли... Вышедшая из своего равнодушного спокойствия Нан и Вальтер бросились за лекарством в спальню хозяйки.

Но Наташа не видела и не слышала никого до той минуты, пока не раздался над нею голос старой дамы армянского типа.

Тут девочка быстро оторвала платок от глаз, взглянула влажным от слез взглядом и с громким, радостным криком повисла на шее у последней.

– Тетя Маро! Тетя Маро! – неистово залепетала она, покрывая слезами и поцелуями пухлые щеки об-

нимавшей ее с не меньшей радостью гостьи.

– Дитя мое! Наташенька милая! Как ты здесь очутилась? – едва успевала спрашивать та.

Обычное жизнерадостное настроение сразу вернулось к Наташе. Ничуть не смущаясь удивленных и сочувственных взглядов гостей, устремленных на нее, она прижалась к груди своей старой знакомой и, нежно обнимая ее за полную шею, заговорила, вернее, залепетала быстрым-быстрым говорком:

– О, тетя Маро! Вы и не знаете, сколько за все это время пережила ваша бедная Наташа! Помните, сколько раз вы навещали вашу подругу, мою покойную татап-благодетельницу, наезжая из Тифлиса в наши края... Помните, как вы меня любили?.. Сколько раз, лаская меня и задаривая конфетами и подарками, вы говорили моей татап: «Ты счастливица, Мари, у тебя есть муж и Наташа. А я одинока совсем. Отдай мне Наташу, если тебе прискучит девочка...» Вы шутили тогда, а татап смеялась. Ах, как она меня любила! – тут голос Наташи, упав до шепота, зазвенел слезами... – Вы слышали, конечно, что татап умерла вскоре по смерти генерала... А потом... потом меня отдали в приют... Ах, тетя Маро! Вы в вашем далеком Тифлисе не могли знать, что родственники покойной татап так поступят со мною!.. Ведь вас известили о том, что я в надежных руках, не правда ли?

– Да, моя девочка! Мне написали, что племянница покойной Мари берет тебя к себе в дом... Я и поверила этому... Хотя решила с первою же возможностью узнать о твоей судьбе. Помнишь, как я лелеяла маленькую Наташу? Неужели же я могла забыть о тебе!.. К сожалению, дела требовали моего присутствия в Тифлисе и я не могла приехать даже на похороны твоих близких. Теперь, когда я устроилась и вырвалась, наконец, в Петербург, первое, что я сделала, это отправилась в Восходное навести о тебе справки и поклониться дорогой могиле покойного друга... Там меня успокоили на твой счет, подтвердили, что ты взята на воспитание племянницей Мари и что тебе прекрасно живется...

– Они обманули вас! Они отдали меня в приют... – горячо с негодованием вырвалось у Наташи.

– О! – могла только вздохнуть княгиня Маро Георгиевна Обольянец и нежно прижала к себе ребенка.

Действительно, Наташа сказала правду, что когда-то княгиня мечтала удочерить эту девочку.

Прелестное дитя, взятое в дом ее подругой по институту (княгиня Маро воспитывалась в Петербурге, хотя и была уроженкой Кавказа), очаровывало бездетную вдовствующую княгиню... Не раз она упрашивала Марию Павловну Маковецкую уступить ей Наташу, привязавшись к девочке со всем материнским пы-

лом своей горячей души.

Если бы она могла только знать, какая участь ожидала этого обожаемого ребенка! Она, эта прелесть – Наташа – воспитанница ремесленного приюта!

Уж полно, не сон ли снится ей, княгине, ужасный и мрачный сон! С тупой болью отчаяния она смотрит на исколотые иголкой пальчики девочки, на ее бедный скромный приютский наряд, и слезы жалости и обиды за ребенка искрятся в черных огромных глазах княгини. А кругом них по-прежнему теснятся знакомые Софьи Петровны во главе с самой хозяйкой дома. Кое-кто уже просит Маро Георгиевну рассказать сложную повесть «девочки-барышни», попавшей в приют наравне с простыми детьми.

Баронесса оправдывается, волнуясь:

– О, разве она знала! И если бы знала, могла ли допустить такую трагедию! Да, это целая трагедия! Девочка, воспитанная богатою наследницею, попадает чуть ли не на положение прислуги. Бедная, милая крошка! Что она только перенесла!

И с этим патетическим восклицанием Софья Петровна нежно несколько раз подряд поцеловала Наташу.

– Не беспокойтесь, – бойко ответила та, уже вполне оправившаяся от своего волнения, – мне жилось в общем недурно, меня там любили, кроме Пашки, по-

жалуй.

– Ах! – она смущенно смолкла, заметя свою ошибку... – Павлы Артемьевны, хотела я сказать, – прибавила она чуть слышно. – Но и с нею мы стали друзьями в конце концов...

Потом, оглядев группу приюток, все еще теснившихся в углу у двери, добавила громко:

– Но больше всех я видела любви от Дуняши. О, тетя Маро! Если бы вы знали, какая она прелесть! Вот она!

Тут, быстро отбежав от своего старого друга, Наташа схватила за руку сгоравшую со стыда Дуню и сильно вытащила ее вперед.

– Вот, тетя Маро, кто мне помогал переносить тяжелые дни! Ну, не правда ли, ведь она прелесть, моя Дуняша! Я же говорила... И когда вы будете навещать меня в приюте, вы должны получше познакомиться с нею... Не правда ли, ведь вы будете навещать меня, да?

Черные восточные глаза княгини обратились пристальным взором к Наташе.

– Нет, моя девочка! – твердо произнесла Обольянец. – Мне не придется тебя навещать там.

– Но... – взор Наташи мгновенно погас и стал совсем печальным. – Разве вы уезжаете так скоро? – чуть слышно прошептала она.

– Да, моя девочка! Да!

– Но... вы... вы будете мне писать по крайней мере?

– Нет, дитя, и писать тебе я не буду!

И еще зорче, еще пристальнее заглянули глаза старшей дамы в самую, казалось, душу девочки.

– Но мне будет очень грустно в таком случае! Вы единственный близкий мне человек, родная душа, которую я так любила в дет...

Наташа не закончила... Губы княгини прижались к ее губам...

– Если ты меня еще любишь и помнишь, деточка, то останься всегда со мною, моя Наташа! Я увезу тебя в Тифлис, на мой милый Кавказ, и весь остаток моей жизни посвящу тебе, чтобы вернуть тебе все то, что ты потеряла, дитя!

И княгиня, обняв девочку, с напряженным вниманием ждала ответа...

Наташа задумалась на мгновение, во время которого на лице ее промелькнула снова целая буря переживаний.

Потом с легким криком радости упала на грудь княгини.

* * *

Весь остаток дня был сплошным торжеством для

Наташи, «приюткой-барышней» интересовались все. Ее расспрашивали, ласкали, угощали сладостями.

Талантливый Вальтер играл, казалось, для нее одной, лучшие свои симфонии и сонаты.

Потом заставили играть Наташу. Не успевшие еще загубить в работе пальчики девочки после долгого перерыва бойко забегали по клавишам. Она грациозно и мило исполняла нетрудные пьески... Софья Петровна радовалась, что нашла способ, чем занять гостей... Гости искренно восхищались оригинальной приюткой. Легкомысленная Феничка не спускала с Наташи восхищенных взоров и как верная собачка ходила по ее пятам.

Но Наташа давно уже знала цену такой привязанности и не доверяла больше своей почитательнице.

Она не расставалась с Дуней, которая льнула к ней неудержимо и поминутно шептала: «Неужели ты уедешь и оставишь меня? Да неужели же, Наташа?»

Но и Дуня мало интересовала нынче ее подружку.

Счастливая, радостная и возбужденная, Наташа с удовольствием выслушивала похвалы гостей. Каждый хотел угодить богатой и известной чуть ли не целой России княгине Обольянец.

И прежняя, давно не слышанная уже Наташей лесть заklubилась словно паром над ее стриженной головкой.

Ее заставляли петь, декламировать, говорить по-немецки и по-французски, ею восторгались, восхищались наперерыв. И когда с неподражаемым комизмом девочка передала на чистейшем французском языке одну из басен Лафонтена, восторгу присутствующих не было границ.

Баронесса Софья Петровна буквально засыпала Наташу поцелуями и цветами, опустошив для этого все вазы, стоявшие на столах...

– Сказочная Сандрильона! Не правда ли? Маленькая принцесса, превращенная на время в бедную девочку по капризу злой волшебницы-судьбы! – звенел ее голосок, и снова поцелуи и цветы сыпались дождем на Наташу.

В это время княгиня Оболянец, отведя в сторону Вальтера, говорила ему:

– Сердечное вам спасибо, милый юноша... Благодаря вашей бесподобной игре, заставившей проваться наружу Наташино горе, вы вернули мне потерянную было мою любимицу, и теперь одинокая старуха нашла свое счастье на закате дней!

И она благодарно сжала тонкую руку юного музыканта.

Перед обедом разъехались гости... Уехала и княгиня Маро, расцеловав Наташу и пообещав ей на другой же день приехать за нею.

Приютки должны были отобедать и провести вечер в доме попечительницы.

Перед самым обедом хватились Дуни.

– Где маленькая Прохорова? Куда девалась она? – раздавались тревожные голоса, и дети и взрослые разошлись по всему дому в поисках за Дуняшей.

Баронесса Нан, спокойная по виду, но с целой бурей, тщательно скрытой в тайниках души, проскользнула на свою половину.

Что-то говорило одинокой девушке, что другая такая же одинокая молоденькая душа тоскует здесь, у нее, вдали от шумных людей, безучастных к чужому горю... С далеко не свойственной ей порывистостью она распахнула стремительно дверь своего кабинета...

У большой тумбы красного дерева, обвив руками чучело Мурки и прижав к его шелковистой шерсти залитое слезами лицо, отчаянно и беззвучно рыдала Дуня...

Глава одиннадцатая

Нан неслышно и быстро приблизилась к ней... Положила на плечи плачущей свои худые, некрасивые руки и прошептала, склоняясь к ее плечу:

– Плачь, девочка, плачь... Знаю твое горе! Слезы облегчат его... Ах, если бы я могла и умела плакать, как ты!.. Слушай, девочка, я знаю, это очень тяжело и горько... Уезжает друг, которого любишь, к ласке которого ты привыкла... Но это еще не так горько, как видеть постоянно близкое, дорогое существо, расточающее свою любовь и ласки другим детям! Я гордая, Дуня, и никому другому не скажу того, что мучит меня с детства. А тебе скажу... Ты сама такая тихая и грустная... Такая честная, добрая... И ты сумеешь молчать... Слушай! Все кругом считают меня холодной, бесчувственной, жестокой, слишком жестокой и сухой для моих пятнадцати лет, а между тем... Ах Дуня, Дуня! Если б ты знала, как я несчастна! У меня есть мать и нет ее... Для всех других детей моя мама, но не для меня... Меня она не любит. Я худая, неласковая, сухая, без сердца... Я некрасивая, дурнушка, а она, моя мама, любит добрых, мягких и ласковых детей... Если б я умела ласкаться! Я бы, кажется, слезами и поцелуями покрыла ее ноги, руки, подол ее пла-

тья! Но, Дуня! Милая Дуня! Тебе не понять меня...

А мне так больно бывает порою, так мучительно тяжело и больно... Феничка, Любочка, Паланя... все они дороже моей маме, нежели я... Еще бы! они умеют вслух восхищаться ею, Целуют, обнимают ее. Они смелые, потому что хорошенькие, потому что сознают свое право красивых и ласковых детей. А я смешна была бы, если бы осмелилась приласкаться! Но, Дуня... и у меня есть сердце, и в нем живет огромная любовь к матери... Веришь ли, я часто не сплю полночи и жду того мгновения, когда, вернувшись с какого-нибудь великосветского вечера или из театра, мама пройдет ко мне в спальню, наклонится над моей постелью, перекрестит и поцелует меня... А я, притворяясь спящей, ловлю этот поцелуй с зажмуренными глазами... И сердце у меня бьется вот так... сильно-сильно, как сейчас... И я замираю от счастья... А утром делаю спокойное деревянное лицо, когда официально целую ее руку, здороваюсь с нею... А душа кипит, кипит в эту минуту. Так бы и бросилась к ее ногам, прижалась к ее коленам, вылила ей всю свою любовь к ней и тоску по ее ласке... Ах, Дуня! Зачем я такая некрасивая, неудачливая, такая трусиха! Видишь, я несчастливее тебя!

Нан кончила и закрыла глаза рукой, и сквозь ее тонкие пальцы заструились слезы, одна за другой, одна

за другой...

И при виде чужого горя собственное несчастье предстоявшей ей разлуки с Наташей показалось Дуне таким маленьким и ничтожным!

Драма Нан была не детская драма... И острое чувство жалости к девушке сожгло дотла, казалось, сердце Дуни.

– Нан... барышня моя золотенькая... Анастасия Германовна... Не горюйте... Я вас понимаю... Я вас очень даже понимаю... – зашептала она... – Вы только одному поверьте, барышня... Я вас всей душой жалею и... и... люблю... За горе ваше полюбила... Я давно заметила... и ежели... когда еще грустно вам станет... Вы меня кликните... Я еще маленькая, глупая, а все же понять могу... Так позовите меня, барышня, либо сами ко мне придите! – и сказав эти непривычно смелые для нее слова, Дуня потупилась, крутя в руках кончик передника с не высохшими еще слезинками, повисшими на ресницах.

Нан оторвала руку от лица и долго, внимательно смотрела на свою собеседницу... И мягкая улыбка, счастливая и грустно-радостная, озаряла ее лицо, сделавшееся благодаря ей таким привлекательным и милым...

– Спасибо, Дуня, – произнесла она, наконец, – с этого дня я не буду такой печальной... Ты мне пришла

на помощь в тяжелую минутку, и этого я не забуду тебе никогда, никогда!

И быстро наклонившись к лицу оторопевшей девочки, Нан запечатлела на ее щеке горячий, искренний, дружеский поцелуй...

* * *

На следующий день Наташа Румянцева уезжала из приюта.

Княгиня Маро Георгиевна Оболянец увозила девочку на свой родимый Кавказ.

Всю эту ночь не спали среднеотделенки. Новая благодетельница Наташи прислала им целые бельевые корзины с закусками, фруктами и конфетами, которыми Наташа должна, была угостить на прощанье своих подруг.

К счастью, Павла Артемьевна была в гостях у родственников в этот вечер, а замещавшая ее на дежурстве педагогична Антонина Николаевна, понимая со свойственной одной молодости чуткостью всю исключительность «события», решила побаловать приюток и закрыть глаза на многое, что при иных условиях не согласовалось со строгим приютским уставом.

Уже в девять часов поднявшись в дортуар, среднеотделенки были предоставлены самим себе милой

надзирательницей старших.

Начался пир...

Были приглашены старшие: Феничка, Евгеша, Липа Сальникова, Паланя, Шура Огурцова и другие...

Зажглись свечные огарки на «постельных» столах... Воспитанницы составили несколько постелей вместе, накрыли их бумагой, устали яствами, присланными княгиней. И гости, и хозяева расселись вокруг этого импровизированного стола. Загорелась оживленная беседа.

– Подумайте, девочки, Кавказ увижу! Горы там до неба... В небе кружат орлы... Шумят речки, горные потоки, черкесы в бурках скачут в ущельях... – рассказывала со слов княгини, сверкая глазами, Наташа, сидевшая на почетном месте.

– Ах, душки! – восторгалась Феничка. – Боже мой, в бурках! Неужто настоящие черкесы! Ах!

– Ну, знаешь, эти душки – такие, что тебя из-за каждого камня подстрелить норовят!.. – вмешалась со смехом Васса. – Не читала ты, а?

– Как подстрелят? – округлила свои без того круглые глазки Феничка.

– Да очень просто... Я читала в одной книжке, что кавказцы разбойники и жулики, каких мало, – уверяла Васса, отправляя при помощи рук жирную сардинку в свой крупный рот большого лягушонка.

– Девочки! А что это за зверь? – извлекая из корзины желтый спелый банан, спрашивала Оня Лихарева.

– Какое невежество! – фыркнула презрительно Феничка. – Неужели никогда не едала?

– В твоих книжках небось все графини да маркизы этим только и питаются, скажешь? – лукаво отпарировала та.

– А то нет? Я сама очень одобряю эту штучку. Банан называется! Кушала много раз... – не без гордости заявила Феничка.

– Да как их едят-то, прах его возьми, – не знаю! – сокрушалась Маша Рыжова, с жадностью поглядывая на невиданный ею плод.

– Ах, боже ты мой, вот деревня-то! Кушают как надо кушать, обыкновенно. Одни мужики этого не знают! Вот так!

И храбро схватив банан, Феничка, в жизни своей не едавшая «заморского фрукта», как она мысленно окрестила его тут же, впилась в его шкурку острыми зубками и с гримасой отвращения принялась его жевать.

Кислая, противная, несъедобная оболочка плода сразу набила оскоминой небо и десны девушки. Но не желая показаться «невежей и мужичкой» перед подругами, Феничка продолжала храбро жевать неочищенный плод, едва не давясь шелухой, тараша от

кислоты его глаза и делая при этом невозможные гримасы. Когда же последний кусочек был с невероятным усилием проглочен ею, Наташа, сдерживавшаяся с трудом до этой минуты, неожиданно расхохоталась на всю спальню.

– Ай да Феничка! Вот так аристократка! Съела то, что коровы да еще кой-какие животные с носами в виде пяточков только едят! Кто же бананы с кожей кушает! Вот уж подлинно осрамилась!

– Осрамилась! Осрамилась Клементьева, что и говорить! – подхватили девочки со смехом.

Красная, как пион, Феничка вскочила со своего места, потопталась бессмысленно на одном месте и неожиданно бросилась к двери дортуара. На пороге она остановилась на минуту и, презрительно фыркнув, прокричала:

– Отлично я знала, как кушают банан, а только нарочно так сделала, чтобы Наташеньку посмешить! А вы уж и обрадовались, бессовестные! – И скрылась за дверью умывальной под дружный взрыв хохота девиц.

Глава двенадцатая

– Не плачь, Дуня, не плачь, моя тихая, грустная голубонька... Приеду я к тебе... Через год даже, может статься, приеду с Кавказа тебя проведать! – тараторила Наташа, обнимая прильнувшую к ее груди подружку.

Одетая в нарядное «домашнее» платье Наташа казалась старше и красивее. Нелепо выстриженную головку прикрывал бархатный берет. Черные глаза сверкали оживлением. Яркий румянец не сходил с пылающих щек девочки. Это была прежняя Наташа, живая, беззаботная птичка, почуявшая «волю», довольство и прежнюю богатую, радостную жизнь, по которым бессознательно тосковала ее маленькая душа. Дуня, едва удерживая слезы, стояла перед нею.

– Ты нас скоро забудешь! – с тоскою шептала она.

– Тебя-то уж никогда! Да и всех вас тоже! – с тем же радостным оживлением говорила Наташа толпившимся вокруг нее девочкам.

И тут же восторженно прибавляла, сияя яркими глазками:

– У княгини дом как дворец, лошади всех мастей на конюшне... Стада баранов, овец, а под самым Тифлисом именье... усадьба в горах, сплошь заросшая

виноградниками. Я вам присылать каждую осень виноград стану. Целые корзины буду присылать.

– Сладкого самого! – облизываясь, вставила Маша Рыжова.

– Вспомнит, ежели не забудет! – сострила Васса.

Пока княгиня Маро завершала последние формальности с бумагами Наташи в квартире Екатерины Ивановны, Наташа, нарядная и оживленная, как мотылек в сопровождении ближайших своих подруг-сверстниц, обегала весь приют, прощаясь со всеми.

– Прощайте, Фаина Михайловна! – звонко выпевал ее колокольчик-голосок. – Так-таки и не пришлось вам меня ostrичь, а? – лукаво прибавляла она шепотом, обнимая старушку.

– Прощай, плутовочка, нас не забывай!

– Павла Артемьевна, прощайте! – и низким реверансом «настоящей» барышни Наташа присела перед своим недавним врагом.

– Прощай, девочка, веди себя хорошенько в твоей новой семье, старайся... – Но Наташа уже упорхнула дальше, не дослушав фразы надзирательницы до конца.

– Прощайте, милая, милая тетя Леля! – повиснув на шее горбуны, искренно, с дрожью в голосе, растроганно шептала она.

– Прощай, моя Наташа! Прощай, нарядная, веселая птичка, оставайся такою, какова ты есть, – со сладкой грустью говорила Елена Дмитриевна, прижимая к себе девочку, – потому что быть иной ты не можешь, это не в твоих силах. Но сохраняя постоянную радость и успех в жизни, думай о тех, кто лишен этой радости, и в богатстве, в довольстве не забывай несчастных и бедных, моя Наташа!

На минуту легкое облачко набежало на оживленное лицо девочки.

Она внимательно, мягко и любовно глянула в прекрасные глаза горбуны.

– Да, тетя Леля, я постараюсь... да! – чуть слышно произнесли малиновые губки уезжающей.

Последнее прощанье с начальницей, со старшими, со своими...

– Прощай, Наташа! Принцесса заколдованная! Фея моя! Душенька! Красавица моя! – рыдала Феничка, покрывая поцелуями лицо и плечи девочки. – Тебя одну я любила «по-настоящему», а за другими бегала, дурила, чтоб тебе досадить...

– Уж будто? – лукаво улыбнулась Наташа.

– Вот тебе господь свидетель!

– Полно тебе, Феня! И так верю! – и неожиданная шаловливая улыбка пробежала по Наташиному лицу.

– А тебе-то уж я бананов пришлю, наверное... Толь-

ко раньше поучись их кушать хорошенько! – шепотом добавила она в покрасневшее ушко девушки.

Еще последние объятия... поцелуи... Последний прощальный привет Дуне, окаменевшей в своей безысходной тоске, и стройная фигурка подростка в бархатном берете резво выбежала на приютский подъезд...

– Прощайте! Все прощайте! – кричала, глядя на окна приюта, Наташа, садясь подле княгини в извозчичью коляску у крыльца.

– До свиданья, Дуняша, любимая моя!

Заняв все подоконники в зале, выходявшей окнами на улицу, приютки махали платками, кивали, кланялись и кричали последнее приветствие уезжавшей подруге.

Но вот отъехала коляска... завернула за угол, и скрылась из виду черноглазая девочка с радостной праздничной и свежей, как майское утро, душой.

– Уехал ангел наш... покинул голубь сизой гнездышко свое... – запричитала было Феничка.

– Молчи! – неожиданным резким движением дернув ее за руку, шепнула Дорушка, глазами указывая ей на Дуню, прильнувшую к оконному стеклу бледным без кровинки лицом.

– Была Наташа, и нет Наташи! – почти беззвучно проронили эти побелевшие губки.

– И надо радоваться, что такая судьба выпала ей на долю, – послышался позади приюток знакомый милый голос. И тетя Леля с улыбкой сочувствия и ласки положила худенькую ручку на Дунино плечо.

– Наташа – дитя не нашей серой среды... – продолжала она с грустью. – Она предназначена судьбою для иной доли... Наташа – это пышный махровый бутон розы среди рас, скромных полевых цветочков, девочки мои. Она бы зачахла в нашей рабочей трудовой обстановке, непривычная к ремесленной работе и труду. Она как рыбка среди родной стихии, в богатстве, довольстве и холе... И надо радоваться, что так сложилась ее судьба. Будем надеяться, что на своем празднике жизни Наташа не забудет тех, кому суждены будни, полные лишений, борьбы и труда.

* * *

Снова завертелись бесшумно и быстро колеса приютской машины...

Прошла весна... Наступило пышное лето. Снова зазеленели ивы и березы в приютском саду... От Наташи с Кавказа приходили редкие письма... От них веяло тонким ароматом дорогих духов, от этих голубых и розовых листочков, и таким радостным молодым счастьем, что невольный отблеск его загорался и в серд-

цах приютских девочек.

Дуня с наслаждением сладкой печали читала и перечитывала эти письма, в которых говорилось о новой счастливой доле ее подруги... О любви и нежных о ней заботах доброй благодетельницы княгини Маро... О том, что она поступила в Тифлисскую гимназию и что о лучшей жизни ей, Наташе, нечего и мечтать. Княгиня Маро стала ее второю матерью, не отказывающей ей ни в чем, решительно ни в чем. И под впечатлением этих писем тоска по уехавшей подруге незаметно таяла в Дунином сердце.

Новая возникшая дружба с Нан, приезжавшей теперь в приют чаще прежнего, старая привязанность к Дорушке – все это облегчало тоску Дуни по Наташе и примиряло с нею.

А время шло... В неустанной работе, в труде, в уче- нье проходили часы, дни, недели, месяцы и годы... Как молодые деревца, росли и поднимались девочки...

Старшие выходили на «волю», младшие поступали в приют, маленькие, смешные и робкие стрижки. Годы шли незаметно и быстро...

Уехали из приюта и поступили на учительские курсы Феничка, Паланя, Гуня Рамкина, Евгеша... Других воспитанниц разобрали на места... Лучшие рукодельницы водворились в мастерские белошвеек и мо-

дисток... Старшие разлетались из уютского гнздышка... На смену их шли средние... Подросло новое поколение девочек и заняло насиженное прежними гнзздо...

ЧАСТЬ III

Глава первая

С утра дул неприятный холодный ветер с реки, и хлопья мокрого снега тяжело падали с неба и таяли сразу, едва достигнув земли. Холодный, сырой, неприветливый ноябрь, как злой волшебник, завладел природой... Деревья в приютском саду оголились снова. И снова с протяжным жалобным карканьем носились голодные вороны, разыскивая себе коры... Маленькие нахохлившиеся воробышки, зябко прижавшись один к другому, качались на сухой ветке шиповника, давно лишенного своих летних одежд.

В рабочей комнате непрерывно целый день горят лампы. Наступили темные дни. Первое декабря не за горами. В три-четыре часа уже темнеет на дворе.

За большими столами шьют приютки.

За эти три года недавние еще «средние», – теперь уже старшеотделенки, выросли и изменились так, что их не узнать. Те же и не те как будто... Дорушка, Оня, Любочка, Васса, Дуня...

Глаза у Дуни – те же... Лесные незабудки после дождя. Ясные, чистые, с переливающей в них вла-

гой. Коса до колен того же чистого льняного цвета. Некрасивое неправильное личико, кажущееся таким привлекательным и милым благодаря задумчивому, мягкому взгляду и необычайно кроткой, светлой улыбке...

Рядом с пятнадцатилетней Дуней семнадцатилетняя разумница Дорушка кажется совсем взрослой. У нее умное серьезное лицо и толстая-претолстая темная коса, венчиком уложенная вокруг головки.

Маша Рыжова стала настоящей тумбой. Глаза заплыли от жира, залоснились щеки. Еще неуклюжее и крупнее стала фигура.

Зато Оня Лихарева подросла, сравнялась, похудела и не кажется прежней толстушкой. Оня как и была, так и осталась прежней шалуньей. Так и искрятся, так и бегают ее щелочки-глазки. А прежний яркий румянец не сходит с лица.

Но кто стал настоящей русской красавицей, так это Любочка. Баронесса не наглядится на свою любимицу. Действительно, Любочка Орешкина расцвела настоящей пышной лилией, белая, нежная, как барышня, с лебединой поступью, с плавными движениями стройной фигуры.

Васса вытянулась еще больше и еще как будто стала костлявее и угловатее... Но еще худее и бледнее Вассы стала Соня Кузьменко. Эта – настоящая

монашка. Желтая, изнуренная, она бредит обителем, постится по средам и пятницам, не говоря уже о постах, до полуночи простаивает на молитве. Еще больше девочек изменилась Павла Артемьевна, оставившая их для новых среднеотделенок.

Она заметно поддалась за эти три года. Несмотря на цветущие еще лета, сильная седина посеребрила ее голову, глаза утратили их прежнюю ястребиную пронизательность... Не так уже энергичны и властны теперь ее обычные окрики на воспитанниц.

Какой-то мучительный недуг подтачивает до сих пор здоровую натуру Павлы Артемьевны.

Тетя Леля осталась та же... Та же бедная горбатенькая фигурка калеки, те же чудесные лучистые глаза, отразившие в себе целый океан любви и самоотвержения. У вновь испеченных старших новая наставница. Педагогичка Антонина Николаевна уже два года как приняла на свое попечение новых старшеотделенок. Она добра, ласкова и держит себя со своими взрослыми девочками скорее как старшая подруга. Воспитанницы не чуждаются этой уже начинающей блекнуть молодой девушки, всегда одинаково чуткой и отзывчивой к горестям и радостям молодежи.

– Младшая сестра тети Лели, – удачно назвал ее кто-то из приюток, – только не такая нежная да ласковая, как та.

– Что и говорить, тетя Леля у нас особенная, такой, как она, обойди целый свет, не сыщешь, – решили давным-давно воспитанницы.

* * *

Холодная осенняя мгла сгустилась круче. За окнами сильнее воет и стонет ветер. Гудит словно эхом в трубах его зычный неприятный вопль.

А в рабочей комнате тепло и уютно. Горят висячие лампы над заваленными грудями холста, ситца и коленкора столами. Жарко пышет накаленная печь.

Работают одни старшеотделенки, шьют себе приданое для выхода из приюта. Каждой из воспитанниц дается при окончательном отъезде сундук с полдюжиною носильного белья, теплым пальто, двумя платьями, двумя парами сапог, шалью и шерстяной косынкой на голову.

Но приданое это, помимо пальто и сапог, конечно, шьют они себе сами.

Вообще с переходом в старшее отделение воспитанницы почти освобождаются от научных предметов и вполне отдаются ремесленному труду. Курс ученья заканчивается с поступлением в «старшие». Только раза три в неделю педагогична Антонина Николаевна знакомит девушек с кратким курсом отечественной

литературы да повторяет с ними русскую историю.

Теперь все внимание главным образом уделяется шитью меченью, вышиванью, вязанью. Большую часть времени старшеотделенки проводят в рабочей за белошвейной и портняжной работой; в прачечной и гладильной – за уборкой белья, в кухне, где под наблюдением опытной стряпухи пробуют свои силы в кулинарном искусстве.

– Дуняша! – наклоняясь к уху подруги, спросила Дорушка. – Ты слышала, что Оня Лихарева предлагает сделать на Рождество, а?

– Нет, не слыхала, – таким же чуть слышным голосом отзывается Дуня.

– Театр, слышь, предлагает представить... Екатерину Ивановну потешить, Софью Петровну и гостей.

– Да ну?

– Ей-ей! Уж такая она зачинщица, эта Оня!.. Нынче за чаем сговаривалась и Антониночку нашу привлекла. Обещалась помочь, чем сможет. То-то забавно будет, а?

– Тише, девицы! Болтать перестаньте! Не время! – усталым голосом оборвала шепот девочек Павла Артемьевна.

После рукодельных часов за дневным чаем, за ужином и в спальне оживленная беседа в старшем отделении не прерывалась ни на минуту. Говорили

о предстоявшем на Рождество спектакле, советовались, спорили и шумели. Не прекратилась эта беседа и после ужина в дортуаре, куда воспитанницы пришли в десять часов.

– Тебя, Дорушка, мальчиком нарядим. Ишь ты высокая какая, а косу под платьем спрячем. Вот-то потеха будет, – смеялась Оня.

– Мальчиком! Ни в жизнь! Да что вы, ополоумели, девицы! Да разве я штаны надену! Срамота-то какая! – искренно возмущалась серьезная Дорушка.

– Ну, так Соню Кузьменко! Ей как есть к лицу пристало! – не унималась шалунья.

– Да ты рехнулась, Лихарева! – взвизгнула не своим Голосом приютская «подвижница». – Ври да не заворачайся... Я в обитель поступать хочу... чин принять монашеский, а ты меня... тьфу, чур меня, чур! Типун тебе на язык, девушка! – И, крепко отплевываясь, Соня Кузьменко отошла к своей постели.

– Ха-ха-ха, – расхохоталась шалунья, – и впрямь занятно... Монашка и вдруг в одежде мужской! Ай-да мы что придумали-то! – тут веселая Оня уперла руки в боки и, мелко перебирая ногами, пошла пристукивать каблучками вдоль широкого прохода между кроватями, напевая во весь голос слова всем известной плясовой:

По улице мостовой
Шла девица за водой,
Шла девица за водой,
За холодной ключевой.

«За холодной ключевой!» – подхватил мигом сорганизовавшийся хор старшеотделенок. За Оней поплыла костлявая Васса, потряхивая платочком над головою и делая уморительные гримасы. За Вассой запрыгала лисичкой Паша Канарейкина. Вдруг Оня неожиданно повернулась на каблуке и, задорно блеснув глазами, закинула голову и затянула на высокой ноте:

Я на речку шла,
Тяжело несла,
Уморилась, уморилась,
Уморилась.

– Да замолчите вы, ненасытные! – с отчаянием выкрикнула Кузьменко и, заткнув уши, зарылась в подушках своей постели.

– Вот-то наваждение! Надоумь ты их, господь, – зашептала она уже получасом позднее, становясь на колени и усердно отбивая поклоны.

– Спать пора, девицы! Что это как вы расшумелись нынче! – неожиданно появляясь из своей комнаты,

окликнула приюток Антонина Николаевна.

– И то спать, девоньки, утро вечера мудренее. За спаньем и грешись меньше, – паясничала Оня.

И минут через десять огромный дортуар погрузился в полутьму, чуть озаренную ночником, затянутым абажуром.

Без признака дремоты лежала Дуня, закинув руки под голову и острыми глазами впиваясь в темноту. Уже четвертую ночь не спится девочке. Странное, непонятное явление тревожит ее ум. У Дуни появилась тайна, тайна от Дорушки, любимой ее подружки, тайна ото всех. Слишком робка и неуверенна в себя Дуня, чтобы поделиться тем, что вот уже четвертую ночь происходит с нею. А что, если это наваждение одно? Что, если все это только кажется ей, Дуне? Может быть, так мерещится ей от страха?.. Видится, как будто во сне. Нет, доподлинно это узнать надо, наяву или в сонном видении видит она, Дуня, то, чего не видят другие воспитанницы.

И вся холодея и замирая от страха, она по-прежнему зоркими, внимательными глазами вглядывается в полутьму. Постепенно затихают вокруг нее вечерние звуки... Прекращается шепот сонных девушек... Воцаряется обычная ночная тишина... Вот только вздохнул во сне кто-то... да тихо вскрикнул в противоположном конце спальни, и все снова затихло в тот же миг.

Снова тишина...

– Неужели же и сегодня?.. Как вчера, как третьего дня, как и в субботу опять... Неужели опять? – с тоской и страхом думает Дуня.

И жуткое раскаяние охватывает все ее существо.

Зачем хоронилась она ото всех?.. Зачем не поведала Дорушке? – твердит ей ее внутренний голос...

Но замирая от ужаса, с холодными капельками пота на лбу, Дуняша уже не слушает его...

Тихо, чуть слышно скрипнула дверь, смежная с умывальной, и через порог спальни перешагнула «она».

Дуня снова, как и в те три предыдущие ночи, увидела невысокую, довольно плотную фигуру женщины, с головы до ног одетую во что-то черное, длинное, покрывающее ее с головой.

С похолодевшими от ужаса конечностями, во все глаза Дуня глядит на незнакомку, как будто замороженная ею, не смея оторвать взгляда от ее черной фигуры...

Черты лица женщины расплываются в полутьме; только темные точки зрачков горят среди общего бледного тона.

Затаив дыхание, глядит без усталости Дуня...

Как и в те три предыдущие ночи, черная фигура метнулась привычным ей уже путем, мимо ряда кро-

ватей, мимо Дуни и остановилась у крайней, совершенно тонувшей во мраке постели... Дуня знает, что там, на этой постели, спит Соня Кузьменко.

Черная фигура мелькнула еще раз и опустилась, словно присела за постелью Сони. Только конец ее черной одежды предательски торчит теперь из-за спинки кровати, и Дуне кажется, что бледные руки незнакомки поднялись над Соней и легли ей на плечи, на горло, на грудь...

«Она задушит ее!» – вихрем промелькнуло в голове девочки, и вне себя Дуня рванулась с постели.

Последней полусознательной Дуниной мыслью было броситься будить Антонину Николаевну, помещение которой находилось по другую сторону умывальной комнаты. Едва владея собою, девочка бросилась к двери.

– Ты зачем? – раздался в тот же миг чей-то властный топот за ее плечами, и две сильные руки схватили ее плечи.

– Молчи! Молчи, ради господа! Храни бог, если еще кого-нибудь разбудишь! – и бледное лицо рыжей Варварушки очутилось перед лицом Дуни.

– Нянюшка, что же это? – могла только произнести дрожащими губами девочка.

– Ах, Дунюшка, Христа ради, молчи! – убедительно и моляще зашептал снова над ней Варварушкин го-

лос, исполненный трепета, – не мешай ты, ради господа, свершиться тому, что он, милостивец небесный наш батюшка, соизволил повелеть!

– Да что же это? Кто она, эта «черная»? – волнуясь и трепеща, в свою очередь вопрошала Дуня.

– Девонька, успокойся, милая! Не пугайся. Монашка это... Из нашего города монашка, мать Хиония... Сестрицей мне родной приходится она. Пострижена в обители уже с десятков лет... Не раз... Сонюшке я о ней еще, как вы все в стрижках были, рассказывала, ну и возгорелась к ней Сонюшка и к ее житью святому. Сызмальства потянуло в монастырь нашу Кузьменко... А как подросла, все пуще и пуще стала туды рваться... Меня Христом богом умолять зачала: «Отпиши твоей сестре, Варварушка, чтоб за мной приезжала. Хочу, говорит, тишком в обитель убечь». «Зачем же, – говорю, – тишком, Сонюшка, попроситься тебе бы у Катерины Ивановны, чин чином, по-хорошему». А она это, как заплачет: «Не пускает меня она, сколько раз просилась... И молода-то я, и неопытна, и слаба здоровьем, не вынесу будто, – говорит, – и регентом меня над хором опять Онуфрий Ефимович к тому же поставил. Кому клиросом управлять без меня?.. Нет, уж я тишком лучше, – говорит, – потому добром не пуцают». И тут, как нарочно, мать Хиония приехала в Питер сюда со сборами. Пуще разгорелась

Сонечка. Устроить повидаться с нею молила меня со слезами... Ну, что было делать, согласилась я... Грех, думалось мне, влечению душеньки ее чистой препятствовать. И четыре ночи подряд приводила к ней Хионию... Потому днем бы не допустили... У нас строго, сама знаешь. А тут еще про Сонюшкино желание весь приют знает...

– Когда же она уйдет отсюда? – чуть слышным шепотом осведомилась Дуня.

– А ты, девушка, зря не болтай... – строго оборвала Дуню нянька. – Тогда и уйдет, когда приступит ее время; ты вот что, ложись-ка почивай, а коли про чего услышишь, один ответ давай! Знать не знаю, ведать не ведаю... Ни о какой монашке не слыхала... Помни, девушка, иначе гибель Соне придет. Пожалей ты ее, ради господа, невинную чистую душу не погуби... Ведь умрет она от тоски по монастырю, совсем изведется бедная.

– Не бойся, Варварушка, все сделаю, как ты велишь, – согласилась Дуня и сразу замолкла, сраженная неожиданностью.

На пороге умывальной стояла уже не одна, а две черные фигуры. Плотная пожилая женщина с лицом, как две капли воды похожим на лицо Варварушки, и Соня Кузьменко, одетая в черную скромную одежду монастырской послушницы и черным же платком,

плотно окутывавшим голову и перевязанным крест-накрест на груди. При виде Дуни она попятилась было назад, но ободряющий голос Варварушки успокоил ее.

– Не бойся, Сонюшка, иди со Христом... Дуня – добрая душа, понимающая, она не выдаст.

– Прощай, Дуня! – произнесла Кузьменко и низким монашеским поклоном, исполненным неизъяснимого смирения, поклонилась подруге. Потом таким же поклоном склонилась и перед Варварушкой. И не выдержав, кинулась в ее объятия.

– Спасибо тебе... Век за тебя господу нашего молить буду! Спасибо! – страстным шепотом роняла она.

А минуту спустя ее высокая, тонкая фигурка вместе с матерью Хионией и провожавшей их Варварушкой исчезла за дверью...

На другое же утро обнаружилось сразу исчезновение Сони. Бросились искать ее по всему приюту, в подвалах, на чердаке, в саду... Нигде не оставалось никаких следов девушки... Догадливая Варварушка сумела так вывести окольными путями ночную посетительницу, что никто не заметил беглянок.

Весь приют стал на ноги, переполошился, заволновался... Дали знать полиции... снарядили сторожа и служанок в город на поиски беглянки... Соня не нахо-

дилась...

Тайна приютской «подвижницы» была в надежных руках няньки и Дуни.

Только на другой день посыльный принес заболевшей от волнения Екатерине Ивановне письмо от Со-ни, где девушка слезно молила «ради Христа добрую благодетельницу» не возвращать ее в приют, не отнимать у нее последней радости, не лишать давно желанной и теперь исполненной заветной мечты.

В этом же письме, умалчивая о сочувствии Варварушки, Соня писала, что поступила в монастырь, пока послушницей, потом же надеется удостоиться и монашеского чина. В трогательных выражениях она умоляла ненаглядную Екатерину Ивановну простить ее... Слала поклоны надзирательницам, Софье Петровне и подругам.

«А я ваша вечная молитвенница перед господом по самый гроб моей жизни», – так заканчивала она словами письмо.

Добрая Екатерина Ивановна после долгих переговоров с баронессой и другими попечителями приюта решила оставить девушку в монастыре, предварительно наведя справки и найдя след исчезнувшей Со-ни.

Глава вторая

Рождественская приютская выставка брала немало времени. Чтобы иметь удовольствие показать гостям и почетным посетителям груды изящного белья, нарядные шелковые, батистовые блузки, шерстяные юбки на длинных рождественских столах под елкой, для того чтобы сбывать все эти вещи, а на вырученную сумму поддерживать благосостояние приюта, воспитанницы должны были работать с утра до полуночи, не складывая рук. В то время как малыши-стрижки, захлебываясь от восторга, шептались о предстоящей елке, средние и старшие, усталые, нервные и взвинченные, как никогда, торопливо кроили, шили, метали, вышивали, метили при свете висячих ламп в огромной рабочей.

Шили до ужина и после ужина... Шили целыми днями, чтобы полуживыми от усталости лечь на несколько часов в постель до рассвета, а там снова приняться за тяжелый труд. Смолкали обычные разговоры, смех и перешептывания.

Не приходилось Павле Артемьевне подбадривать ее обычными покрикиваниями нерадивых. Пустовал обыкновенно занятый наказанными угол у печки... Не до наказаний было теперь. Каждая пара рук была на

счета... Каждая работница необходима для работы.

И только поздно перед полночью, ложась в свои заголодевшие, жесткие постели, девушки устало переговаривались на интересующие их темы.

Говорилось в десятую тысячу раз о побеге Со-ни Кузьменко, строились бесконечные предположе-ния на этот счет да проектировали предстоящий спек-такль. До сих пор приютки видели только два зрели-ща, часто повторяемые в праздничные дни: туман-ные картины с пояснениями да пресловутый кинема-тограф. Теперь же предстояло нечто совершенно но-вое и захватывающе интересное – спектакль...

Сами они выбрали под руководством Антонины Ни-колаевны пьесу, распределили роли, сами заготовили собственными усилиями костюмы и с захватывающим интересом ждали назначенного для спектакля дня.

* * *

Наступил сочельник.

С утра дежурившие по кухне воспитанницы: Дуня, Маша Рыжова и маленькая Оля Чуркова, отнюдь не выросшая за эти три года и такая же болезненно-зо-лотушная, как и раньше, под наблюдением эконома Павла Семеновича и стряпухи Дементьевны разби-рали провизию, резали рыбу для ухи, чистили карто-

фель и промывали мак для сладкого рождественского пирога.

Маком, впрочем, занялась одна Маша Рыжова. Забравшись в уголок подальше, она, перебивая его крупчатые зернышки, смешивала их с медом, находившимся в большой кадке.

Получилась сладкая вкусная медово-маковая масса, одним своим видом уже прельщавшая лакомку. Оглянувшись на Жилинского и убедившись, что тот ничего не замечает, занятый наблюдением над чистившими рыбу Дуней и Олей, Маша проворно поднесла ложку ко рту и добросовестнейшим образом облизала прилипшую к ней сладкую массу. Медовое тесто пришлось ей по вкусу... Еще раз погрузила ложку и еще раз отведала понравившегося ей лакомства...

Дальше больше, дальше больше... Сладкая масса сама так и таяла во рту... Так и просилась в рот Маши. Сама того не замечая, девушка ела до тех пор, пока в кадучке не уменьшилось довольно значительное количество массы, а в голове Маши Рыжовой не появился какой-то странный туман, похожий на дремоту. Это чувство сонливости все сильнее и сильнее охватывало воспитанницу; неотразимо потянуло Машу броситься в спальню, ничком ринуться на кровать и заснуть, забыться вплоть до самого ужина. Но это было невозможно сделать по самой простой причине.

Сегодня вечером должен был состояться спектакль, в котором она, Маша Рыжова, играла довольно видную роль.

Вернувшись с кухонной работы, Маша ходила как во сне. В голове стоял тот же туман, сгущавшийся с каждой минутой... Осовелые глаза девушки буквально отказывались ей служить.

– Маша? Да что ж это с тобою? Ты не выспалась, что ли? – волнуясь, приставала к ней Дорушка, которая была назначена Антониной Николаевной главной помощницей при постановке спектакля.

– Ты смотри, – уже строго увещевала ее, волнуясь, благоразумная девушка, – ты роль-то не забудь... Да говори громче... На репетициях едва под нос себе что-то шептала. Ведь пойми, ради господ, Маша, попечители, гости, все будут... Не осрами, ради самого Христа... За тебя да за мою Дуняшу пуще всего боюсь я... Ну да, та ежели и сробеет, Антониночка подскажет. Сбоку за кулисой будет она сидеть. А вот ты уж и не знаю, право, как справишься, – сокрушалась девушка.

– Отстань ты от меня, пожалуйста. Других учи, ученица! – огрызнулась на нее заплетающимся языком Маша.

– Что-то будет... Что-то будет! – с замирающим сердцем переживала Дорушка.

Ах, как изменился сегодня уютный зал! Хорошая треть его была отгорожена темной занавеской с расшитыми по ней диковинными фигурами драконов и каких-то невиданных зверей, державших огромную лиру в не менее огромных лапах. Эту занавесь расшили самые искусные мастерицы из старшего отдела: Дорушка, Васса и маленькая Чуркова. Вся мебель, все вещи из квартиры начальницы были перенесены сюда за эту расписную завесу.

Хорошая Екатерина Ивановна, руководимая горячим желанием позабавить своих девочек, не пожалела ничего. С трех сторон доморощенной сцены висели кулисы, вернее, куски холста, разрисованные искусными руками самой Антонины Николаевны.

Их было две перемены: одна – изображающая лес, другая – дворец с колоннами. Кадки и горшки с зимними цветами, пальмами, феладендрами и фикусами, какие только имелись в комнатах надзирательниц, – все было снесено сюда и расставлено на сцене в самом поэтичном беспорядке.

Ровно в семь часов началось празднество. В то время как старшего отдела хлопотали «за кулисами, вернее, в рабочей», прилегавшей к залу, средние, за-

менив их, зажигали елку и раздавали подарки.

Приглашенных гостей набралось много. Веселая, щебечущая и нарядная баронесса Софья Петровна заняла свое обычное место по правую сторону на- чальницы.

Рядом с нею поместилась Нан. Выросшая, выровнившаяся за эти три года, теперь уже восемнадцатилетняя девушка, Нан казалась теперь изящнее, грациознее, менее угловатой... Лицо ее оставалось таким же некрасивым... Но в зорких маленьких глазках вспыхивали то и дело мягкие, теплые, ласковые огоньки.

Это же мягкое и теплое сквозило теперь во всех ее движениях и сообщало какую-то особенную женственность некрасивой Нан.

Она прошла «за кулисы» и, зорко оглядев одевавшихся там девочек, преобразенных искусными руками Антонины Николаевны и Дорушки в совершенно новых по внешнему облику существ, отыскала Дуню.

Как раз в эту минуту Антонина Николаевна подрумянивала слегка бледные щечки Дуни и подводила жженой пробкой ее поминутно мигающие от волнения веки. В белой коленкоровой хламиде с распущенными льняными волосами в венке из бумажных роз Дуня, изображавшая добрую фею в пьесе-сказке, была такая нарядная и хорошенькая, что Нан едва узнала

ее.

– Я пришла сказать тебе, Дуняша, что большая радость ждет нынче тебя! – успела шепнуть ей юная баронесса.

– Что? Что такое? – взволновалась Дуня. Но Нан не пришлось ей отвечать.

Антонина Николаевна звала воспитанниц прорепетировать еще раз плохо удававшиеся им сцены.

Между тем в зале за темною занавесью шло обычное торжество. Соединенный хор больших, средних и маленьких под управлением Фимочки, такого же злого и нервного, как и в былые годы, а теперь еще более взвинченного благодаря побегу своей помощницы по церковному пению регента Сони Кузьменко, которую он никак не мог кем-либо заменить, пел и «Серую Утицу», и «Был у Христа-Младенца сад», и «Весну-красну», и «Елку-Зеленую», словом, все песни приютского репертуара.

Затем маленькие стрижки декламировали в лицах басни Крылова... Потом пели солистки...

Звонким своим контральто лучшая после Кузьменко певица-старшеотделенка Оня Лихарева, не участвовавшая в спектакле, исполнила «Нелюдимо наше море» и «Вниз по матушке по Волге» вместе с хором, минутами покрывая последний.

А там за темной завесой суетливо готовились к

представлению...

Наконец, роздали подарки, рассмотрели приглашенные гости обычную рождественскую выставку работ, погасили и сдвинули в угол елку...

В тот же миг раздался звонок, и все заняли свои места. Взвился расписной занавес, и глаза всех обратились на «сцену»...

Глава третья

Это была несложная пьеса-сказка... Двое бедных подростков заблудились в лесу... По дороге они жаловались на бедность, на тяжелую долю нищих детей и выражали желание стать принцем и принцессой.

Хорошенькая Любочка играла девушку. Благодаря короткому платью и спущенной до пояса косе, сейчас она имела вид пятнадцатилетнего подростка... Высокая, костлявая Васса была ее братом... Ее ровная, как у мальчика, фигура, размашистые жесты, мужская шляпа, куртка и штаны дополняли сходство.

Похорошевшая под легким слоем пудры и румян, с подрисованными глазами, Васса казалась весьма милым подростком-мальчуганом с его настоящими размашистыми и резкими движениями.

Когда же добрая фея, Дуня, с ее кротким личиком, в длинной белой одежде доброй феи, с льняным каскадом белокурых волос появилась из-за деревьев, олеандров и филодендр, наполнявших «сцену», тихий ропот одобрения пронесся по зале.

Если красавица Любочка поражала своим очаровательным личиком с его правильными чертами, миловидное задумчивое лицо Дуни пленяло своей кроткой улыбкой и тем особенным выражением доброты, ко-

торое дается далеко не каждому человеку, но одинаково очаровывает всякого.

– Возможно ли? Простая крестьяночка! Какое нежное, прелестное и грациозное дитя! – чуть слышными возгласами восторга доносилось до ушей Дуни. Эти возгласы скорее смущали, нежели радовали ее... Уже само появление ее под столькими взглядами чужих глаз и страх, что вот-вот выскочит из ее памяти довольно длинный монолог доброй феи, и туманный намек Нан на какую-то близкую радость, все это вместе взятое несказанно волновало Дуню.

Однако под ободряющим взором Дорушки, игравшей королеву и стоявшей за боковой кулисой в короне из золотой бумаги на голове и в длинной мантии под «царственный горностаи», попросту в белой простыне, разрисованной углем наподобие горностаевых хвостиков, Дуня ободрилась...

Ее нежный голосок трогательно зазвучал по зале:

– Вы хотите роскоши и богатства, бедные дети, вы получите и то и другое, – между прочим говорила она, отчеканивая каждое слово этим своим нежным голоском, – но предупреждаю вас: я не ответственна за то, что постигнет вас в вашей новой доле. Не жалуйтесь же на добрую фею, если новая жизнь не понравится вам.

И взяв за руки Любочку и Вассу, она увела их на ми-

нуту за кулисы, чтобы вернуть их на сцену уже переодетыми в пышное одеяние королевских детей.

Под гром аплодисментов снисходительных зрителей сдвинули занавес...

Кричали «браво» и хлопали без устали. Особенно старался добряк доктор Николай Николаевич. Он поместился «в райке», по его собственному выражению, среди своих «курносеньких», попросту в задних рядах скамеек, а не на своем обычном месте, среди начальства и почетных гостей.

Приложив трубою обе руки ко рту, своим могучим басом Доктор вызывал на всю залу исполнительниц, обращая на себя всеобщее внимание:

– Дуняша Прохорова, молодец, браво!.. Васса Сидорова, Люба Орешкина, браво, браво, молодец! Курносенькие, молодцы! Браво! – неистовствовал он.

Второе действие изображало королевский дворец. Король – Маша Рыжова, особенно громоздкая в своей царской мантии, с тщательно запрятанной под нею русой косой, с огромной короной, поминутно съезжавшей ей на кончик носа, похожего на картофелину, рядом с Дорушкой-королевой сидела она на возвышении в мягком и удобном кресле начальницы, изображающем трон.

Утреннее «маковое» лакомство давало себя теперь особенно чувствовать Маше. Всем известно

свойство дурмана и сонливости, которым обладает мак, и покушавшая его не в меру Маша с ужасом замечала на себе его ужасное действие. Пока шли хлопоты и приготовления к спектаклю, она боролась еще кое-как с одолевавшим ее желанием уснуть, но сейчас, очутившись в мягком, удобном кресле в полутьме за сдвинутой занавесью, бедная Маша переживала нестерпимые муки. Между тем занавесь раздвинулась снова, и второе действие началось.

В этом втором действии придворные дамы представляют королю и королеве их близнецов-детей, которым исполнилось шестнадцать лет этим утром.

– Ваше королевское величество, – начинает Дорушка самым почтительным тоном, обращаясь к королю-Маше, – взгляните, как пышные розы, расцвели наши сын и дочь... Как они прелестны... Не угодно ли будет вашему королевскому величеству отдать им те роскошные подарки, которые заключены в этом драгоценном ларце. Прошу вас!

Тут Дорушка протягивает оклеенную серебряной бумагой рабочую шкатулку Маше и, нечаянно взглянув в лицо «королю», замирает от неожиданности.

«Король» как-то не вполне естественно опустился в кресле, уронив голову на грудь. «Золотая» корона при этом сползла на самый кончик носа Рыжовой, великолепная белая борода, сделанная из ваты, и такие

же усы грозили каждую минуту отлепиться и полететь вниз. Но ужаснее всего было то, что «его королевское величество» храпело на всю сцену, отчаянно присвистывая носом.

В ужасе Дорушка стала изо всей силы трясти за руки уснувшую сладко и крепко под влиянием злодейского мака Машу Рыжову...

– Марья! Ты с ума сошла... Маша! проснись! – в отчаянии шептала девушка.

– Мы... – простонала неожиданно на всю залу сонным голосом Маша, на минуту бессмысленно приоткрывшимися глазами глянув на Дорушку, и снова громко, отчетливо крикнула в голос: – Чего тебе? Спать время, а она лезет!

И тотчас же, откинувшись на спинку стула, захрапела снова на весь зал своим богатырским храпом.

Под оглушительный хохот сдвинули далеко не своевременно занавес; спящую непробудным сном Рыжову утащили со сцены, а вместо нее, облекшись в белую «горностаевую» мантию и золотую корону, на ее месте появилась сама Антонина Николаевна с белой ватной бородою в роли короля, успевшая запомнить по репетициям роль Рыжовой.

Но веселое настроение уже не покидало публику... Нет-нет да и вспыхивал в зале веселый смешок при воспоминании об инциденте с королем-предшествен-

НИКОМ...

Особенно заразительно смеялась одна молодая девушка, сидевшая подле Нан. Дуня хорошо видела эту красавицу-девушку в те минуты, когда другие говорили на сцене, она то и дело обращала глаза в ее сторону.

В нарядном платье цвета утренней зори, с гирляндой роз на чернокудрой головке с рассыпанными по плечам локонами, юная красавица казалась воплощенной мечтой поэта.

Чем-то знакомым повеяло на Дуню от этого прелестного лица и воздушно-грациозной фигуры.

– Боже мой! Да неужели?.. – с сильно бьющимся сердцем взволнованно думала девочка, боясь поверить своему счастью. – Так вот она какова, радость, о которой говорила Нан!

Как во сне прошла вторая половина спектакля для Дуни... Бедные нищие юноша и девушка, по ходу пьесы обращенные феей в королевских детей, скоро, однако, тяготятся своей новой долей. Им скучно без обычного труда, среди роскоши и богатства придворной жизни... Дворцовый этикет с его церемониями скоро надоедает им, и они со слезами бросаются к ногам доброй феи, умоляя ее превратить их снова в бедных крестьян. И волшебница Дуня исполняет их просьбу.

Красивой живой картиной, освещенной заревом красного бенгальского огня, закончился спектакль.

Под шумные рукоплескания и крики «браво» снова задвинулся занавес...

Не успели смущенные от бури похвал старшеотделенки в своих фантастических костюмах сориентироваться в зале, как чудесные мелодичные звуки рояля запели под чьей-то искусной рукой.

– Можете танцевать и веселиться, дети! – прозвучал милостивый голос одной из самых важных попечительниц приюта.

Приютки, не обучавшиеся танцам, однако переняли одна от другой это несложное искусство. Редкая из воспитанниц среднего и старшего отделения не умела танцевать.

Доктор Николай Николаевич, экономайтер, и кое-кто из гостей любезно приняли на себя роль кавалеров. И сами приютки охотно кружились друг с другом. Танцевала по обычной своей привычке с детьми и баронесса Софья Петровна, и Нан, и другие дамы и барышни.

За пианино сидел Вальтер.

Теперь это уже был не прежний юноша. Он возмужал, окреп...

Закончив курс консерватории за границей, он стал довольно крупной известностью в музыкальном мире за эти три последних года.

Он давал концерты и с каждым днем приобретал все большую и большую популярность.

Его длинные артистические пальцы бегло скользили по клавишам, исполняя им самим созданную мелодию вальса. А изменившееся благодаря усам и мягкой бородке лицо было мужественнее и строже.

Под звуки этого вальса с каким-то высоким офицером кружилась по зале поразившая Дуню юная красавица.

«Она или не она? – с напряженным вниманием следя за кружившейся парой, в сотый раз вопрошала себя девочка. – Нет, не она... Если бы это была она, то бросилась бы ко мне прежде всего. Ведь она так любила меня!»

Теперь платье утренней зори и черные локоны пронеслись совсем близко около Дуни.

– Наташа! – невольно вырвался из груди девочки радостный крик.

Розовое платье перестало кружиться... Воздушная фигурка остановилась в двух шагах... Знакомые черные смеющиеся глаза озарили Дуню их жизнерадостным ярким светом.

– Дуняша! Милая! Как выросла! Похорошела! Не узнать! Здравствуй, голубонька, здравствуй!

И быстрый поцелуй коснулся щеки Дуни.

В следующую минуту девушки сидели в уголке за-

лы, вдали от всех, взявшись за руки, крепко прижавшись друг к другу.

Сжимая пальцы Дуни, обдавая ее тем же искрящимся светом своих жизнерадостных глаз, Наташа трещала без умолку, не смолкая ни на минуту:

– Ах, как я счастлива, если бы ты знала. В этом году окончила гимназию... Что? Не веришь? Но ведь мне уже семнадцать лет... Княгиня Маро меня обожает... Буквально на руках носит... Задаривала с головы до ног... Какие у меня платья, наряды, обстановка! А сколько драгоценных вещей! И знаешь, она хлопочет, чтобы удочерить меня... Чтобы я стала княжной Обольянец, ее настоящей дочерью! Ты подумай, я, Наташа Румянцева, дочка кучера Андрея! И вдруг княжна! Точно в сказке! Весь Тифлис у нас бывает! И сколько у меня поклонников. Ей-богу! Еще бы, я красива, богата, да еще вдобавок наследница всех имений княгини. А их у нее много-много... И завещание уже сделано в мою пользу... Я могу выбрать себе достойнейшего мужа... Но это еще не скоро будет, не скоро... Я еще так молода! Я хочу наряжаться, выезжать на балы, в театры, на веселые пикники, рауты, обеды. Я до смерти люблю танцевать, кружиться... Ради этого княгиня Маро дает четыре больших праздника в мою честь ежегодно, на которых я бываю постоянно царицей бала... Тебе нравится это платье? Что? Но оно

еще хуже прочих... всех тех, что остались дома... Ты знаешь, у меня есть одно: вообрази только, вышитый блестками голубой тюль по зеленому фону... Получается цвет морской глубины...

Все звонче, все радостнее звучит голос Наташи... Лицо ее горит оживлением, глаза сверкают. Описание нарядов, праздников, поклонников так и сыпется у нее непрерывным лепетом слов... Но чем оживленнее и радостнее звучат ее речи, тем грустнее, тоскливее делается личико Дуни.

Полно! Та ли это Наташа, что уверяла ее в вечной дружбе, которая так любила ее... Да неужели же эта пустая, тщеславная барышня, бредящая выездами, балами, – прежняя, славная, простая и чуткая девочка, ее, Дунин, любимый, дорогой друг?

Все о себе да о себе... Эгоистичные, бездушные речи... И ни одного вопроса о том, как жила-поживала все эти годы без нее Дуня, что поделывает она, куда думает устроиться в недалеком будущем.

Ни одного вопроса... Ни единого слова участия. «Пышный махровый бутон розы... Рожденный для праздника!» – вспоминаются Дуне слова, сказанные тетей Лелей в минуту отъезда Наташи, и глухая обида закипает в ее груди.

– Княжна! Разрешите пригласить вас на тур вальса! Эти глупышки-воспитанницы тяжелы, как прыгающие

гиппопотамы, – слышит Дуня веселый голос высокого офицера, склонившегося в почтительнейшем поклоне перед княжеской воспитанницей.

– Ну, Дуня, прощай. Может быть, увидимся еще сегодня. А я пойду танцевать. Танцы – моя жизнь! – И, вспорхнув веселой птичкой со своего места, Наташа вскользь небрежно чмокнула в щеку Дуню и закружилась по зале с высоким офицером, почтительно, как с настоящей княжной, обращавшимся с нею.

Со страдальческим лицом и крепко стиснутыми до боли губами, бледная, бледнее своего коленкорового хитона доброй волшебницы, откинулась Дуня на спинку стула, провожая взором танцующих.

И в недавно еще детском беззаботном сердечке зрела первая сознательная обида первой незаслуженной несправедливости, причиненной ей жестоко-сердной судьбой.

Обида первой глубокой привязанности, непонятой и исковерканной жесткой рукою жизни.

И под наплывом первого крупного разочарования жизнью исчезало недавнее детство и в душе подростка, а более сознательная пора юности спешила ему на смену.

Девушка Дуня сменяла недавнюю еще Дуню-ребенка.

Глава четвертая

Закончилось веселое Рождество с его неизбежными святочными гаданиями... Старшие приютки вплоть до Крещения ставили еженощно блюдечки с водой под кровати друг другу с переброшенными в виде мостика через них щепками... Надеюсь увидеть во сне «суженого», который должен был перевести через этот первобытный мостик. Слушали под банею и у церковной паперти, убегая туда тишком праздничными вечерами. И в зеркала смотрелись, высматривая там свою судьбу при двух свечных огарках в час полуночи... Молодость брала свое...

Ходили ряжеными к «самой», к эконому на квартиру и доктору Николаю Николаевичу, жившему через улицу.

Жена доктора, добродушная маленькая женщина, любила воспитанниц, как родных детей.

Ездили к баронессе, в Народный дом на представление, слушали оперу «Снегурочка», глядели «Восемьдесят тысяч верст». И долго-долго потом менялись впечатлениями, не засыпая до полуночи и волнуясь о красивом пережитом.

Прошло Рождество, Новый год, Крещение, и снова закипела в приюте прежняя трудовая жизнь.

Теперь уже не было слышно в старшем отделении звучного молодого смеха. Не слышалось, как раньше, беспечного, резвого говора. Тихо и чинно собирались группами, толковали о «главном», о том «неизбежном», что должно было случиться не сегодня-завтра – о выходе из приюта на «вольные» места. Ждали нанимателей, загадывали, какие-то они будут – добрые или злые, хорошее или дурное «место» выпадет на долю каждой...

Теперь ежедневно со старшеотделенками приходили заниматься от четырех до семи закройщицы из французского магазина дамских нарядов. Павла Артемьевна была специалисткою по другой отрасли – белошвейной и вышивальной. Кроме того, она чувствовала себя все слабее с каждым днем и собиралась уезжать лечиться в имение к брату.

Бойкая француженка m-lle Оноре, беспечно болтая про последние городские новости, как бы шутя преподавала свое искусство. Теперь из-под ловких рук более способных к шитью воспитанниц – Вассы, Дорушки, Оли и Любы – выходили шикарные воланы, роскошные буффы, какие-то особенные отделки, похожие на гирлянды цветов, умопомрачительные костюмы, матинэ, капоты. Все это шло на продажу к весенней выставке. А в другом углу рабочей перед большим зеркалом парикмахерский подмастерье обучал

другую группу воспитанниц своему сложному искусству. Многие из приюток шли на места в качестве горничных «с прической головы», и эти уроки были для них необходимы. Намечались уже те счастливицы, которые должны были поступить на курсы учительниц в Большом приюте ведомства императрицы Марии. Счастливицы потому, что доля «сельской учительницы» как заправской барышни, почти независимой и бесконтрольно проводившей свой рабочий день, казалась для девушки апогеем высшего счастья.

Дуня Прохорова, Любочка Орешкина и Оня Лихарева должны были продолжать свои занятия по предметам в другом приюте.

В предстоящую осень их решено было поместить в учительскую школу-интернат. Предложена была и Дорушке, как лучшей из воспитанниц приюта, та же почетная доля, но Дорушка категорически отказалась от своего «счастья», имея важнейшую, по ее мнению, цель впереди: помочь матери в деле устройства мастерской и этой помощью отстранить лишние хлопоты и невзгоды с пути начинавшей уже заметно стариться Аксиныи.

Что же касается Дуни, девочка была, как говорится, на седьмом небе. Пройти в два года курс сельской учительницы ей, уже подготовленной первоначально обучением в приюте, и получить место в де-

ревне, в селе, где-нибудь в глуши, среди любимых полей и лесного приволья – это ли была не радость, не счастье для нее, бедной сиротки, настоящего деревенского дитяти!

Она опять увидит то, по чему истосковалась за все эти бесконечные годы ее маленькая, тихая душа! Лес, поле, покосившиеся избушки, золотые нивы... все близкое сердцу и такое родное! Услышит давно не слыханные ею звуки, блеяние овец, мычание коров, почувствует этот сладковато-назойливый запах навоза, такой знакомый и милый каждому ребенку, выросшему в глуши деревень! При одной мысли о том, что она может быть выбрана надзирательницей в другом приюте или оставлена учительницей в городских школах, Дуня замирает от страха... Нет, нет! Она вымолит у святых угодников свою долю быть «сельской», она даст Царице Небесной какой-нибудь трудный-трудный обет, лишь бы исполнилась ее заветная мечта, цель ее молоденькой жизни. Она вымолит себе это счастье у небес!

* * *

Первой получила место Рыжова...

Необыкновенно повезло толстухе... Помещица из Новгородской губернии приехала искать ключницу.

В ее имени оказывался большой скотный двор и огромный птичник. Маша Рыжова сияла от счастья.

– Коровушки-буренушки, овечки, птиченьки, утятки, гусятки, цыпляченьки! – с далеко не свойственной ей нежностью и оживлением лепетала толстуха, спешно собирая свое приютское приданое в кованный железом красный сундук. Не менее довольные за участь Маши подруги проводили сиявшую девушку на вокзал.

За нею проводили Вассу, Олю Чуркову и Малашу Кузнецову, бледную, запуганную, недалекую девушку, но большую мастерицу по классу метки белья.

Худая, длинная, как жердь, хозяйка белошвейной приехала за ними однажды цветущим весенним утром.

С испуганными лицами, взволнованные и смущенные три девушки обегали весь приют, прощаясь с подругами и начальством. Васса горько плакала, повисая на шее то у той, то у другой приютки. Маленькая болезненная Чуркова рыдала истошным голосом.

– Бог весть, свидимся ли когда! – всхлипывая, лепетала девочка.

После отъезда веселой, говорливой и насмешливой Вассы как-то опустело в приюте, стало тише и скучней.

– А я выйду отсюда, так и вовсе с тоски помрете! –

с апломбом заявляла притихшим девушкам Оня Лихарева и тут же, упершись в бока руками, дробно постукивая каблуками, фертом проплывала по рабочей, мимо сразу оживлявшихся при этом воспитанниц.

Перед наступлением лета две крупные новости ожидали приюток.

Во-первых, строгая и не в меру требовательная Павла Артемьевна покидала приют вследствие какого-то хронического недуга, требующего спокойной домашней жизни, и переселялась навсегда в имение к брату. А на ее место ожидалась новая надзирательница к средним.

Во-вторых, ввиду учащавшихся в городе оспенных заболеваний баронесса Софья Петровна перевозила остающихся в приюте на лето воспитанниц к себе в Дюны, на морское побережье Финского залива, где у нее была огромная дача, целая мыза, спрятанная на горе среди сосновых сестрорецких лесов.

Это была такая радость, о которой не смели и мечтать бедные девочки. Теперь только и разговору было, что о даче. Говорили без усталости, строили планы, заранее восхищались предстоящим наслаждением провести целое лето на поле природы. Все это казалось таким заманчивым и сказочным для не избалованных радостями жизни детей, что многие воспитанницы отказались от летнего отпуска к родным и вме-

сте с «сиротами» с восторгом устремились на «приютскую» дачу.

Глава пятая

Пески... сосны... холмы... пограничная с Финляндией речонка Сестра, вбегающая в залив, и «оно», самое море, серо-сизое, холодное, далекое, с темнеющими берегами Финляндии с одной стороны, окруженное дачными местностями чуть не вплоть до самого Петербурга с прочих сторон...

Узкая, мелководная и тихая Сестра... Пограничные посты на ее берегу... А там, по ту сторону заставы с шлагбаумом, там уже начинается сама Финляндия, суровая, важная, холодная и красиво-печальная страна.

Когда воспитанницы поднимались на гору, заросшую хвойным лесом, и перед ними развернулся во всей его красе Финский залив, Дуне и Дорушке, особенно чутким к красоте природы, казалось, что сердчишки их дрогнут и расколются от счастья в груди.

– О, это не Крестовский остров, – шептала в восторге Дорушка, проводившая там до сих пор лето на даче у бывших господ ее матери, – это настоящее... Понимаешь ли, настоящее, Дуня!

Но Дуня ничего не понимала. Смотрела, как зачарованная, то на сверкающий под солнцем залив, то на хвойные лучистые шапки сосен, сбегавшие вниз

по склону к обрыву, то на дачу баронессы, настоящий дворец с разбитым вокруг него садом. И опять на море, на сосны, на раскинувшийся над нею голубой простор.

– Это рай! Рай! – повторяла она то и дело.

– И то рай! – соглашалась и тетя Леля, подставляя свою горбатую спину калеки горячему июньскому солнцу и улыбаясь счастливой улыбкой и небу, и заливу, и вечно зеленым соснам, и самой даче, казавшейся дворцом.

– О, девочки, мои милые девочки! Как вы поправитесь здесь за лето! – умиленным голосом говорила она окружившим ее воспитанницам. – Как здесь хорошо!

И впрямь хорошо здесь было!

Приютки переехали в числе ста человек на дачу. Двадцать девочек разлетелись на летние вакации по родным.

Но дача вместила всю эту «сотню» с удобствами и комфортом.

Сама баронесса, Нан и Вальтер, перебравшиеся сюда же ради отдыха, поместились в другой небольшой дачке со стеклянной террасой, заставленной деревьями олеандров и розовыми нежными кустами, далеко вокруг дачи распространяющими свой медвяный чарующий аромат...

Запах цветов, смолы, хвои и близкого соседа – залива давал чудеснейшее гармоничное целое... Какой-то букет чистейших эссенций, чудесный букет!

Теперь с самого утра до позднего вечера приютки были на воздухе.

В большом саду, похожем, скорее, на лес, нежели на сад, окружавшем дачу, расчистили площадку, протянули сетку для лаун-тенниса, повесили гамаки, качели, устроили крокет.

Целый день звучали среди зеленых сосен молодые, звонкие и детские голоса. По желанию баронессы работали меньше, больше гуляли, играли в подвижные игры на вольном воздухе, устраивали хоровое пение, купались в море, ходили за ягодами в дальний лес.

Девушки и дети загорели, посвежели, окрепли на диво.

Цветущие щечки, блестящие глаза, довольные улыбки вознаграждали благодетельницу Софью Петровну за ее доброе дело.

Дуня поправилась и загорела больше других. Просыпаясь утром от звука пастушьего рожка и мычания коров, проходившего мимо окон дачи стада, она, как безумная, вскакивала с постели и, подбегая к окну, настужь распахивала его.

– Как у нас! Как у нас в деревне! – лепетала она,

восторженными глазами провожая стадо.

И хотя песочные, хвойные приморские Дюны с их мрачно красивым лесом мало походили своим видом на обычную русскую деревеньку, где родилась и провела свое раннее детство Дуня, душа девочки невольно искала и находила сходство между этих двух вполне разнородных красот.

– Скорее бы, скорее окончить школу учительниц. Сдать экзамен, получить место где-нибудь поблизости от нашей деревеньки! – часто вслух мечтала теперь Дуня, углубляясь с Дорушкой в тенистые аллеи леса-сада.

– Мы вместе уедем, Дуняша, ты в учительскую школу свою, я к маменьке, в магазин, открывать мастерскую. То-то радость будет! Совсем измаялась без помощниц моя старушка! – и Дорушкины обычно спокойные рассудительные глазки принимали нежное, мягкое выражение.

Девушка горячо любила свою мать.

* * *

Тихий летний вечер. Давно закатилось солнышко, утонув до утра в побагровевших водах залива. Затихли веселые голоса купающихся на берегу.

Воспитанницы давно отужинали и пропели вечер-

ние молитвы. Напрыгавшиеся за день стрижки ушли спать. Средние с их новой надзирательницей, стройной барышней в высокой модной прическе, заменившей больную Павлу Артемьевну, пошли играть последнюю партию в теннис. Антонина Николаевна со своими старшими уселась на балконе дачи...

– Девицы, давайте петь хором, – предложила Оня Лихарева.

– Сыро стало, голос сядет, – опасливо заметила Любочка Орешкина.

– Сядет, как же! Да что же это? Ты ему, что ли, стул подашь, чтобы сел? – нехитро сострила Паша Канарейкина, у которой ее лисья мордочка стала совсем коричневой от загара за все время пребывания на даче.

– Ну, уж ты не остри, пожалуйста! – отмахнулась от Паши обидевшаяся Любочка. – Я своим голосом дорожу.

– И руками и лицом тоже! – засмеялась Оня. – Загара боишься, молоком моешься и глицерином на ночь руки натираешь. Видали мы!

– Не твое дело! – вспыхнула Любочка.

– Да полно вам ссориться, девицы!

– Петь лучше давайте! Ишь, вечер-то какой!

Девушки откашлялись, и после недолгой паузы их стройные голоса зазвенели в тихом, вечернем возду-

хе.

Пели: «Выхожу один я на дорогу», и «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан», и «Нелюдимо наше море», и «Хаз-Булат удалой», и «Собрались у церкви кареты» – словом, все излюбленные песни старшеотделенок.

– А ну-ка, девоньки, плясовую! Кто во что горазд! – бойко крикнула Оня и, сбжав со ступеней крылечка, уперла руки в боки, запрокинула задорную головку и, поводя плечиками, замерла в выжидательной позе.

– Ах, вы сени, мои сени! – согласно и звучно грянул хор.

Белой лебедкой сначала поплыла Оня, подергивая плечиками, поблескивая глазами. Но по мере того как ускорялся темп песни, все живее и бойче носилась она, помахивая белым платочком над головой.

Быстро-быстро семеня ногами, порхала она с одного конца площадки, разбитой перед крыльцом, на другой, лихо вскрикивая по временам:

– Ой, жарче! Ой, лише! Девоньки, удружите! Милые, не посрамите! Вот и этак, вот и так!

И волчком завертелась на месте.

– Bravo! Bravo! Молодец, Онюшка! И ловко же пляшешь, рыбка моя!

И нарядная, по своему обыкновению одетая во что-то легкое, белое и прозрачное, баронесса словно из-

под земли выросла перед сконфуженными девушками.

– Батюшки мои! – не своим голосом взвизгнула сгоревшая от стыда плясунья и бросилась было наутек...

– Нет! Нет! Не пустим! Не пустим! Куда! Стой! – И высокая фигура Нан преградила ей путь, расставив руки.

В лице Нан было какое-то особенное оживление сегодня. Глаза юной баронессы горели не свойственным им огнем. Нежный румянец рдел на щеках. Ее изменившееся за последние годы, возмужавшее лицо уже не казалось таким сухим, жестким и некрасивым.

Улыбка чаще обыкновенного появлялась теперь на губах девушки и сообщала какую-то новую черту привлекательности этому умному и серьезному лицу.

В то время как баронесса шутила с воспитанницами, ласкала их и оделяла конфетами, имевшимися всегда с нею в ее элегантном мешке-саке, Нан успела пробраться под шумок к Дуне и шепнуть ей:

– Пойдем со мною в плющевую беседку, мне нужно сообщить тебе одну тайну, большую тайну, Дуняша.

И, схватив за руку девушку, она увлекла ее в глубь сада за собой.

Глава шестая

Плющевая беседка, небольшой ажурный домик, весь обвитый гибкими ползучими, как зеленые змеи, ветками плюща, успела приобрести в глазах приюток за их сравнительно недолгое присутствие здесь репутацию вместилища всяких тайн и секретов.

Сюда приходили для того только, чтобы поделиться новостями первой важности с подругой, или задумать проект новой шалости, или просто поболтать и помечтать о будущем, представлявшемся, несмотря ни на что, таким радостным и светлым всем этим бедным девушкам, далеко не избалованным судьбою.

Плющевая беседка находилась над самым обрывом. Из нее можно было видеть всю зеркальную поверхность залива и приморский сестрорецкий курорт. Его крыши и трубы домов выглядывали из-за сплошной стены розовых стволов и зеленых шапок сосен, пихт и елей.

В противоположной стороне синел огромный разлив реки Сестры – большое озеро в восемь верст в окружности, темное, ропчущее, бурное и предательское, похожее на маленькое море.

Не доходя десяти шагов до беседки, Нан неожиданно остановилась и крепко конвульсивно сжала руку

своей спутницы.

– Ты слышишь? Ты слышишь, Дуня?

Ее обычно маленькие теперь расширенные восторгом глаза впились в лицо Дуняши... Румянец ярче и гуще прежнего заиграл на щеках.

– Ты слышишь? Слышишь? – прерывистым шепотом снова зашептала она.

Из маленькой дачи, нанимаемой баронессой и ее семейством, слышались тихие замирающие аккорды.

Это молодой барон Вальтер играл на рояле в тихий вечерний час.

Нежные, задумчивые звуки вылетали из открытых окон и неслись в объятия вечера, растворяясь и тая в его мечтательной, заколдованной тишине.

Где-то недалеко чуть слышно рыдало своим отливом море, и синее ясное и высокое небо, тоже околдованное в своем вечном бесстрастии, казалось, слушало роскошную песнь.

В плющевой беседке было сумрачно и прохладно.

Обхватив руками шею подруги, Нан приблизила Дунину голову к своей и зашептала с не свойственным ей оживлением и жаром:

– Ты слышишь, как он играет, Вальтер, и что он играет! Ах, Дуня, эту бесподобную симфонию он сочинил сам... для меня... То, что он играет сейчас, называется «Встреча»... В ней юноша встречает девуш-

ку и дает ей слово вечно любить ее... Да, Дуня, глупенькая, маленькая птичка... Талантливый, знаменитый, прекрасный Вальтер любит меня! Меня, одинокую, никому не нужную, холодную, черствую, нелюбимую даже собственной матерью.

Помнишь, когда ты три года назад рыдала у нас на петербургской квартире? Я призналась тебе во всем. Я говорила тебе, как я несчастна! Но теперь я счастлива, как вряд ли кто другой может быть счастлив на земле... Дуня, милая Дуня! Я – невеста Вальтера, моего дорогого двоюродного брата... Мы сильно любим друг друга, и через год назначена наша свадьба... Моя мать так рада, что ее гадкая, некрасивая и эгоистичная Нан нашла свою судьбу; она сразу дала свое согласие Вальтеру... Если бы ты знала только, какое огромное счастье ждет меня на земле! Как прекрасна такая любовь, как наша!

Нан замолкла, потрясенная своей исповедью, а Дуня с расширенными зрачками и с улыбающимся застенчивым лицом ловила каждое слово юной баронессы. Ее детское сердечко билось спокойно и ровно, не сознавая всей важности такой любви, но чужое счастье захватило эту маленькую впечатлительную душу.

А звуки все таяли и умирали в благовонном июньском воздухе. На смену им рождались новые вдох-

новенно-прекрасные, молодые и мощные, без конца, без конца. Как никогда прежде, божественно хорошо играл в этот вечер счастливый любящий Вальтер.

– Девицы, кто нынче идет папоротник собирать! Сегодня Иванова ночь... Завтра Купала праздник! – громко заявила с утра Оня Лихарева, первая из старшеотделенок, раскрыв заспанные глаза.

– И впрямь, девушки, клад бы поискать! – мечтательно предложила Любочка.

– Ну, вот выдумала... Какой еще клад! Клад – чепуха. Бабы выдумки... А вот двенадцать травок бы собрать в полночь, девицы, вот это хорошо! – вставила Паша Канарейкина свое слово.

– Это что, гаданье, что ли? Про суженого? – поинтересовалась Любочка.

– Тебе бы только о суженом, – засмеялась Паша. – Нет, просто судьбу свою увидеть можно, ежели двенадцать травок, сорванных ночью, под подушку подложить.

– Ай, девоньки, как же это ночью? Жутко, поди, в лесу в полночь-то?.. – И Акуля Скрипцова, самая трусливая из старшего отделения, даже в лице изменилась от одной мысли пробыть в лесу ночное время.

– И то жутко, – согласилась Любочка, – а все же хорошо бы свою судьбу увидеть!

– Помнишь, как Васса у Палани Заведеевой увиде-

ла, когда были в стрижках! – лукаво, прищурив один глаз, со смехом напомнила Оня.

– Так то стрижками были, – презрительно протянула Любочка, – трубочистов боялись, а нынче мы, слава богу, выросли под облака.

– Ладно уж! До облаков далече! – усмехнулась Оня.

– А я все же пойду... Лестно судьбу попытать! – настойчиво повторила Любочка.

– И думать не смей. Одна – в лес! Не пущу! – решительно заявила Дорушка и строго сдвинула брови.

Однако упрямую Любочку трудно было переупрямить. Пышная белокурая красавица, совсем уже взрослая годами Любочка постоянно думала о своей наружности, ухаживала за собою и верила твердо, что не доля сельской учительницы, не место мастерицы, модистки, закройщицы и швеи должно ожидать такую красавицу, как она, Любочка, а гораздо более заманчивая судьба... Любочке казалось, что должен был встретиться на ее пути какой-нибудь добрый человек, прекрасный, как сказочный принц, богатый и непременно «благородный», который возьмет ее за себя замуж, увезет Любочку из этого скучного приюта, и будут они жить да поживать в счастье, довольстве и холе. Об этом воображаемом, добром и прекрасном принце Любочка и на картах гадала, и на святках ради него в зеркало смотрела в полночь, и под двери церков-

ные бегала слушать, не раздадутся ли там венчальные напевы «Исайя ликуй».

И сегодня она твердо решила пойти собирать двенадцать трав в соседнем с дачей лесу, чтобы положить их, согласно обычаю, себе под подушку.

Что приснится ей в эту ночь, благодаря душистым волшебным купальным травам, то и будет с нею, Любочкой, в ее жизни.

Весь день девушка была сама не своя, ходила как сонная, ничего не видя и не слыша, была рассеянна, как никогда, и отвечала невпопад.

Чем ближе подвигалось вечернее время, тем мучительнее чувствовала себя Любочка. Трусиха по натуре, она с ужасом думала о том, что несла ей с собою предстоящая ночь.

Пужинав позднее обыкновенного и выпросив разрешение у Екатерины Ивановны, жившей тут же при даче, в особом флигельке, пойти на берег посмотреть, как будут гореть костры, зажженные местными дачниками и коренными жителями местечка – финнами, старшеотделенки под начальством Антонины Николаевны отправились на пляж.

Поплелась было за другими воспитанницами и Любочка. Но, поравнявшись с опушкой леса, мимо которого тянулась дорога к берегу, молодая девушка вынырнула из толпы подруг и, никем не замеченная,

юркнула за первое попавшееся дерево.

– Двенадцать трав... двенадцать трав! И узнаю судьбу свою... и узнаю своего суженого... – беззвучно шептали губы Любочки, пока она шла по узкой, влажной от росы тропинке, убегавшей в самую глубь большого соснового леса.

Кругом теснились старые, мохнатые, вековые сосны, дальше молодой, душистый березняк, еще дальше холмы направо и налево... Песчаные горы, поросшие тем же сосновым лесом. А там невдалеке тихо ропчущий своим прибоем залив. Его вечерняя песнь едва уловленными звуками долетала теперь до слуха Любочки. Веселые голоса дачников и финнов, окружавших береговые костры, покрывали сейчас этот тихий и сладкий рокот.

Яркие точки костров, их огневое пламя сквозило между стволами деревьев, освещая лес. Но там, в глубине его, царит темнота. И туда хорошенькая Любочка направила свои шаги, замирая от охватившего ее чувства ужаса.

Все слышанные с детства от няньки Варвары и от других простолюдинок рассказы про Иванову ночь с ее кладом и с бесовскою силою воскресли с особенной яркостью в памяти девушки. Ей казалось сейчас, что там, в полутьме, в куцах хвойного бора, там, где не видно огней, куда не достигает пламя костров, мед-

ленно и важно плывут высокие тени странных, неизвестных и таинственных существ леса. Любочке слышится чей-то смех, раздражающий и жуткий за кустами волчьей ягоды, тут же, за канавкой сразу, совсем близко-близко около нее.

Не может быть, чтобы дачная молодежь пришла сюда в темноту от веселых костров и шумной суеты на пляже...

Что же это такое? Неужели ночные тени, падающие от деревьев? Ноги стали подкашиваться от страха у Любочки. Зорче вглядывается она в темноту широко раскрытыми, вытаращенными глазами... Сердце бьется все сильнее и громче в груди... Капельки пота выступили на заглодевшем лбу.

«Русалки! Либо леший! Кто их знает!» – вихрем пронеслась взволнованная мысль в юной головке девушки.

Идти назад?

Любочка призадумалась на минуту. В руке ее насчитывалось уже несколько гибких травяных стеблей: тут был и одуванчик с его шарообразным верхом, похожим на клубок ваты, готовый разлететься пухом при малейшем колебании ветерка, и лиловая кашка на шершавом стебельке, и лист подорожника, такой освежающий и прохладный, и мать-и-мачеха, и куриная слепота, и желтый лютик, и белая ромашка... и

дикий левкой. Еще немного... еще пять-шесть разнородных цветочков или травинок – и желанный сон Ивановой ночи приснится Любочке с этими душистыми растениями под головой...

А темнота в лесу сгущается все больше и больше... Розоватые у опушки стволы сосен исчезли: появились угрюмые, точно затянутые траурной пеленой хвойные деревья... Они, как мохнатые чудища, сторожат тропинки. Стуча зубами со страху, с холодным потом, выступившим на лбу, Любочка нагнулась еще раз, чтобы сорвать последнюю травинку, выпрямилась и закаменела на месте. Какая-то белая фигура прямо двинулась на нее.

Огромной показалась она трепещущей девушке, необычайно страшной, похожей на привидение.

Любочкины ноги подкосились со страху. Глаза буквально вылезали из орбит. Собранные травы выскользнули из рук, и, вся подавшись назад, девушка закричала тонким, пронзительным высоким голосом:

– Помогите! Спасите! На помощь! А-а-а-а!

– Помогите! Спасите! – неожиданным эхо завопило и белое привидение.

Пронзительным визгом двух отчаянных воплей наполнился лес, и испуганная насмерть Любочка, и, по видимому, не менее ее самой испуганное «привидение» со всех ног, не переставая визжать, помчались

стрелю по тропинке назад, к лесной опушке.

Получилось странное, непонятное зрелище. Две фигуры бежали, едва касаясь ногами земли, почти рядом, наравне одна около другой, но боясь взглянуть друг на друга и отчаянно визжа на весь лес.

Не помня себя, влетела в калитку баронессино-го сада Любочка... Сбила с ног поправшуюся ей навстречу няньку Варвару, только что вернувшуюся с берега вместе с воспитанницами, и замерла на груди у подоспевшей к ней навстречу Антонины Николаевны.

– Там... в лесу... белая... страшная... За мною гналась... – рыдая и захлебываясь, роняла она, пряча лицо в складках платья своей надзирательницы.

В ту же минуту вторично распахнулась калитка, и вторая, бледная, как смерть, девушка вбежала на террасу, где строились на вечернюю молитву старшие воспитанницы:

– Ради бога... спасите... в лесу... привидение... Оно сюда бежало... за мною! – вне себя от страха лепетала Паша Канарейкина и смолкла на полуфразе, заметив рыдавшую Любочку.

– Люба Орешкина! Да неужели же это была ты? – сконфуженно, теряясь, проронила она.

Любочка подняла бледное лицо на говорившую... Увидела Пашу и смутилась не менее подруги...

– Так это ты!.. А я-то... дура, думала... – залепетала она чуть слышно.

– Батюшки, светы! вот так анекдот! – подбегая к сконфуженным девушкам, хохотала Оня. – Вот-то хороши обе, нечего сказать! Друг от друга бежали и визжали как поросята! То-то представление было! Ай да мы, в театр ходить не надо! – И веселая девушка залилась гомерическим смехом.

Засмеялись следом за нею и остальные. Засмеялась и Антонина Николаевна, в первую минуту сильно испуганная непонятными слезами Любы. Но тут же умолкла сразу и, сдержав себя, строго выговорила обеим девушкам за их самовольную отлучку.

И в этот вечер и в последующие дни в приютской даче только и было разговору, что о двух «гадальщицах», испугавшихся друг друга до полусмерти. И долго и хорошенькая Любочка, и бойкая «Паша-вестовщица» вспыхивали до ушей при первом намеке подруг об их ночном происшествии.

Глава седьмая

О том, что баронесса Нан – невеста, скоро узнал весь приют.

Софья Петровна объявила эту торжественную новость старшим воспитанницам, предлагая им шить и метить белье для ее дочери. Старшие передали средним, от средних узнали и малыши.

Заказ приданого был огромный, и со следующего же утра воспитанницы уселись за работу.

– Как жаль, что Павлы Артемьевны нет, – первая пожалела Дорушка, – она такие метки умеет выдумывать, что хоть самому царю впору носить!

– Ну, уж нашла кого вспомнить! – засмеялась Оня. – А я так рада-радехонька, что нету у нас больше Пашки... Новая «рукодельная» добрая да молоденькая... Никому замечания из нас, старших, не сделает, а при Пашке я из угла да от печки не уходила! Велика радость, тоже, «спину греть»...

– Вы о ком это, дети? О Павле Артемьевне? – осведомилась, незаметно подходя к разговаривающим, тетя Леля. – Плохо ей, бедняжке! На теплые воды доктора ее посылают. Жаль ее, бедную... – прошептала горбунья, и лучистые глаза Елены Дмитриевны подернулись туманом.

Минутное молчание воцарилось на террасе. Слышно было, как билась оса о стекло и жужжала назойливо, ища и не находя себе выхода на волю.

– Девицы, давайте величать невесту! – предложила бойкая Оня, которую словно кольнуло что-то в сердце после слов доброй горбуни. – Глядишь, и работа веселее пойдет! Я начинаю. Подтягивайте!

И звонким, чистым голосом она затянула:

Уж как по небу, небу синему
В облаках, в небесах лебедь белая,
Лебедь белая, одинокая,
Все носилася, все резвилася...
Вдруг отколь не возьмись, коршун-батюшка,
Коршун-батюшка, ястреб быстренький,
Он нагнал, нагнал лебедь белую,
Лебедь белую, что снежиночка...
Размахнул крылом, говорил тишком:
За тобой одной я гоняюсь,
Я гоняюсь, да без устали,
За моей душой, за зазнобушкой...

Весело, звонко звучали молодые голоса, а самый напев был печален... Такова заунывная русская песнь... На самые развеселые случаи звучит она грустно, меланхолично.

– Ой, девушки, будет нынче! Спинушку разломило!

Жара. Иголка, гляньте, так в руках и мокнет! – взмолилась Любочка.

– Еще бы! – усмехнулась Она. – Шить да метить – не то что наговорные травы собирать!

И, лукаво щуря свои бойкие глазенки, она подмигнула подругам на вспыхнувшую Любочку.

– Ну... уж... кто старое помянет, тому глаз вон! – заворчала Паша Канарейкина, откладывая шитье в сторону.

– Ишь ты! Заступается. Небось! Рыбак рыбака видит издалека! – шутила Оня.

– Девицы! Душно! На пляж пойдете! – предложила Саша Рыхляева, некрасивая, худенькая брюнетка.

– И то душно! Антонина Николаевна, душенька, отпустите нас! – зазвучали хором звонкие молодые голоса.

Не успела что-либо ответить надзирательница, как распахнулась широко дверь террасы и высокая, тонкая фигура Нан появилась на пороге.

– А я к вам с приглашением, девицы! Кто хочет по Сестре прокатиться? Лодку новую татап купила. Вальтер вчера ее со мною пробовал. Чудесное суденышко! Кто со мною?

Не успела еще молоденькая баронесса закончить своей фразы, как все старшее отделение повскакало с мест и окружило ее.

– Баронесса! Барышня! Анастасия Германовна! Меня возьмите! И меня тоже! И я! И я с вами! – кричали на разные голоса девушки, обратившиеся мгновенно в прежних маленьких девочек-стрижек от одной возможности получить всеми любимое удовольствие.

– Всех нельзя... Там четверым только место будет... Я на веслах, и Дорушка тоже! Дорушка умеет грести! – командовала Нан. – Еще пусть едет Дуня и Любочка. Остальных по очереди буду катать все лето. Согласны?

– Согласны! – с придушенным вздохом отвечали воспитанницы, бросая завистливые взгляды на избранных Нан счастливиц.

– Но надеюсь, вы не выедете из Сестры в море, m-lle Нан? – осторожно осведомилась Антонина Николаевна, дрожавшая за своих «больших девочек», как только может дрожать наседка за свой выводок цыплят.

Нан в ответ усмехнулась только.

– Полноте вам трусить, Антониночка, глядите, какое море нынче!..

С вышки террасы оно было видно как на ладони. Спокойный, тихий, голубовато-серый залив казался неподвижным, роскошным зеркалом, отражавшим в себе солнце и небо.

Тихий, гладкий и невинный, он улыбался и манил

на свое хрустальное лоно.

– Успокойтесь, не выедем в море! Если вам это так страшно! – смеясь, говорила Нан, пока три старшие воспитанницы надевали белые косынки, без которых Екатерина Ивановна не выпускала из дома своих питомиц.

– Как жаль, что там только четыре места! Я бы поехала вместе с вами! – произнесла Антонина Николаевна, тревожно поглядывая на приюток озабоченным взглядом.

– Кажется, вы не доверяете мне? – холодно проронила Нан.

– Ах, да нет же... Боже мой, совсем нет! – смущенно проговорила та. – Но только...

– Неужели и мне нельзя примоститься где-нибудь сбоку... – вздохнула Оня Лихарева, с мольбою взглядывая на молодую баронессу.

Но ее уже не слышали четыре девушки, выбежавшие за калитку приютской дачи.

У маленькой пристани, попросту мостков, сколоченных на скорую руку, ждала прехорошенькая лодка, белая, как лебедь, с голубым бортом, на котором золотыми буквами с причудливыми рисунками было выведено имя: Нан.

Жених с невестой обновили эту лодочку, похожую на большую голубовато-белую рыбу, накануне, и те-

перь Нан бесстрашно рассаживала в нее приюток.

– Дорушка, на весла. Я тоже, – возбужденно говорила молоденькая баронесса. – Дуняша, ты на руль. Не умеешь править? Вздор! Это очень просто. Тяни за веревку, направо и налево. Вот так. Налево – сюда. Да ты только меня слушайся, что я буду говорить, и дело в шляпе. Без команды не двигай рулем. Поняла?

В сущности, Дуня поняла только одно: что она за всю свою шестнадцатилетнюю жизнь не правила никогда рулем и что Нан далеко не права, усаживая ее за кормчего.

Но по своей кротости и нежеланию делать что-либо вопреки чужому желанию, она покорилась.

Дорушка гребла не хуже Нан. Напрактиковавшись за все предыдущие годы у господ на даче по части гребного спорта, Дорушка и за зиму не разучилась грести.

Однако узкая, похожая на большой ручей в этом месте река Сестра, обросшая деревьями и кустарниками на каждом шагу, не представляла особого удобства для прогулки. Весла поминутно достигали дна, зацеплялись за корни подводных растений и грозили сломаться ежеминутно. Нан сердилась.

– Какое уж тут катанье в этой луже! – процедила она сквозь зубы, бросая весла.

– Уж, конечно! – поддакнула ей Любочка, жеманно

сидевшая без дела на низкой скамеечке судна и каждую минуту улыбавшаяся своему кокетливому виду, отраженному как в зеркале водой.

– Мы выедем в море! – решительно заявила Нан. – Дуняша, тяни за правый конец веревки...

– Но... – заикнулась было Дорушка. – Антонина Нико...

Она не кончила своей фразы и прикусила язык.

– Ах! – вырвалось из груди трех девушек. Лодка сильно качнулась, наскочив на камень или большой сук, прикрытый водою, и... встала.

– Мы на мели! Хорошенькое катанье, нечего сказать! – сделала гримаску Нан и, тут же довольно ловко и быстро, выручив из беды легко изящное суденышко, решительно заявила:

– Право, выедем в море... При такой тихой, чудесной погоде бояться его сущая чепуха!

– Разумеется! – поддакнула Любочка.

Дуня и Дорушка только переглянулись молча.

– Как вам угодно, – покорно отозвалась последняя, вспомнив вовремя, что перед нею сидит дочь ее высшего начальства, которой неудобно противоречить.

– Итак, в путь!

Две пары весел, дружно прорезав тихую гладь речонки, взвились в воздухе, рассыпав целый каскад алмазных брызг, и снова погрузились в воду. Еще и

еще... Весла мерно опускались и поднимались, разбрасывая брызги. Солнце окрасило их, эти брызги, рубиновыми, сапфировыми и опаловыми огнями, и белая, опоясанная голубым поясом борта «Нан» птицей метнулась по направлению залива.

Вот и он, тихий и прекрасный, играющий всеми цветами радуги в лучах полдневного светила! Его хрустально-неподвижная гладь точно застыла в вечной, серо-голубой улыбке.

Как хорошо оно, море! Как замкнутая в своем заколдованном дворце сказочная принцесса, лежит оно среди зеленых хвойных лесов финского и русского побережий. Залив, названный морем, красивый, таинственно величественный и такой царственно-гордый в солнечном сиянии!

Затаив дыхание, смотрела на всю его красоту Дуня... Здесь, на широком, вольном просторе, править рулем не было уже необходимости, и, предоставленная самой себе, плавно и быстро скользила все вперед и вперед белая лодка... Медленно убежал берег позади; под мерными взмахами весел Нан и Дорушки изящное судно птицей неслось по голубовато-серой глади залива. А впереди, с боков, вокруг лодки сверкала хрустальная, невозмутимо-тихая, водная глубина.

Дальше, дальше уходил берег... Необъятная ширь

кругом и золотой поток лучезарного солнца там, наверху, под голубым куполом неба, точно яркая безмолвная сказка голубых высот.

Задумались девушки... Забылась Дуня, глядя на светлые, сказочно-прекрасные краски неба и моря... Снова вспомнилась деревня... Такая же беспредельность нив, пашен... Зеленые леса и то же, все то же голубое небо со струившимся с него золотым потоком солнечных бликов и лучей.

Задумалась Дорушка... В умной головке роились планы... Расширить магазин... Устроить получше мастерскую... Устроить матери спокойную, хорошую старость... Пускай хоть под конец жизни отдохнет в своем собственном гнездышке бедняжка. Сколько пережила она горя и неурядиц на «местах»! И все ради нее, своей Дорушки!

Любочка замечталась тоже. Глядя на свои беленькие, как у барышни, нежные ручки, думала девушка о том, что ждет ее впереди... Ужели же все та же трудовая жизнь бедной сельской школьной учительницы, а в лучшем случае городской? Ужели не явится прекрасный принц, как в сказке, и не освободит ее, Любочку, всеми признанную красавицу, из этой тюрьмы труда и беспросветной рабочей доли? Не освободит, не возьмет замуж, не станет лелеять и холить, и заботиться о ней всю жизнь...

И у Нан лицо стало совсем иное... Тихое, кроткое, мечтательное... Все думы девушки теперь о Вальтере, полюбившем ее, непонятую, далекую всем. Вся душа Нан теперь поет словно от счастья. Дурная она собой, некрасивая, лицо, как у лошади, длинное, сама худая, нестройная. А он-то как любит ее! За душу любит! За то, что одинокая она росла, непонятая, жалкая, всем чужая! Ах, Вальтер! Вальтер! Любимый, талантливый, милый, чем отплачу я тебе за такое счастье! – взволнованно думает Нан. И встает милый образ перед ее духовными очами. Ласковое лицо... Любимые глаза... Добрая-предобрая улыбка! Как живой он перед нею... Как живой!

Забылась Нан... Впереди, с боков и позади море... В лодке притихшие девушки... Каждая о своей доле мечтает... Какая тишина! Какая красота!

* * *

– Ах!

Кто заметил первый течь в лодке, так они и не узнали. Чьи ноги почувствовали первые холодную змейку студеной морской струи.

Девушки опомнились только тогда, когда на дно лодки вливалась свободно быстрая, как маленький ручеек, струя воды.

Тогда еще на Сестре, задев за камень на мели, «Нан», очевидно, дала трещину. И отверстие увеличилось среди вод залива.

Течь стала сильнее... Увлечшись своими мечтами, четыре девушки не заметили ее...

А холодная, жесткая змейка все вползала и вползала, разливаясь на сотни тоненьких струек, по дну...

– Лодка дала течь! Надо плыть обратно! – произнесла Нан, слегка меняясь в лице.

– До берега-то как далеко! – пугливо шепнула Дорушка, и в ее обычно спокойных глазах зажглись беспокойные огоньки.

– Мы утонем! – истерически вырвалось у Любочки, и она неожиданно закричала, прежде, нежели кто мог остановить ее.

– Спасите! Помогите! Мы то-о-нем!

– Молчи! Не пугай народ! Ничего нет опасного! – стиснув зубы, проговорила Нан и, повернувшись к Дорушке, приказала отрывисто:

– Забирай левым веслом! Поворачивай! Гребем к берегу. Мы успеем доплыть, пока...

Она не договорила... Холодная струйка словно ужалила ей ноги сквозь тонкие туфли и ажурный чулок... Зажурчало посередине под дном лодки... И неожиданно еще с большим напором хлынула холодная струя...

Теперь обе девушки гребли что было силы. Удалявшийся берег стал приближаться понемногу... Но как медленно! Как убийственно медленно придвигались они к нему!

Между тем течь делала свое дело... Вода уже залила часть лодки. Пришлось с ногами усесться на лавочках. Уже по щиколотку ног стояла вода.

Лица четырех девушек стали сосредоточенны и бледны... Двое из них гребли... Двое испуганными, полными ужаса глазами следили за работой в воде весел. Вода же прибывала все сильнее и сильнее каждый миг. А берег еще был далеко. Так ужасно далеко был берег.

– Мы утонем! – еще раз визгливо вскрикнула Любочка и закрыла лицо руками.

– Какие глупости! – пропустила сквозь стиснутые зубы Нан, но набежавшие на лицо ее тени ужаса говорили совсем иное.

– Умереть в такой ясный, чудесный полдень! – мелькнуло в голове юной баронессы. – Какая нелепость! Какая бессмыслица! Умереть в расцвете счастья! Какой ужас! Боже мой!

– Ну, Дорушка! Ну, милая, подбодрись! Авось успеем! – процедила она сквозь зубы.

Но Дорушка и без того знала, что делать. Трагическая складка выступила на ее гладком лбу... Покры-

лось потом бледное без кровинки лицо... С каким-то отчаянным упорством работала она веслами, напрягая все свои силы.

Мать... Любимая, милая мать... Будущая мастерская... Сладкая мечта успокоить старость родимой... Не удастся все это ей, Дорушке? Не удастся ни за что. Впереди – смерть!

Да!.. Впереди смерть!

Визгливо плакала Любочка, обвиняя Нан грубо и резко в предстоящей им всем гибели. Нелепые, грубые слова так и рвались из ее хорошенького ротика, искаженного теперь судорогой ужаса, паники и упреков и обид.

Нан гребла, бледная и упорная, до крови прикусив губы, и ни слова не отвечая на этот поток брани.

– Молчи же, наконец! – вскричала за нее негодующая Дорушка, обдавая Любочку строгим видом. – Ты куда более счастлива сейчас, нежели она! Тебя любила и ласкала ее мать, как родную... тебя любили и наши уютские, и Софья Петровна... А она, Нан, только теперь узнала, что такое счастье, и вдруг...

Дорушка не договорила...

Лодку сильно наклонило на бок, и огромная струя снова хлынула в отверстие к ногам девушек.

– Мы пропали! – простонала Нан, бросая весла.

– Помогите! – снова высоким фальцетом закричала

Любочка...

Очевидно, на берегу заметили несчастье. Рыбацкая лодка, отделяясь от пляжа, плыла им навстречу... На пляже стояла огромная толпа...

– Все кончено, – прошептала Нан, – ты права, Люба... Я вас погубила, всех троих погубила! И себя вместе с вами!.. Да!

Она была бела, как белый борт лодки, носившей ее имя. Отчаянием горели ее глаза... Весь ужас сознания неминуемой гибели глядел из них, полчаса еще тому назад таких радостных и счастливых. Нан слегка поднялась и вытянулась у борта.

– Мама не заплачет надо мной, – прошептала она беззвучно, – забудет скоро угрюмую, неласковую Нан... И Вальтер забудет... тоже... Найдет другую невесту... – И она снова опустилась на скамью со стоном, закрыв лицо руками.

– Отче наш! – со стоном, закрыв лицо руками, прерывая шепот молодой баронессы, раздался детский, чистый голосок с кормы, и ясные голубые глаза Дуни поднялись к небу.

– Иже еси на небесех. Да святится имя твое, – четко и громко произносила слова молитвы девушка, а голубые глаза не отрывали взора от далеких небес.

Тоненькая, хрупкая, стоя в воде, с бледным вдохновенно-покорным личиком, готовая умереть каждую

минуту, Дуня, белокурая и кроткая, казалась ангелом, явившимся напомнить гибнувшим девушкам о последнем долге земли. Чистый детский голосок с трогательной покорностью читал молитву, а кроткое лицо с выражением готовности умереть каждую минуту больше всяких слов утешений благотворно действовало на ее подруг.

Истерично рыдала Любочка. Мрачно хмурила брови Нан. Тихо стонала Дорушка, ломая руки.

Молилась Дуня.

Рыбацкая лодка подроспела как раз в ту минуту, когда новая волна захлестнула Нан и четыре девичьи фигуры скрылись под водою...

Отчаянный вопль пронесся по берегу...

Это баронесса-мать, видевшая издали гибель дочери, огласила пляж безумным криком.

Немало работы выпало на долю рыбаков...

К счастью, Нан и Дорушка умели плавать и облегчили работу их спасителям.

Дуню и Любочку удалось схватить, когда обе девушки уже захлебывались в борьбе со стихией...

Белая же «Нан» камнем пошла ко дну...

Дрожащие, мокрые сидели четыре девушки в огромной рыбацкой лодке. Вода ручьями стекала с их мокрых насквозь одежд.

Под быстрыми взмахами весел летела стрелой спа-

сательная лодка к берегу.

На берегу, рыдая, рвалась в воду баронесса Софья Петровна из рук охватившего ее крепко Вальтера.

– Нан! Дитя мое! Детка родная! Любимая! Спасите ее! Спасите! Или дайте мне умереть вместе с нею! – кричала она диким, безумным голосом, порываясь броситься бежать по отмели, навстречу лодке. Видя издали катастрофу, не зная, жива ли, погибла ли Нан, баронесса Софья Петровна только сейчас поняла всю свою огромную материнскую любовь к дочери.

Она не умела ласкать ее, эту холодную, сухую по виду девушку, ей некогда было заниматься ею, светские обязанности и некоторая небрежность к роли матери мешали ей в этом, но сейчас, сейчас, когда Нан погибла там, в глубине залива, безумный порыв любви к ней захватил баронессу.

– Верните ее! Верните мне ее! И клянусь... Я не пожалею ничего, лишь бы увидеть ее живую!

Бледный, обезумевший от горя не менее самой баронессы, Вальтер зоркими молодыми глазами первый увидел возвращающуюся невесту.

Нан стояла во весь рост на корме рыбацкой лодки и махала платком.

– Она жива, тетя, она жива! Смотрите! – безумным криком счастья вырвалось из груди молодого человека.

А через пять минут, полуживая от счастья, усталости и потрясения, Нан уже лежала в объятиях матери.

Град иступленных поцелуев покрывал ее лицо, руки и плечи, ее мокрые волосы, ее посиневшие губы...

Баронесса рыдала и смеялась в одно и то же время... И снова рыдала и снова целовала дочь, шепча в каком-то безумии счастья:

– Прости... прости... меня... Нан! Нан, дитя мое любимое! родное! Спасли-таки! Вернулась ко мне! Люблю! Люблю тебя до безумия, моя девочка! Нан, моя дорогая, единственная, родная!

– Мама! – могла только выговорить девушка, и горячие слезы, детские, сладкие, оросили руки и лицо баронессы.

– Мама! Мама! Вальтер мой! Мои дорогие! – шептала, словно в забытьи, Нан, обнимая мать и страстно возвращая ей ее запоздалые ласки.

В то же время трех остальных девушек – Дорушку, Дуню и Любочку – приняли испуганные, взволнованные тетя Деся и Антонина Николаевна.

Плачущие подруги окружили их, повели переодеваться, поить горячим чаем. Их ласкали, наперерыв утешали, целовали поминутно. Не хватило духу бранить их за ослушание... Не хватило духу делать выговоры, укорять, слишком тяжело было бы переживать их возможную гибель... И счастье видеть возвраще-

ние живыми и невредимыми захлестнуло всех.

В глаза девушкам заглянула смерть, они видели совсем близко ее страшное крыло, осенившее их было своею темною силой.

Глава восьмая

Время – лучший целитель всех переживаемых потрясений... Залечило время и страшное пережитое впечатление катастрофы с лодкой. Снова все вошло по-старому в свою колею. В конце августа переехали в город. Опустела уютная дача в Дюнах... Новые события затемнили впечатление жуткого летнего происшествия в заливе. Дуня, Дорушка, Любочка и Оня должны были этой осенью покинуть уют. Дорушка отправлялась к матери в ее только что открывшуюся мастерскую. Три другие девушки – в школу учительниц, вернее, в устроенный при ней интернат.

Последний вечер провели в церкви... Была суббота. Ходили ко всенощной.

Теперь Дуне и Дорушке приходилось петь на клиросе, вернее, подтягивать подругам, так как никакого голоса не было ни у той, ни у другой. Фимочка сердился в этот вечер меньше, хотя девушки, рассеянные донельзя предстоявшим им на завтра отъездом, фальшивили как никогда.

И самого Фимочку волновало «событие». Уезжала и Оня Лихарева, его помощник и второй регент приюта.

Надо было выбирать нового на смену выходявшей из приюта девушке, а такой выбор постоянно сто-

ил больших затруднений желчному и вечно нервному учителю пения.

В последний раз пропели «Взбранной Воеводе» четыре девушки... В последний раз оглядела затуманенными глазами Дуня знакомую обстановку богаделенской церкви, где столько раз за восемь лет молилась она несложной детской молитвой. Прислушивалась к голосу строгого, но бесконечно справедливого и чуткого отца Модеста... Глядела на стоявшую поодаль у левого клироса со своими стрижками горбатенькую добрую тетю Лелю, ее ангела-хранителя за все эти восемь лет, проведенных в приюте. Сейчас Дуня чувствовала сильную грусть покидать насиженное гнездо добрых воспитательниц и подруг, относившихся к ней так ласково и сердечно.

– Никак разрюмилась? – шепнула ей Оня Лихарева, выходя на паперть и заглядывая в лицо подруги. – Ай, девушка, не страшись! Смеху подобно! Два года поучисься, а там в деревню махнешь! В деревню! Подумать надо!

– Деревня!

Вся отхлынувшая было радость снова жгуче-сладкой волной затопила сердечко Дуни.

Да! Да! Да! Права Оня! Еще два года, и мечта всей маленькой Дуниной жизни сбудется наконец! Она увидит снова поля, леса, золотые нивы, бедные, покосив-

шиеся домики-избушки, все то, что привыкла любить с детства и к чему тянется теперь, как мотылек к свету, ее изголодавшаяся за годы разлуки с родной обстановкой душа. Что-то радостно и звонко, как песня жаворонка, запело в сердечке Дуни. Она прояснившись глазами взглянула на Оню и радостно-радостно произнесла:

– Правда твоя! В родимые места меня тянет! Ах, Онюшка, счастье-то какое! А все же жалко да горько оставлять добрых людей.

* * *

На следующее утро девушки уезжали...

Горько рыдала Дуня в объятиях напутствующей ее горбуни...

– Будь всегда тем, чем была до сих пор, моя чистая, кроткая девочка, живи для других, и самой тебе легче и проще будет казаться жизнь! – улыбаясь сквозь обильно струившиеся по лицу ее слезы, говорила тетья Леля, прижимая Дуню к груди...

Трогательно прощались уезжающие с начальством, подругами и служащими приюта.

С опухшими от слез глазами вышли девушки на приютский подъезд...

Навстречу им выглянуло скупое осеннее солнце,

словно золотой своей улыбкой ободряя перед порогом жизни эти четыре юных неопытных существа.

– Светлым деньком началась наша «воля», – проговорила Оня Лихарева, растроганная и взволнованная не менее других. – Хорошая примета, нечего и говорить.

– Приходи, навещай меня, Дорушка, пока я буду учиться в школе, – шептала с мольбою своей подружке Дуня, пока приютский сторож с нянькой Варварой уставляли на извозчика весь несложный багаж выпущенных из приюта воспитанниц.

Та в ответ молча кивнула головкой и крепко сжала тонкие пальчики подруги.

Солнце по-прежнему сияло ярко и лучисто, освещая первый самостоятельный путь четырех девушек и словно обещая дарить им свои яркие улыбки и дальше, во всю их последующую жизнь...

А на подъезде приюта стояла маленькая фигура горбуни, тонкие худенькие пальцы которой спешно крестили мелкими крестами вслед отъезжавшую молодёжь...